



6

1984

ЮНОСТЬ



Плакат
Н. Бабина,
И. Овасапова,
А. Якушина.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

1981

июнь

(313)

6

ЮНОСТЬ

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН
В. И. АМЛИНСКИЙ
Б. Л. ВАСИЛЬЕВ
В. Н. ГОРЯЕВ
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора)
С. Н. ЕСИН
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
Н. М. ЗЛОТНИКОВ
Р. Ф. КАЗАКОВА
К. В. КОВАЛЬДЖИ
К. Ш. КУЛИЕВ
М. Л. ОЗЕРОВА
А. Г. ПОТЕМКИН
А. С. ПЬЯНОВ
(ответственный секретарь)
В. А. ТИТОВ
А. В. ФРОЛОВ

Издательство «Правда».
Москва

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького № 32/1.
Телефон редакции: 251-32-83.



ВЛАДИМИР
ЗУЕВ

ПОВЕСТЬ



В ЧУЖОЙ СЕМЬЕ

1

ЗДЕСЬ ТВОЙ ОКОП

Рисунки
В. Гальдяева.

Подсохшие ольховые ветки вспыхнули ярко и весело, и, чтобы укрепить огонь, Велик поспешил подложить в костер доску из забора, которую удалось утащить в местечке.

Из шалаша вылезла тетка Катерина. Отворачиваясь от огня, принялась мешать в чугунке, стоявшем посередине костра на кирпичках. Лицо ее, выдубленное ветрами и солнцем, было сосредоточенно-успокоенным, как у человека, который много повидал, много претерпел и одолел в жизни и в конце концов принял ее такой, какая она есть.

— Пускай поварятся, — сказала Катерина, усаживаясь рядом с Великом на длинный плоский камень, наполовину вросший в землю. — Картохи еще не дошли — гремят.

— Ну, как она? — Велик кивнул в сторону шалаша.

— Заснула. — Помолчав, Катерина наклонилась к нему. — Кашляет, как будто у нее там, в груди, все рвется. Должно, отойдет, — добавила она тихо, почти шепотом.

Велик отшатнулся.

— Да что... — горестно махнула рукой Катерина. — Воспаление и здоровый не всяк выдюжит, а она у нас с рождения хворенькая. Видно, предназначено это ей отцом нашим небесным и записано в книге судеб человеческих.

Она отвернулась и стала смотреть на соседский костер, потом медленно окинула взглядом весь лагерь беженцев: шалашы, покрытые желтыми осенними ветками, зеленой увядшей травой и черной лежалой соломой, дымы костров, косо — из-за легкого ветерка — поднимающиеся над землей, туда-сюда снующие и копошащиеся у своих шалашей люди...

— И зачем они нас гонят, зачем? — вздохнула Катерина. — Мучается народ, а за что мучается?

Велик промолчал: тете Катерине и так известно, что, отступая, фашисты угоняют людей, а деревни

сжигают, чтобы нашим досталась голая земля. А обитатели вот этого лагеря к тому же еще и заложники. Велик, с месяц назад прибывший к беженцам, узнал это сразу, но деваться все равно было некуда.

— Мы вот думали в лесу спастись — и что? — опять заговорила Катерина. — Может, кому и удалось спастись, кто один, а с оравой нешто спасешься? Вычесали, почитай, всех.

— Да, — тихо сказал, думая о своем, Велик. — Всех.

У него заняло сердце и слезы запросились из глаз, как бывало всегда, когда вспоминались мать и сестренка Танька. Он старался глушить в себе мысли о них — ничего, кроме боли, ему эти мысли не приносили — и потому сейчас, крепко зажмурившись, тряхнул головой и заставил себя разговаривать с Катериной.

— С маленькими детьми, ясно, не спрячешься.

— А то... У нас еще и корова была. Угнали, ироды немые. — Она опять вздохнула, помешивая похлебку. — Да оно, Веля, правду говорят: что господь бог делает — все к лучшему. Сами-то зато, вот видишь, живы остались. Хотя на волосинку ведь были от смерти.

— Попали под обстрел или что? — спросил он примолкшую Катерину.

— Да нет, не под обстрел, — неохотно отозвалась она. — Под расстрел.

— Как это?

— А! — Катерина махнула рукой. — Век бы не вспоминать, да не забывается... Мой мужик, видишь ли, в полициях был — взяли его насильно с другими. Ну и вот, как немец стал отступать и выгонять народ с насиженных мест, мы кинулись в леса. Всей деревней. Мой-то прослышал про это, обрадовался, что теперь у него, стало быть, руки развязаны, и сдесертировал. Да, видать, не один он... На пятые сутки немцы устроили облаву, и нас из леса вычесали. Ну, и что ж ты думаешь? Всех погнали в Навлю, а нашу семью да еще Ерохиных отделили и оставили на месте. Был тут Никанор Пашин, этот самый, что сейчас в Шуре командует, а с ним двое полицейев.

Велик знал Никанора. Он был журавкинский, с того конца деревни. Примерно за год до войны вернулся из армии — отслужил действительную — и работал в МТС трактористом. Эмтээсовские в деревне были народ уважаемый, Никанор же и среди них выделялся — высокий, плечистый, гармонист и певун к тому же. Бывало, вечером в клубе как рванет свою «хромку» да как взвывает форсисто голос:

**Вспомни, милая, тот кустик,
Где тебя я цеповал!
Вспомни, милая, тот кустик,
Он давно уже завял.**

С началом войны Никанор был мобилизован, но меньше чем через год пришел домой — говорили, из окружения. Работал в отцовом хозяйстве. А хозяйство это, после того как поделили землю и колхозный скот, стало расти, будто тесто в деже. Никанор влез в него со всеми потрохами. Наверно, страсть к накоплению и погнала его добровольцем в полицию. Время от времени приезжая на побывку, он привозил то ящик свежей убоинки, то тюк разного добра из разоренных партизанских деревень.

Последний раз Велик видел его в Журавкине этой весной. На нем была власовская форма с лейтенантскими погонами и пистолет на животе — на немецкий манер. Никанор не играл больше на

гармошке, не форсил частушками. Он держался солидно и строго, смотрел на мир, склонив к плечу голову и вскинув подбородок, а когда разговаривал, взглядывал на собеседника полуприкрытыми глазами, сверху вниз. Впрочем, может, это от самогона: Велик давно заметил, что пьяный не в состоянии глядеть во все глаза, а Никанор, приезжая домой, всегда был в крепком подпитии. У него появилась привычка все объяснять, говорить вразяжку.

«Положение таково, — вещал он на сходе, согнанном по его приказу, — что стратегически мы войну уже выиграли, тактически выиграем через полгода».

Было непонятно, зато красиво, «по-ученому».

Никанор был шефом роты. Это, объяснял он, в переводе на русский язык — начальник штаба и по совместительству политический воспитатель. Его рота занимала сейчас Шурею...

— Ма-ахонькая полянка, а кругом дубы стеной и тучи низко-низко, прямо верхушки накрывают, — рассказывала Катерина ровным голосом, отрешенно глядя в огонь. — И почудилось мне, будто загнали нас в яму и сверху крышку навалили. И стало так мутно на душе и так знобко...

Ерохиных поставили в рядок под дубом, Никанор старику наган под нос тычет.

«Где сын?»

Алексей Матвейич белый весь, плечо у него правое дерг-дерг, а все ж отвечает спокойно.

«Он у вас служил, — говорит, — вы за него и в ответе».

«Ну ты, так твою перетак! — кричит Никанор. — Думаешь, он по совести сделал, что сбежал к партизанам? Нет, он свою шкуру спасал, а про ближних не думал. Про вас вот. Это по совести? Подлец он, сволочь!»

Алексей Матвейич ничего не успел ответить — Никанор наган своей в сторону отвел и стрельнул. Старшенький мальчик, Мотья, повалился лицом в землю. Остальные сперва не поняли, думали, со страху, и Авдотья, его мать, кинулась к нему и стала подымать, а как увидела, что у него вся голова в крови, так и села и завывала.

— Ну, Веля, я еще не слыхала такого за всю свою жизнь — не по-человечески завывала, по-звериному. Никанор подскочил к ней и выстрелил в затылок. И тут началось... Младший ихний, Алешка, упал на колени и пополз на четвереньках к Никанору, а сам кричит: «Дяденька, не надо, я еще маленький, мне жить хочца!» Мои трое заголосили страшно, и я заголосила, и даже полиция не выдержали — что-то стали кричать и замахали руками. Никанор два раза выстрелил в Алешку, и крик оборвался. Все мы как будто залубенели.

Никанор подбежал к Алексею Матвейичу, схватил его за грудки. «Ну что, старый пес, видишь теперь, что натворил твой мерзавец-сын? всю семью свою под нож бросил. И ты еще будешь говорить, что он не сволочь после этого? Ну-ка, повторяй за мной: «Мой сын — сволочь!»

Алексей Матвейич трясся весь, и голос у него был неровный, как будто сигал с кошки на кошку. «Нет, — говорит, — был бы он сволочь, кабы и дальше служил с такими бандитами, как ты». И как плюнет ему в глаза!

Тут Никанор тоже затрясся — от злобы, ударил Алексея Матвейича кулаком, потом начал в него стрелять и бил уже в лежачего, пока пули не кончились.

...Из Шуреи донесся колокольный звон. Было в нем что-то грустное, трогательное, забытое, как вся мирная жизнь. Катерина вздохнула, встала и, повернувшись в ту сторону, истово закрестилась.

— Теть, а что дальше? — подождая, пока она закончит креститься, спросил Велик.

— Дальше... Ох ты, господи боже наш, заступник единый и всеблагий... Никанор зарядил свой наган и подошел к нам. Мои прижались ко мне и схоронили личики-то, чтоб не видеть ее, смерть, змею проклятую.

— И Шурчик схоронился?

— И он тоже. А что Шурчик? Это тебе он, може, видится большим мужиком, а на самом-то деле дите, шестнадцать годков всего. У него и голос-то мужицкий не совсем прорезался. Да... Подошел Никанор и уставился на меня, аки диавол на грешницу. А у самого губы дергаются, веки дергаются, вот-вот на губах пена запустит: «Ну что, видела, как мы с изменниками?» Я молчу. Не могу слова сказать — язык не ворочается и душа обмерла. «Ну-ка, вы! Глядеть сюда!» — это он уже моим деткам. Махнул полицаям, чтоб помогали, и стали они отрывать детей от меня. Боже мой, господи!.. Они цепляются за меня, а я хочу их оборонить и не могу — на руках Тонька. Оторвали они ребят и выстроили рядком невдале. Никанор скомандовал, и полицаи нацелили винтовки. У меня глаза застлал туман, все тело обмякло, и я сомлела. Очнувшись я оттого, что кто-то тряс меня за плечи и поталкивал в бок. Я открыла глаза. Полицай подхватил меня под мышки и поставил на ноги. Другой поднял с земли Тоньку и поддал Шурчику. А она, бедная, даже и не кричала — голосок уже тогда хворь съела. Только то-оненько постанывала. «Так вот, тетка, — говорит Никанор мне, а сам усмехается, — твоему мужику, изменнику, наказание будет другое: заместо него сын станет в наши ряды. Будет воевать против отца, а поймает — сынок его и расстреляет».

2

На рассвете умерла Тонька. Умерла тихо, никого не потревожив — похраптела минут пять и затихла, теперь уже навсегда. Только Катерина, спавшая рядом, привыкшая чутко отзываться на каждый вздох и беспокойное движение больной, проснулась, пощупала остывающий лобик, попыталась согреть дыханием холодеющие руки, но вскоре поняла, что все напрасно. Дочка умирала под ее рукой, а она ничем не могла помочь. Когда, содрогнувшись, Тонька отошла и ее маленькое тельце отвердело в небытии, Катерина спрятала лицо в подушку и зарыдала, изо всех сил стараясь не дать крику вырваться наружу: совсем ни к чему было будить детей.

Выплакавшись, она неподвижно лежала до рассвета, время от времени выпрастывая руку из-под попонки и прикладывая ладонь к холодным губам девочки. Катерина не отдавала себе отчета, зачем так делает, — на это толкала ее подсознательная надежда.

Когда рассвело, она разбудила Велика.

— Беги, сынок, за Шурчиком. Тонька померла.

Власовская рота, занимавшая Шурею, располагалась в костеле. Неистребимое любопытство, которое заставляло Велика целыми днями рыскать по местечку, не раз приводило его сюда. Он никак не мог постичь, как это русские люди, вчерашние колхозники, рабочие и служащие, воюют за фашиста. Там есть Никанор и другие никаноры — душегубы и выродки, — есть такие, что мечтают с помощью немцев возвратить старые, царские времена, когда им жилось сытно и привольно. Но большинство в роте — насильно мобилизованные обыв-

новенные советские люди. Почему же они не разбегаются?

Вообще-то он знал почему: лагерь беженцев на окраине Шуреи — это их семьи, заложники. Разве Шурчик служил бы немцу, если б не страх за мать и братишку с сестренками? Все так, но сам факт казался Велику противоестественным. Когда он видел эту разношерстную команду (обмундирован в казенное был только комсостав), идущую строем в столовую и поющую русскую строевую песню:

Эй, ком роты,
Дашь пулеметы,
Дашь батареи,
Чтоб было веселее....

у него возникало странное представление: будто это рать какого-то царя Додона, примаршировавшая из сказки в жизнь.

У входа в костел стоял часовой — пожилой уса-тый мужик в сером, шинельного сукна пиджаке и разбитых ботинках. Широкое лицо его было покрыто сетью вмятинок — видно, спал он на соломенной подушке и был только что поднят с постели.

— Чего тебе, мальчик? — хмуро спросил он, судорожно зевая и содрогаясь от утренней свежести.

Велик объяснил. Часовой сердито стукнул носком ботинка по кучке подмерзшей земли, выругался неизвестно на кого и пошел к двери.

Скоро вышел Шурчик. Рядом с часовым он казался пацаном. А может, это потому, что после вчерашнего рассказа его матери Велик глянул на него другими глазами. И словно впервые заметил, что и лицо у Шурчика еще детское, ни разу не бритое, и нижняя губа оттопырена, как у обиженного мальчишки, и шея тонковата и нежна для взрослого человека, и плечи узковаты.

— Она, значит, ночью? — пробормотал Шурчик полупроспительно, подойдя к Велику. И голос у него был незрелый, ломкий. — Что ж теперь делать, а? — Он выглядел совершенно растерянным и беспомощным.

Велику вспомнилось, что по секрету рассказал ему Мишка, Шурчиков брат: в деревне Шурчика прозвали Бабею — девки все поголовно были в него влюблены, и он больше являлся с ними, чем с ребятами. Оно и неудивительно, подумалось Велику, такой красавчик: личико будто нарисованное, русые волосы курчавятся, глаза голубые, как у Христа на иконах. Да и характер у него не мужской — ласковый, мягкий, добрый.

...Когда два месяца назад Велик, чудом спасшись от неминуемой смерти, отчаявшись найти свою семью или хотя бы кого-нибудь из родной деревни, прибил к обозу беженцев, он едва переставлял ноги от голода и усталости. Сознание бесприютности и безнадежности лишило его твердости духа. Целый день, как во сне, плелся он за чужими возами, никем не замечаемый, никому не нужный. Когда беженцы расположились отдохнуть, Велик прикорнул под кустом, недалеко от чьего-то костра, тепло от которого к нему не доходило.

Вот тут-то и подошел Шурчик. Присел рядом и тронул за плечо: «Ты что, один?» Такой был у него голос, что Велик, отвыкший от сочувствия и тепла и уже не ждавший их, не смог выговорить и слова в ответ — его душили слезы.

«Ну, пошли к нам, что ж ты будешь один», — сказал Шурчик.

Так Велик вошел в семью Домановых.

Обоз пригнали в Навлю, людей погрузили в теплячи вагоны и повезли на запад. На станции Толо-

чин из эшелона людей перегрузили на подводы и погнали дальше.

Шурчик часто бывал в семье, и Велик подружился с ним. Велик не мог примириться с тем, что Шурчик власовец, иногда едко попрекал его. Тот молчал, виновато опустив глаза. Велик чувствовал себя от пяток до макушки измаранным той же грязью, в которой барахтался Шурчик — еще бы, друг полиция! — но покинуть семью Домановых не мог. Конечно, и идти-то ему было некуда, но все же не это держало. Он возмущался Шурчиком — и вместе с тем было жалко его. Велик ставил себя на место этого парня и не видел никакого выхода. Шурчик был пропащий человек — он не имел завтрашнего дня.

И вот дружба... Появляясь в семье, Шурчик все время проводил с Великом. Вместе ходили на заготовку дров и картошки, читали, если удавалось раздобыть что-нибудь для чтения, играли в самодельные шахматы, просто дурачились. Разница в четыре года не чувствовалась, наоборот, в практических делах Велик был более сведущ и развотлив.

Вот и сейчас, шагая рядом с Великом по улице, Шурчик потерянно вздыхал:

— Что ж теперь делать, а?

Велик сбоку глянул на его бледное лицо и вдруг заметил синяк на скуле.

— Что это у тебя?

Шурчик потрогал синяк.

— Фельдфебель, сволочь. Я шомпол потерял. — У Шурчика еще больше выпятилась и запрыгала нижняя губа. — А может, кто вытащил. Воруют друг у друга — спасу нет.

Велику стало жаль друга, но не время было думать сейчас о фельдфебельских тычках.

— Надо гроб сколотить, — сказал он.

— Как ты его сколотишь? — вздохнул Шурчик. — Это ж нужны доски, гвозди, инструмент. Да и уметь надо. А ты умеешь?

— Слушай, около вашего штаба — пустые ящики из-под снарядов.

— Кто же нам даст? Там часовой.

— Да они никому не нужны. А часовой же ваш. Попросишь.

— Легко сказать: попросишь, — пробормотал Шурчик. — У них расправа короткая — за пустяк могут шлепнуть.

«Ну и ну! На всю жизнь напугали», — подумал Велик, вспомнив вчерашний рассказ Катерины.

— Ладно, я сам попрошу.

Часовой у штаба, рыжий парень в крашенных холщовых портках и тяжелых немецких ботинках с крагами, махнул рукой.

— Да хоть все заберите.

Но когда они взялись за ящик, на крыльце появился лохматый, черный, как навозный жук, унтер с двумя белыми лычками на погонах.

— Что такое? Кто разрешил? — закричал он простуженным голосом. — Я грю, кто разрешил, Доманов?

Шурчик стал по стойке «смирно» и залепетал испуганным тонким голоском:

— У меня, господин унтер-офицер, сестра... это... померла... Так гроб-то... это... Вот и... А часовой разрешил...

— Ты что, баранья башка, казенное имущество разбазариваешь? — напустился унтер на часового. — Я грю, казенное имущество — это тебе что?

Но рыжий, видно, был не робкого десятка.

— А я эти гробы не принимал под охрану, — заявил он и сплюнул.

— Мало ли — не принимал! Это что ж за часовой, ежли у него из-под носу казенное имущество будут влощить?

— Не принимал — и точка! — заартачился рыжий. — Я охраняю штаб, а все остальное пусть хоть крадут, хоть жгут — меня не касается.

— Вот это здорово ты устроился! — зло произнес появившийся на крыльце Никанор. Лицо его, очертаниями похожее на грушу, было иззелена-серым и опухшим, тонкие губы страдальчески кривились — все показывало, что он был в жесточайшем похмелье. — Это называется — солдат Новой России... Пусть жгут, пусть крадут — ему плевать! Вот такие сволочи и губят дело.

Рука его легла на кобуру, пальцы машинально начали суетиться у застёжки — отстёгивать, застегивать. Часовой, слегка побледнев, щелкнул сбитыми каблукками и вытянулся.

— Господин лейтенант, унтер-офицер отвлекает разговорами и заставляет отвечать, а часовому не положено.

Ну, ловкач! Никанор перевел тяжелый, еще не проясневший после вчерашней попойки взгляд на унтер-офицера. Велик, считая, что сейчас самая пора смяться, потянул Шурчика за рукав.

— Мотаем отсюда. Ныряй за ящики.

Шурчик нерешительно топтался, сделал было шаг прочь, но тут же вернулся на место, опять дернулся в сторону и остался где стоял. Это только привлекло внимание Никанора. Он оставил унтера, сошел с крыльца и приблизился к Шурчику.

— А ты что тут ошиваешься? Почему не в расположении?

— Ворует казенное имущество, господин лейтенант! — подскочил унтер, обрадованный тем, что гнев начальства потек по другому руслу. — Говорит, сестре на гроб. Одначе ежли каждый...

— Свободен! — не оборачиваясь, отрубил Никанор, и унтер, козырнув, удалился. — Что, сестра померла, Доманов? — понизив голос и стараясь придать ему сочувственное тепло, спросил шаф роты. — Большая?

— Пять лет, — ответил Шурчик, и голос его дрогнул, чутко отозвавшись на отдаленное это сочувствие.

— Н-да-а... Ты вот что, Доманов... Ящик разрешаю взять. А ты достань-ка мне самогонки. Тут есть, у местных. Гонят, сволочи. И наживаются... Понял? Давай. Через час жду. Через час, ясно? Пошел!

Шурчика эта новая забота повергла в отчаяние.

— Ну где я ему достану? — говорил он, чуть не плача, когда они тащили ящик. — Кто мне даст?

— Ты мать пошли, — посоветовал Велик. — Пусть возьмет что-нибудь из барахла — обменяет.

3

Катерина, всхлипывая и проклиная Никанора, спрятала за пазуху ни разу не надеванную цветастую косынку — довоенный еще подарок мужа — и ушла в местечко добывать самогон. Шурчик, сраженный укором, что навечно застыл на потемневшем лице покойницы сестренки, спрятался в шалаш, забился в угол, зарылся лицом в подушку и как умер — лежал пластом, молча и неподвижно, не отзываясь на оклики и прикосновения. Велик огляделся: от девятилетнего Мишки и семилетней Манюшки какая помощь? Губастенький Мишка, закутавшись в старый материн зипун, сидел у шалаша, наблюдая за суетой кроткими теплыми глазами. Манюшка, бойкая и юркая, как ящерица,

копалась в остывшей золе костра, выискивая печеную картошку — вдруг случайно завалялась.

Вот и костер бы надо развести, приготовить завтрак, подумал Велик.

Он долго ходил по лагерю, прося помощи. Набралось восемь человек — шесть молодых баб и девок, два старика.

Один из стариков, высокий, изможденный, властный, похожий на Ивана Грозного в хворости, сразу же начал распоряжаться, расстарался и выискал инструмент, разное тряпье для обшивки гроба, нарубил гвоздей из толстой проволоки, одной группе велел обрядить покойницу, готовить последнюю постель в немецком снаряжном ящике, другую увел на кладбище — копать могилу.

Велик взял сумку и пошел добывать картошку. Теперь, когда ее всюду выкопали, это было делом нелегким — оставалось только рыться в опустевших бороздах. Вообще-то картошка попадалась, главное было — найти участок, случайно обойденный беженцами: ведь весь их лагерь кормился на этих полях вокруг Шуреи, каждый комок не раз побывал в руках.

Велик долго таскался по раскисшим полям, с трудом переставляя ноги: его чуни, сшитые из невыделанной конской кожи, обросли тяжелыми ошметьями липкой грязи. Кое-как набрал десятка два картошин и поспешил в лагерь.

Тонька уже лежала в гробу. Исхудалое лицо ее, залитое синюшной тенью, было скорбным и сумрачным, совсем не детским. У изголовья прямо на земле сидела Катерина и, склоняясь к дочери, закатывалась в причитаниях:

— Ды и не жалеючи матушку родную, братьев кровных, сестрицу единственную, ушла ты в темную ночную сторонушку-у-у. Ды и ножки твои белые не набегались вволю по теплой землице, и глазыньки твои ясные не нагляделись на белый свет, и грудь твоя не надышалась сладким воздухом-о-ом. Ды и сгубила тебя проклятая война, черное лихолетье, холод и голод и злые недруги незваные-е-е.

Вокруг гроба сгрудилась толпа. Женщины всхлипывали, сморкались и заскорузлыми пальцами смахивали с ресниц слезы.

— Хорошо голосит, — слышалось шушуканье. — Незваные, грит. Про кого ж это? Ба-а-а-а-а-а-а-а!

— Сказали б ей... Неровен час...

Мишка тихо плакал обильными слезами... Время от времени к нему подсаживалась Манюшка. Недолго посидев, она вставала, шла к кострищу и снова начинала ворошить уже много раз переворошенную золу. Узкое личико ее выражало отчаяние, продолговатые, нерусского разреза глазешки горели голодным пламенем. Дети, конечно, понимали: матери не до них, Шурчик тоже не кормилец, так что им предстоит мучительный день.

— Тащи чугунок, — сказал Велик Манюшке. — Картошку будем варить.

— Ага! — обрадовалась девочка и юркнула в шалаш.

Велик призвал и Мишку и, поколебавшись, поднял Шурчика — послал за водой. Чего киснуть? В работе и время быстрее проходит и забываешься...

Шурчик подчинился беспрекословно. В лице его не было ни кровинки, глаза потухли, двигался он без соображения, как заведенный.

Отголосив, Катерина подошла к Велику, раздувавшему костер, и тихо сказала:

— Вот и ладно, голубок, вот и молодчина. Посуда знаешь где, а хлеб — пойдем покажу. Да весь-то, гляди, не стравливай, а выдай по норме. Видал, какими скибочками я вас одеваю? Ну, дай нынче побольше — помянуть Тоньку.

Приготовления к похоронам были закончены. Пришел посыльный с известием, что могила готова. Шурчик и еще трое подростков подняли гроб на плечи и понесли Тоньку на погост, кресты и памятники которого виднелись вдали на пригорке. Сзади потянулась большая толпа.

Велик сварил картошку, потолок ее и хотел уже звать ребятишек, но глянул в глаза Манюшки, снова загоревшиеся волчьим блеском, заметил ее судорожный порыв к чугунку и подумал, что пока не поздно надо позаботиться о тетке Катерине, а то останется голодной.

— Ну-ка, обождите. — Он развел в стороны протянувшиеся к чугунку ложки.

Мишка покорно убрал свою и посмотрел на Велика послушными коровьими глазами, а Манюшка аж в лице переменялась. Взгляд ее излучал теперь злость и отчаяние. Она ожесточенно тыкала ложкой в запрещающую ладонь, пытаясь прорваться к еде.

— Подай-ка чашку, — кивнул ей Велик. — Материто надо оставить?

Но девочка, похоже, не слышала его или не понимала. Она была сосредоточена на одном — во что бы то ни стало добраться до чугунка и зачерпнуть. Глянув на Велика со смущенной и извиняющейся улыбкой, Мишка подал миску.

— Что ты какая-то, потерпеть не можешь, — укоризненно прошептал он и легонько толкнул сестру локтем.

— Ничего, — милостиво сказал Велик, закутывая наполненную миску в зипун, чтоб картошка не остыла. — Есть хочется, да, Манюш?

Девочка молча кивнула — рот у нее был занят — и улыбнулась Велику застенчиво и благодарно.

ПАДЕНИЕ ШУРЕИ

1

Ночью Велика разбудили. После хлопотного, тяжелого дня сон был крепкий, как обморок, и Шурчику пришлось долго трясти друга, одновременно зажимая ему ладонью рот, чтобы не наделал шуму.

Наконец Велик проснулся, испуганно мыкнул и сел.

— Тихо, — прошептал Шурчик. — Это я. Хочешь со мной?

— Куда? — живо спросил Велик тоже шепотом. Сон мгновенно улетел, и запылало сердце, как всегда, когда впереди ждало что-то незнакомое.

— К партизанам... Да тихо ты! Вылазь быстро!

Они молча выбрались из лагеря и пошли по стерне в сторону озера. Велик едва поспевал за Шурчиком — тот шел размашисто, совсем не похоже на самого себя, боязливого и неумелого.

— Ты что так?.. — сказал Велик, придерживая Шурчика за рукав. — Бежишь, как в гости. Совсем не боишься? Ни капельки?

— Что ты! Когда меня послали, я чуть не умер от страха.

Он всегда был откровенен со своим младшим другом, признавался даже в таком, в чем Велик никому ни за что не признался бы. Это и льстило и в то же время рождало снисходительное и даже чуточку презрительное отношение к Шурчику.

— Если б ты не пошел, я не знаю что и делал бы. А сейчас не так боязно. Я умею держать себя в руках. Ты знаешь, в роте меня считают совсем не таким, какой я есть. Я терплю издевательства фельд-



фебеля, не ною, хотя про себя весь слезами обливаюсь. А они думают, что это я такой стойкий.

— Шур, а как же ты... к партизанам? Ведь побьют же твоих.

— Чудак, вся рота поднялась. Сдаем Шурею. Ребята меня послали предупредить партизан.

2

Шурчик шел и рассказывал.

Примерно с месяц назад во время патрулирования по местечку Шурчиков напарник Андрей Бакшин завел с ним странный разговор.

— Послушай, Доманов, вот ты все молчишь, молчишь. Про что ты думаешь?

Шурчик пожал плечами.

На грязной окраинной улочке шелестел мелкий, будто просеянный сквозь самое частое сито дождик. Была глубокая ночь, темная и глухая. Чудилось, будто кто-то крадется следом, чтобы воткнуть кинжал в спину или проломить череп. Все душевные силы уходили на то, чтобы держать себя в руках — не оглядываться, не выказать свою трусость.

— Ты никогда не думаешь про свою будущую судьбу? — продолжал Бакшин. — А? Она ведь у нас, знаешь... Черная судьбина у нас, Доманов. Лес пилить на Колыме за счастье примешь, а скорей всего — пуля в лоб. Ты про это думаешь?

Нет, Шурчик не думал об этом. Он заставлял себя вообще не думать о завтрашнем дне. Какая там «будущая судьба»? Ловушка захлопнулась, никакой счастливый случай, никакое чудо не откроет. Только смерть. О смерти не думалось: как и все в его возрасте, он в глубине души верил в свое бессмертие.

— Зря молчишь, Доманов, — продолжал Бакшин. — Я тебя продавать не собираюсь. Нешто я похож на provocатора?

— Да при чем тут похож не похож? — вырвалось у Шурчика. Его тревожил этот опасный разговор. — Я тебя не знаю. Слыхал, что ты из пленных, вот и все. — Стараясь придать своему голосу нейтральную окраску, добавил: — Из плена вырвался — ну и гулял бы себе. И не думал бы сейчас о будущей судьбе.

— В плену я был, верно. Вырвался. Только гулять-то мне невозможно: у меня тоже семья, руки-ноги связаны.

— Ну, так о чем и толковать? Душу, что ль, потратить захотелось?

Бакшин придвинулся к нему, взял за плечи, повернул к себе и зашептал:

— Есть выход, понимаешь, есть! Выход всегда есть, только надо действовать, понимаешь?

Шурчик помотал головой.

— Не-а, не понимаю.

— Главное — начать, понимаешь?

— Что начать? — напрягся Шурчик.

— Ну, вообще... Вот, допустим, ты согласен. Нас двое, а там еще кто-нибудь пристанет, еще.

— Ну-у, — разочарованно протянул Шурчик. — Знаешь что: нечего предложить — молчи в тряпочку. Не баламуть ни себя, ни других.

— Вот видишь, я так и думал, — обрадовался Бакшин. — Ты не пропащий. И если бы я предложил дело, ты пошел бы.

— Чего это ты за меня расписываешься? Я сам грамотный.

— Ладно, вперед.

После этого разговора ничего не изменилось, и

Шурчик подумал, что Бакшин просто отводил душу. Но однажды тот дал ему задание:

— Разведай дорогу в Монастырщину.

Деревня Монастырщина располагалась на противоположном берегу озера, километрах в пяти от Шуреи, там начиналась партизанская зона.

— Ты пацан по виду, если и схватят партизаны, легко отговориться: мол, ищу кобылу или еще что. А лучше всего: дескать, из беженцев, пропитание добываю.

И Шурчик несколько раз ходил к Монастырщине, скрытно, кустами, подбирался к самой околице, но войти в деревню не решился ни разу. На этом его подпольная деятельность и закончилась.

Андрей молчал, а когда Шурчик спросил, что же дальше, с досадой бросил:

— Что ты суетишься? Понадобись — скажу.

Шурчик горько усмехнулся.

— Сказать-то нечего!.. Ох, и борьбу же мы с тобой развернули! Небу жарко. Третий рейх прямо ходуном ходит от наших ударов.

— Пацан ты все-таки еще, — беззлобно ответил Бакшин.

3

Два дня назад командир роты Черкалов собрался в штаб батальона, располагавшийся за двенадцать километров в деревне Ушковичи. Дорога туда шла почти все время лесом, немцы и власовцы передвигались по ней только большими группами. Черкалов взял с собой конвой из восемнадцати человек, в том числе и Шурчика. Разместились на пяти подводах и поехали.

Километрах в пяти от Шуреи, немного не доехав до леса, почему-то свернули в поле. В низине между двух холмов расположили подводы полукругом. Во все стороны Черкалов выдвинул наблюдателей, остальным приказал сесть на телеги.

— Ну вот, — сказал он, остановившись перед ними и сунув руки в карманы шинели. — Полгода мы действовали по цепочке, зная только соседа. Пришла пора собраться всем вместе, чтобы, если придется драться, не перестрелять друг друга.

Вот тут-то и выяснилось для Шурчика, да и для многих других, что взял он с собой всех членов подпольной организации, которая действовала в роте под его руководством.

— Штаб организации решил сдать Шурею партизанам, — объявил он. Под густыми усами Черкалова мелькнула улыбка, и его замкнутое, угрюмое лицо как бы высветлилось изнутри, стало открытым и понятным. — Сейчас как раз благоприятный момент: бригада ушла вперед, ближайший ее гарнизон — в двенадцати километрах. Семьи при нас. А через несколько дней будет поздно: получен приказ отправлять семьи дальше. Как только отправим, будет и нам приказ следовать за ними. Опять мы окажемся в кандалах.

4

— И вот нынче ночью... — продолжал Шурчик. Сенька Курятников, тшедушный рыжий мужичок из добровольцев, клевал носом. Перед ним на тумбочке смутно мерцала керосиновая лампа.

— Это мы, конечно, упустили, — прерывая рассказ, сказал Шурчик с гордостью человека, причастного к важным событиям. — Дневальти в этот час должен был наш человек.

«Мы,— усмехнулся Велик.— Как будто это он назначал дневальных... Ну, а что? Любой бы на его месте говорил «мы». Вот я тоже сейчас имею это право, потому что участвую в общем деле...»

Командир роты тряхнул дневального за плечо. Курятников вскочил и, сонно моргая, начал скрестить в голове.

— Немедленно поднять Бакшина и Гудилова!

Сенька тряхнул рыжей шевелюрой, окончательно освобождаясь от дремоты, и любопытствовал:

— Куда это их?

— Задание,— сквозь зубы процедил Черкалов.— Прошу побыстрее.

На нарах в разных местах послышался шорох, шепот, в проходе замаячили фигуры: члены подпольной организации не ждали, когда их придут будить. Они молча проходили к пирамидам, брали винтовки, шелкали затворами и шли к Черкалову. Несколько человек остались у пирамид.

— Почему оружие грязное?— строго спросил ротный у подошедшего дневального.

— Где?— удивился Курятников.— Вечером чистил.

— А это что?— Черкалов сунул ему под нос винтовку.— Бакшин, отведите его на гауптвахту.

Андрей рывком выдернул у Курятникова оружие.

— Следуй вперед!— скомандовал он и подтолкнул в спину недоумевающего дневального.

Едва за ними закрылась дверь, Черкалов кивнул Сеньке Маленькому, и тот рывком:

— Р-рота, подъе-ем!

На нарах зашевелилось, закричало, зачесалось. Послышался мат и недовольные восклицания.

Власовцы, позевывая, слезали с нар, толпились в проходе.

— В две шеренги — становись! — скомандовал ротный.

Молча построились. Вооруженные заняли заранее определенные позиции в проходе.

Черкалов прошелся вдоль строя, остановился по середине, снял пилотку, набрал полную грудь воздуха и вдруг совсем тихо, чуть слышно сказал:

— Товарищи...

Рота вздрогнула и качнулась вперед. Наступила мертвая тишина.

— Нас взяли насильно,— негромко продолжал Черкалов.— Но раз мы воюем за немца — мы предатели. Пришла пора снять с себя этот позор. Мы русские, наша Родина — Россия, а Россия — советская страна, и никакой другой нет и не будет!

— Ну, ну, господин старший лейтенант, полегче на поворотах! — раздался за спиной насмешливый голос.

...— Знаешь, Велик, я еще никогда в жизни не видел, чтоб человек мог так побелеть. Читал, слышал: белее снега, белее муки. Но это что! Черкалов стал белее смерти. Как будто в один момент — раз! — и умер. И было от чего. Почему Никанор здесь? Ведь с вечера ушел к любовнице. Когда вернулся? Как? Почему часовой пустил?.. Это был еще один наш просчет и...

— Ишь, хитрец какой,— продолжал Никанор, приближаясь к Черкалову.— А меня, значит, под колеса? Не выйдет, дорогой! Руки вверх!

Какая-то непонятная сила бросила Шурчика вперед. Он прыгнул к Никанору и рубанул его прикладом по руке. Пистолет со звоном ударился о пол.

— Изме-ена! — зарычал Никанор.— Хватай оружие!

Несколько добровольцев бросились к пирамидам. Грохнули торопливые выстрелы, вжикнула заблудившаяся пуля, и все смолкло.

— Кто хочет искупить свою вину, отходи налево! — сказал Черкалов.— Учтите: получен приказ начать отправку ваших семей из Шуреи.

Люди зашевелились, непонятно загнувшись.

Шурчика всего трясло. Тыча стволом винтовки в лицо Никанора, он выкрикивал:

— Гад, гад, зверь! Ерохиных... всю семью... и ребяташек... и стариков... сам... из пистолета... на моих глазах... и нас хотел... Зверь! Гад!

Его пронзительные выкрики были нестерпимы.

— Это называется Новая Россия, так ее растак! — злобно крикнул Костик Сухов, двоюродный брат того Ерохина, чью семью расстрелял Никанор, и шагнул к Пашину.

Строй сломался.

5

Ночь была темная, накрапывал холодный дождик. Скользкая дорога, вся в выбоинах и колдобинах, шла сначала берегом озера, а потом вползла в кустарник и начала петлять, обходя неудобные для проезда места. В Монастырщине стояли партизаны, и непонятно было, кто по дороге ездит. А ездили ж, раз не заросла.

— Знаешь,— сказал Шурчик, и в голосе его пробила горделивая нотка,— в костеле, когда я кинулся на Никанора, у меня как будто что-то развязалось в середине. И я перестал трусить. Конечно, одному ночью боязно идти к партизанам, но это не трусость. Я все равно пошел бы — и без тебя.

Они брели и брели, с трудом выдирая из грязи ноги, думая каждый о своем. Ребята потеряли счет времени — сколько уже идут, долго ли идти еще. Им казалось, что путь этот никогда не кончится.

Когда вышли из кустов на чистое место, и перед ними выросла хата, и чей-то ломающийся басок громко, на всю ночь, крикнул: «Кто идет?» — Велик от неожиданности упал на землю, а Шурчик, ничего не успев сообразить, прыгнул в сторону. Еще не коснувшись ногами земли, он понял, что сделал глупость, может, непоправимую, и закричал:

— Свои! К вам я!

Заглушив его крик, громыкнул — будто раскололось небо — выстрел. Прямо над ухом Велика противно визгнула пуля.

Возле хаты послышался шум голосов, лязг оружия.

— Туда побежал. Я только крикнул: «Кто идет?», а он сразу побежал.

— Один?

— Вроде один, а может, не один — ничего ж не видно.

— Так, Сидоренко и Тростинин — по дороге. Дмитриев — со мной...

Велик лежал в дорожной грязи и, приподняв голову, ждал: вот сейчас подаст голос Шурчик, обязательно подаст, как же иначе? Зачем же шли? Но Шурчик молчал, и мысли у Велика забегали, заматались... Да что у него, язык отнялся от страха, что ли? Или он... Нужели перепугался так, что драпанул? А как же теперь? Вот прямо сюда кто-то правит осторожные шаги. Сейчас Велика найдут, и тогда уж не поверят ни одному слову, потому что он будет пойманный, а не добровольно пришедший. Велик поспешно крикнул истончавшим от волнения голосом:

— Дяденька, не стреляйте, мы к вам! — и вжался щекой в грязь, боясь выстрела.

Шаги стихли. После недолгого молчания хрипловатый голос властно скомандовал:

— Эй ты! Бегом сюда!

— Иду, иду, дяденька, иду, иду, — затараторил Велик, поднимаясь. — Только не стреляйте, ладно?

Вскоре он сидел в теплой хате, дул на заокоченевшие пальцы и с беспокойством прислушивался к телефонному разговору, который вел с кем-то обладатель хрипловатого голоса. Получалось так, что тот, кому сообщили о Велике, по-видимому, не очень торопился доложить начальнику, и это уязвляло хрипловатого, он горячился, доказывая, что дело не терпит отлагательства.

Положив трубку, он крикнул:

— Сидоренко! Отведи мальчика в штаб.

Высокий, худой Сидоренко взял автомат, мотнул головой.

— Пошли!

Выйдя из хаты, Велик едва не споткнулся о какой-то не то чурбак, не то куль.

— Подожди, — сказал Сидоренко и включил «батарейку» — ручной фонарик.

Рассеянный пучок света скользнул по земле и замер на грязном человеческом лице. В расширенных зрачках дрожали огоньки, и Велику почудилось, что, увидев его, глаза мертвого ожили и начали меняться черты лица. Он отпрянул — это был Шурчик.

— Заблудились вы, что ли? — вздохнув, спросил Сидоренко.

С трудом проталкивая слова через пересохшее горло, Велик ответил:

— К вам шли... А вы его... эх! Она ж теперь... тетка Катерина...

— Да наш тоже... парнишка... испугался...

Минут пятнадцать они пробирались по затопленной жидкой грязью улице мимо темных домов и шатких изгородей — приходилось то и дело хвататься за них. Наконец прилепели к дому побольше других, с двумя крылечками.

В маленькой прихожей их встретил дежурный. Отпустив Сидоренко, он провел Велика в соседнюю комнату. Здесь стояли два конторских стола, несколько табуреток. На одном столе тускло, последним мерцанием горела керосиновая лампа-семи-линейка, освещая комнату неровным полусветом.

Велик потоптался у двери, нерешительно поздоровался.

— Иди сюда, — приказал один из сидевших за столом. — Садись. Слушаем.

У него было резко очерченное продолговатое лицо, густая черная шевелюра, шрам на лбу. Смотрел он сурово и неодобрительно, чуть исподлобья.

Велик смеялся, забормотал:

— Я... это... ну...

Рядом с черноволосым сидел пожилой широколицый мужчина с седыми жидкими волосами и мясистым носом. Он рассматривал мальчика с любопытством и сочувственно.

Командиры были одеты в красноармейскую форму. Когда один из них прибавил свету, Велик увидел у них на гимнастерках петлицы, а на петлицах — знаки различия: у седого три кубика, у черноволосого шпалу. И ему стало так легко, будто он долго плыл через озеро и не чаял уже переплыть его и вдруг его нога задела песчаное дно. Он смотрел на эти петлицы, эти кубики и шпалы и не мог от волнения выговорить ни слова.

— Не волнуйся, пожалуйста, — сказал седой мягко, ободряюще. — Расскажи нам, кто ты, откуда, зачем.

Смоленский полк партизан вступил в Шурею на рассвете.

После того как трое разведчиков, которых привел Велик, встретились с Черкаловым, парнишка посчитал свое дело сделанным.

Теперь он пошел бродить по людным улицам. Подходил то к одной, то к другой кучке партизан, прислушивался к разговорам и никак не мог наслушаться и наглядеться. Ведь два года все втайне вздыхали: когда же увидим наших? Обрыдло спотыкаться глазами о чужие мундиры, чужие эмблемы, слышать чужую речь. Чужую не только немецкую, но и русскую чужую — разговоры предателей. Временами накатывало отчаяние: да есть ли где-нибудь вообще наши? И вот — есть.

Возле костела стоял партизанский танк. Трое танкистов сидели на броне и курили.

— Надо бы раздолбать эту пирамиду Хеопса, — сказал один из танкистов, кивая на каменную громаду костела. — Мы тут вряд ли долго задержимся, а для фашистского гарнизона это прекрасное укрепление.

— Нельзя, поди-ка, — отозвался другой. — Закричат: партизаны разрушают католические храмы.

— Ну и пусть. В первую голову надо учитывать военные соображения.

— Все надо учитывать, — сказал третий.

Мимо процокали всадники в лихо сдвинутых на затылок кубанках. В числе других мальчишек Велик увязался за ними. Всадники спешили у штаба. Здесь вокруг полевой кухни группами и в одиночку завтракали партизаны.

Дразняще пахло мясными щами и пшенной кашей. У Велика затосковало в животе, и он подумал, что надо возвращаться к своему шалашу. Но все в нем восстало против этого. Что он скажет тетке Катерине? И вообще — как жить в этой семье после Шурчиковой гибели? Ведь он, Велик, станет ежедневным, ежечасным, ежеминутным напоминанием об этом горе.

Но куда ж деваться? А что если попроситься к партизанам? Вот было бы да!.. В первый момент ему показалось, что нет ничего проще — подошел и сказал: «Дяденька, возьмите меня с собой». Однако как только он зримо представил себе, что подойдет к этому вот рыжеусому толстяку, дело осветилось совсем другим светом. Рыжеусый его, Велика, не знает, с какой стати он возьмет с собой первого встречного пацана? Да если б и захотел — наверно, не имеет права. Единственно, к кому он мог обратиться с надеждой на успех, — это к партизанским командирам, у которых был ночью в Монастырщине. Но где их найдешь? Из штаба они уехали, партизаны, у которых Велик спрашивал о них, только плечами пожимали:

— Разве ж начальство докладывает нам, куда оно и зачем?

П робираясь к своему шалашу, Велик так и не решил, что он скажет и как будет себя держать.

Впрочем, оказалось, что никакого решения и не требовалось — Катерины не было. У входа в шалаш, закутавшись в тряпье, сидели Мишка и Манюшка, сиротливые, беспомощные, жалкие, как выброшенные из разоренного гнезда птенцы. Увидев Велика, ребяташки обрадовались. Это заметно было и по

глазам и по тому, как они сразу оживились и потянулись к нему.

— Нашего Шурчика убили,— застенчиво, словно стыдясь, сказал Мишка.— Мать с партизанами поехала его хоронить.

— А нас покормить забыла.— Манюшка выпростала из-под попонки руки и обшарила Велика— слезила в карманы, за пазуху. Ничего не найдя, все же с надеждой спросила:— А ты ничего не принес?

Велика тронул и ждущий взгляд и надежда в ее голосе. Стало стыдно: когда в его помощи не нуждались, он спокойно сидел и жевал корку, что Катерина отрывала от своих детей, а когда у них беда и понадобилась его помощь, сразу навострил лыжи.

— Сейчас я, сейчас,— забормотал он,— и обогреемся и поедим...

Хорошо, что со вчерашнего дня осталась картошка и по дрова не надо было идти, только нарубить. Скоро затрещал костер, забулькала в чугунок вода. Ребятишки ожили. Правда, чем ближе к трапезе, тем больше возрастало нетерпение, и Манюшка все чаще лезла в чугунок заостренным прутиком— пробовала, сварилась ли картошка,— но вид у нее при этом был оживленный, даже веселый— в предаккушении еды. У Мишки раздувались ноздри, он вдыхал запах кипящей картошки и время от времени виновато взглядывал на Велика, как бы безмолвно просил прощения и за свою и за сестренкину слабость.

А Велик не показывал вида, что и он голоден— в пору проглотить варево вместе с чугуном. Велик спокойно подкладывал дрова, отлучался от костра в шалаш, ходил за водой— все неторопливо. И это поднимало его в глазах ребят и в собственных. Впервые испытываемое им чувство покровительства сладостно волновало.

И его растрогало прямо-таки до слез, когда, заморив первый голод, Манюшка обрела способность думать еще о чем-то, кроме еды, и сказала, благодарно взглянув на Велика:

— Я тебя всегда буду слушаться. Как будто ты наш старший брат, ладно?

8

Тетка Катерина вернулась поздно вечером. Велик сидел у костра, вороша дгорающие головешки. Она молча опустила на камень рядом с ним и протянула над жаром озябшие руки. Платок сбился к затылку, спутанные волосы беспорядочными прядями свисали на лицо. Велик боялся кашлянуть, шевельнуться— ему казалось, что тогда произойдет что-то неожиданно ужасное. Так они сидели в напряженном молчании долго-долго. Наконец она произнесла натужным, хриплым голосом:

— Должно, я не сдюжу, сынок. Должно, я совсем насмерть убитая.

КОРМИЛЕЦ

1

Перешедшая к партизанам рота Черкалова поспешила отправить свои семьи в глубь партизанской зоны. В числе других Катерина с детьми очутилась в глухой деревушке Комары.

Едва сгрузив с подводы узлы и перетаскав их в хату, где отныне предстояло жить, Велик отправился обследовать деревню и окрестности.

Внешне Комары мало чем отличались от родимого Журавкина. Велик подивился как раз сходству этих далеких друг от друга и разноязычных деревень.

А вот речка, протекавшая тут, совсем не походила на спокойную, медлительную Журавку или Навлю. Здежная была вертлявой, извилистой, и имя у нее было какое-то бегучее и вертлявое— Усвейка.

Вся ее широкая пойма поросла ольшаником, между дорогой и Усвейкой тянулись сплошные заросли шиповника. Листья почти все уже облетели, обнажив на ветках обильные россыпи ягод. В лучах заходящего солнца заросли шиповника казались облитыми кровью.

Осенний день незаметно перешел в вечер. Надо было возвращаться.

У двери Велик долго очищал от грязи свои чуни. И поналипло на них, само собой, да и вообще в чужой дом, к чужим людям так идти и боязно и неловко.

Хату наполнял неровный, дрожащий свет пополам с копотью. Им заведовала круглолицая конопатенькая девочка, что сидела за столом. Она держала горящую лучинку, следила за огнем, обламывала сгоревший конец в бутылку с отбитым горлышком. Знакомая картина!

На лавке у занавешенного окна сидела женщина. Сперва она показалась Велику пожилой, но, посмотревшись, он понял, что старит ее обветренное, загрубевшее лицо, а на самом деле она не такая уж и старая— об этом говорили и тугая кожа щек и молодой блеск в глазах. Одной рукой она облокотилась на стол, другой придерживала ерзавшую у нее на коленях маленькую востроглазую девчужку. Еще одна, побольше, беленькая и румяная, жалась к ее боку. Девочка с Велика ростом, крепенькая, серьезная, неулыбчивая, готовила у порога пойло корове. На скамейке у загнетка расположились Мишка и Манюшка. Из-за ширмы, что скрывала помост у печки, слышались тяжелые, с причитаниями, вздохи тетки Катерины.

— Ну что, партизан, набегался?— грубовато и насмешливо сказала женщина, когда Велик вошел в хату.— А мой сорванец где-то еще лѣтает. Ну, разуваясь, не следи в хате, сегодня только пол помыли... Кланька, каб тебя раки зѣли, ты глядишь за лучиной или у тебя повылазило?... Сделав такие отступления, она продолжала рассказ, адресуясь к Катерине:— А стала я невестой, оказалось, что в Телятичах лучшей дзявчины и нет. Другого и разговору не было, окромя: Варка самая работящая, Варка самая боевая, с Варкой не пропадешь. Ну, и женихи, як окуни на червяка, со всего района сплывались. А Варка-дуреха, каб яе раки зѣли, нет бы выбрать бойкого, красивого и в сажень ростом— выбрала по всем статьям так себе. Зато, бач, ученый, техникум закончил. Ну, правда, и симпатичный все же и веселый. Бывало, даже зло возьмет: «Пилип, что ж ты себе думаешь? У Каролины пальтишка няма, у Клани ботики развалились, а Лявон зимой в картузе ходит. Да и тебе рубашка еще одна не помешает— все ж не простой человек, зоотехник, марку трѣба держать». А ѐн: «Да ты что, женка, с ума сошла? Неужто думаешь, Пилиповы дети будут голы-босы бегать? Да нет такого закону!» Гармошку на плечо— и песняка. И правда, как-то извораживался— сыты были и одеты-обуты, хотя ели не подряд курятину и носили не одни шелка. Но хозяйство як у людей, и хату вот поставили новую, правда, сенцы не успели пристроить. И деток вон сколько нарожали: Каролина, Лявон, Кланя, Светлана, Яня. И еще один помер. Над нами уж и подсмеивались: мол, куды столько, а Пилип знай зубы

скалит: «А вот на старости лет поглядим, что лучше — одного иметь или пятерых. Один выгонит — куда пойдешь? А когда пятеро... Этот выгнал — к тому пошел, тот собак натравил — к третьему кинулся, и так дальше. Да кто-то ж из пятерых и пожалеет батьку с маткой. А чтоб все бессердечными оказались — нет такого закону!» Взяли его на финскую войну. Уходил — тоже все «Лявонику» наигрывал да шуточки отпускал: «В трофеях привезу белофинскую бабу, а Варке отставку дам». Я, як водится, стала казать, чтоб берег себя, у нас дети, и все прочее, а ён свое: «Да ты что, женка, думаешь — убью Пилипа? Да нет такого закону!» А вот же нашелся такой закон — убили Пилипа, убили, каб их Пярун спалил! И Варку с ним разом убили, не стало больше Варки-женки, а стал Варка-мужик.

Вошла старшая девочка — она выносила корове поило, — стала вытирать руки полотенцем, что висело на гвоздике у печки.

— Каролинка, — обратилась к ней мать, — тащи на стол бульбу, корми всех, каб нас целый год черти кормили! Сягодня они у нас гости, няхай едят с нами, а завтра — уже постояльцы, и нам до них дела няма.

2

«Велика положили спать на печке. За два месяца ночевок в шалашах и под открытым небом он не то что привык, но притерпелся к холоду и сырости, к росе на лице и изморози на волосах. Пишущая теплом печь показалась ему раем. А минувший день к тому же был колготным и уютным — с утра и почти до вечера пришлось шлепать вслед за подводой по грязи, под дождем, таскать и перетаскивать, грузить и разгружать узлы с барахлом. Велик вымотался и потому как прислонился щекой и подушке, так и умер, и за ночь ни разу даже не переменял бок.

Он проснулся так же вдруг, как и заснул, — будто вынырнул из темной глубины. Вынырнул и почувствовал себя свежо и бодро, словно после долгого знойного и пыльного похода окунулся в родимой Навле.

В хате было еще сумеречно. От порога долетал приглушенный разговор.

— Чего шумишь, каб тебе черти в ухо шумели! — выговаривала кому-то Варвара. — В лесу, что ли, заблудился? Детей разбудишь. И больная у меня.

Мужской голос оправдывался:

— Да я ж думал, ты одна, красавица.

— Иди, нашел с кем заигрывать! У меня вон семеро по лавкам.

— Вот-вот, я ж и говорю: восьмого не хватает.

— На вот, держи хлеб и топай отсюда, пока ухватом не благословила!

— Что ты, хозяйюшка, добыть хочешь? Меня ночью под Ольшанами немец в рукопашной так прикладом благословил, что до сих пор поясница гудит.

— Вы что, из боя?

— Да, каратели рвутся в партизанскую зону. С танками. Мы их остановили, но пришлось отойти. Теперь там дубовцы оборону держат. Ну, бывай, красавица, жди в гости.

— Да куда ж от вас денешься? — беззлобно проворчала Варвара.

Рядом с Великом кто-то зашевелился. Сонный мальчишеский голос протянул:

— Ма-а, кто это?

— Партизаны, сынок, — ответила Варвара от печи. — Прямо из боя, сердечные.

Сосед ткнул Велика кулаком в бок и зашептал:

— Ты! Давай побежали партизан глядеть. Может, трофеями разживемся.

Он втихаря обулся и, прихватив пиджачок из-под подушки, кубарем скатился с печи. Великовы чуни тоже сушились здесь, и он быстро догнал соседа. Ребята пулей промчались мимо Варвары.

— Ку-уды! — закричала она вслед. — Спаровались, каб вас обоих раки зьели! Теперь домой не заго- нишь. Лявон! Лявон! Не забудь — сягодня за дровами.

— Ай! — досадливо дернул головой Лявон, раз- машисто шагая прямо по грязи.

Велик, пытавшийся ступить в его следы, еле по- спевал за ним. У мостика через ручей, наискосок пересекавший улицу, Лявон неожиданно остано- вился.

— Ты! Тебя как зовут? — У него были густые смо- льяные волосы, большие черные глаза, смуглое неж- ное лицо. Красивый мальчик.

— Вообще-то Валькой, — охотно ответил Велик, — но родители прозвали Великом. Так и все в деревне стали звать.

— Велик лучше! — решительно заявил Лявон. — Будешь моим адъютантом. Вперед!

Веревоочные лапти его, подшитые кусками ребри- стой автопокрышки, четко застучали по настилу мо- ста.

Велика задел его начальственный тон. Командир нашелся! Сперва понюхай порошу хотя бы издали, а потом приказывай!.. Он замедлил шаги и свернул на тропинку у изгороди. Надо бы проучить этого задаваку — отколоться совсем. Но в Комарах у Ве- лика пока что зайти было не к кому, на улице же что толкаться: партизаны отдыхали по хатам, лишь изредка переходил дорогу озабоченный боец да кое-где в проулках у распряженных подвод дрема- ли понурые кони. А хотелось, до шкотания в груди хотелось снава увидеть партизан, поговорить с ними, если удастся.

Лявон оглянулся и закричал:

— Ты! Чего отстаешь? Блямбу захотел под глаз?

— Да иди ты! — огрызнулся Велик.

— Что? Ну-ка марш сюда, полицей недорезан- ный!

У Велика от обиды и гнева перехватило горло. Он набылчился и, сжав кулаки, прямо по грязи двинул- ся на Лявона. Тот ожидал, вызываясь дрыгая выставленной вперед коленкой. Злые огоньки в гла- зах, ощеренный рот, полный мелких и острых, как гвоздики, зубов, до неузнаваемости изменили его лицо. Оно стало некрасивым.

— А во як! — крикнул он, делая выпад навстречу Велику.

Тот перехватил его кулак и ударил Лявона ногой по коленке.

— Ты! Зачем штаны мне грязью залепил? — за- кричал Лявон. — Хочешь, чтоб я из тебя яйцо всмят- ку сделал?

— Пробовал один такой!

Они стояли друг перед другом в боевых позици- ях. Но нападать не спешил ни тот, ни другой: Лявон, получив отпор, понял, что обломать рога этому ску- ластому беженцу удастся только в серьезной пота- совке, а затевать ее сейчас было не время; Велик же, не драчливый по натуре, поостыл после первой стычки и подумывал о том, как бы избежать схват- ки: не очень-то хорошо — на второй же день дракой начинать знакомство с жителями приютившей его деревни да еще и со своим квартирохозяином.

— Если хочешь знать, грязь высохнет и обсып- лется, даже и пятна не заметишь, — сказал он хотя и не миролюбиво, но и не воинственно, а так, что-



бы противник понял: драки он не желает, но если тому невтерпёж, можно и подраться.

— Без солидных знаний,— принял перемирие Лявон,— можешь не беспокоиться.

Он повернулся и пошел дальше. Велик снова возвратился на стезжку.

В хате, куда вскоре свернул Лявон (а Велик как ни в чем не бывало юркнул за ним), пахло лекарствами. На деревянной кровати у окна лежал раненый. Он стонал, утомленно и монотонно, лишь иногда вскрикивая. Двое партизан, обжигаясь, ели за столом горячие лупеники — картошку, сваренную в мундирах. Возле них вертелся мальчик лет одиннадцати. С помоста слышался разноголосый храп и свист — судя по нему, там спало не меньше десятка человек.

— Амеля, пошли на улицу,— позвал от порога Лявон.

Мальчик отрицательно мотнул головой и продолжал прислушиваться к беседе, что вели вполголоса партизаны за столом. Тогда Лявон подошел к нему. Вслед за ним и Велик. Партизаны не обратили на них никакого внимания.

— Все-таки зря он полез к миномету,— говорил грузный, с покатыми плечами партизан, бросая короткие взгляды в сторону раненого.— Никто его не посылал.

— Ну, это ты брось,— возразил чернявый парень с исхудалым лицом.— Мало ли — не посылали. Ты что, в бою только по командам действуешь? Так, брат, много не навоеешь. Командир не бог, и ему не все видно. Сам тоже смотри, где ты нужен.

— А если ты сразу видишь, что лезть бесполезно? Зачем же переть прямо под нож? Лишние потери.

— Нет, не лишние. На войне лишних потерь не бывает. Хотя бы то возьми: эта пуля, что в тебя попала, уже в другого не попадет.

— Ну-у...

— Я говорю: хотя бы... А Иван огонь на себя взял, отвлек прикрытие, и с другой стороны, миномет все-таки подорвали.

Велик выждал, когда наступит пауза в их разговоре, и обратился к чернявому:

— А вы не знаете, где стоит Смоленский полк?

— Зачем тебе? — остро глянул на него партизан.

— Там у меня знакомый командир, обещал меня к себе взять,— чтоб не пускаться в долгие объяснения, соврал Велик. И, сказав это, подумал: а почему бы в самом деле не разыскать смоленцев и не попроситься к ним? Что ему тут, в Комарах?

— Если б и знали, не сказали,— строго произнес грузный, а чернявый засмеялся.

— Военная тайна, как в том анекдоте: «Солдат, сколько человек у вас в отряде?» «Двести». «Что варили?» «Военная тайна».

— А чего ты ржешь? — неодобрительно сказал грузный. — Конечно, военная тайна.

— Просто анекдот вспомнил. А ты, мальчик, лучше у своих односельчан порасспрашивай, они все знают.

Лявону наскучило слушать тихую беседу, монотонные стоны раненого, а тут еще этот беженец влез в разговор, в то время как он, Лявон, не пошел и оказался в стороне.

— Ну, хватит, пошли! — громко и грубо сказал он и дернул Велика за рукав.

И тот вынужденно подчинился: оставаться здесь без Лявона неловко — ведь хозяева его не знают.

На улице Лявон начал ему выговаривать:

— Ты! Чего суешься со своими вопросами? Я и то молчу, а он суется! Командир у него знакомый, ха! Придумал бы что-нибудь получше.

— А тебе-то что? Ллялльльль, ну и молчи. А мне рот не затыкай, я тебе не подчиненный.

— Тогда и не ходи за мной, ясно?

— Ну и подумай! — Велик повернулся, но не успел он сделать и пяти шагов, как Лявон догнал его и схватил за плечо.

— Ты! Куда побежал? Дома тебе живо работу найдут. Мы ж партизан еще и не поглядели как следует. Пошли к Юзеку, у них, наверно, тоже стоят. И у нас поставили бы, если б беженцев не пришло.

Странные у него повадки! Ему будто наплевать, как подействуют его слова: пришел в голову — сказал, не думая, обидны они или нет.

В хате, куда привел он Велика, партизаны уже встали. Одни, поливая друг друга прямо из ведра на оголенные спины, шеи, руки, умывались во дворе, весело вскрикивая, фыркая и шутиво перебранываясь. Другие, в хате, кто чинил рубашку, кто чистил оружие. Высокий худощавый партизан с густыми черными усами, концы которых свисали по сторонам толстогубого рта, пересчитывал патроны, выкладывая их из подсумка на стол.

— Тридцать два,— сказал он, трижды свел вместе растопыренные пятерни и показал еще два пальца.

Тот, к кому он обращался, лежал на печи в верхней одежде (а был на нем немецкий китель со свежими следами сорванных погонов и петлиц) и, подперев голову ладонями, внимательно следил за руками усатого. Спутанный русский чуб его свешивался на лоб.

— Кватит,— сказал он, улыбнувшись.— Цвай унд драйциг фашистен капут.

— А вжеж,— согласился усатый и, сделав озабоченное лицо, спросил: — Як твий грип?

— О, гут!

— Грип пидчепыв, це ж надо,— пояснил обступившим его ребятам словоохотливый усач.— Нимцы, воны слабже наших будуть. Ось бач — вийна, а вин грипуе. Смих.

— А он что, вправду немец? — понизив голос, удивленно спросил Велик, и ребята — тут были еще Юзек и его сестренка — плотнее обступили партизана, бросая украдкой взгляды на печь.

— А як же.— Поверх ребячьих голов усатый подмигнул немцу.— Про тебе пытаются.

Тот засмеялся и лег навзничь. Ему, наверно, было неудобно, что вот про него разговаривают, с любопытством разглядывают, а Лявон — тот вообще смотрел бесцеремонно, в упор.

— Це золотий німець,— говорил усач, укладывая патроны в подсумок.— А мени дорожке брата ридного. Вид смерти, можно сказать, спас.

Было это месяц назад, рассказал он, когда Травно брали. Ворвались ночью — никто не ждал, поэтому дела пошли хорошо. Немцы и полиция прыгали из окон в одних подштаниках. Все ж кое-где офицерам удалось организовать отпор. Особенно сильно сопротивлялись около штаба. Здесь партизанам пришлось залечь. Лежат они, а видно, как днем,— пылают штаб. По ним бьют — ни перебежать, ни головы поднять. И главное — пулемет садит как бешеный. Вот хлопцы и толкуют:

— Надо что-то придумать, иначе зимовать тут придется.

А что придумаешь? Уничтожить пулемет надо, вот и все. Усач взял гранаты и пополз. Подполз и бросил их одну за другой. Немцы — кто куда. Только партизан кинулся было к пулемету, глядь, из-за угла на него целая группа, солдат десять прет...

— Ну, думаю, молись богами, киньце настает. А тут из-за другого угла выбегает оцей Август...

лиг за пулемет та як вриже по своим!.. Добре пидсбив,— закончил усах.

Он уложил патроны и начал разбирать винтовку. — Дядя, а вот как же...— сказал Лявон.— Перед нами-то он молодец, а перед своими? Как наши полицаи... Он же свою родину, Германию, предал.

— Э, ни, хлопцы.— Усатый поднял палец, подчеркивая значительность своих слов.— Вин коммунист, а коммунист не может не быть противу фашизма.

3

Партизаны пробыли в Комарах дней восемь. Каждое утро появлялся в хате тот веселый боец — сборщик хлеба, и Варвара отдавала ему очередную ковригу. Несколько раз приезжал и вечером.

— Ну и ядуны ж вы, хлопцы,— говорила насмешливо Варвара.— С хаты по буханке уже вам не хватает.

— Ну что ты, хозяйка,— смущенно отшучивался партизан.— Нам хватает, как в анекдоте: «Харчем довольны? Хватает?» «Так точно, товарищ генерал, хватает, аж остается!» «Куда ж остатки девааете?» «Съедаем, аж не хватает!»

— А, каб вас усах раки зъели! — смеялась Варвара.

За это время партизаны забили две коровы.

Полтора года назад, когда образовалась эта небольшая партизанская зона, комаровцы провели собрание, на котором постановили снабжать партизан продуктами, в том числе и мясом. Проголосовали и составили список очередности: сначала сдавать коров должны бездетные, потом те, у кого один ребенок, двое детей, трое и так далее. Никто не принуждал к такому решению, и отдавали как бы в долг (партизаны выправляли бумагу, которую после освобождения можно было предъявить властям), но корова — кормилица, и расставались с нею тяжело.

Сейчас взяли у тех, у кого в семье было двое детей. Варвара прикидывала, когда дойдет очередь до нее. Получалось — не скоро.

— А может, и скалится господь бог — доживет Зорка до Красной Армии? — с надеждой вопрошала она. И сама же отвечала: — Да нет, на бога надеи няма. Видно, ослеп и оглох старой. Людей живьем палят, деток, як поросят, закалывают, а ён хоть бы пальчиком погрозил катам и вылюдкам.

— Ох, не богоульствуи, девка,— подавала голос Катерина.— Пути его неисповедимы, не человеку судить.

— Ай, лежи ты, овечка господня! — досадливо отмахивалась Варвара.— По мне так: не можешь по справедливости устроить землю, сдай власть, кто поспособнее тебя, ну, хай хоть сыну, а сам затаис в уголке и сопи потихоньку в свои две дырки.

— Что ты такое говоришь? — возмущалась Катерина.— Бог един в трех лицах. Сын его Иисус Христос — это он же, господь наш единый.

— Ну, як у своей семье нет подходящего, хай отдаст вожжи кому чужому, да хотя самому дьяволу, абы навел тут у нас порядок. А то ведь нет, держится за свою власть, каб его черти над геенной огненной держали!

Катерина затыкала уши.

Здоровье ее не улучшалось. Похоже было, что слегла она надолго, лежала, что называется, пластом, не имея сил ни сесть, ни даже поднять голову. Целыми днями, наводя тоску, слышались из-за занавески горестные вздохи и жалобное бормотание:

— Несть исцеления в плоти моей от лица гнева твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих.

Лишь раз в сутки, когда дети ложились спать, выносила, а точнее, выносила ее Варвара «до ветру». Никто не мог сказать, что у Катерины за болезнь, сама она считала, что грудная жаба. Как лечить ее, в деревне не знали, а и знали бы — лечить было некому и нечем.

Первое время постояльцы кормились тем, что продавали за жито и картошку одежонку покойной Тоньки. Ее платьица, кофточки и пальтишко были впору и шестилетней Светлане и четырехлетней Яне. Но не бог весть сколько было этой одежонки.

Велик чувствовал себя нахлебником, объедавшим Катеринины детей. Это чувство усиливалось еще тем, что и сама Катерина была иждивенкой. Он, конечно, старался, как мог, оправдать свой харч — таскал из поймы Усвейки хворост, рубил его на дрова, носил из колодца воду, когда Варвара и Каролина затевали стирку, обкапывал завалинку, делал все, что просили и не просили. Не стеснясь его присутствия, Варвара полушутя говорила Каролине:

— Золотой малец! Не то что наш лайдак, каб его раки зъели!.. Вот подрастете, выдам я тебя за него — сердце спокойно будет.

— Вельми далекая его сторонка, мама,— вздыхала Каролина.

Она ко всему относилась серьезно и степенно — видать, обязанности старшей сестры, первой материной помощницы, отложили отпечаток на ее характер. Что скрывать, Велику это в ней нравилось. Нравилось и ее неутомимое трудолюбие — с утра до вечера Каролина была в хлопотах, в делах, в заботах. И лицо нравилось — спокойное, простое и значительное, как у матери-Родины на плакатах, только моложе. И приятно было, что шутливые слова Варвары по поводу будущего замужества она воспринимала серьезно и даже входила в обсуждение такой возможности.

Только у «нашего лайдака» — бездельника Лявона — Великова старательность не вызывала похвалы, хотя он и выигрывал от нее: постоялец взвалил на себя все его обязанности. Наоборот, Лявон не упускал случая съехидничать:

— Ты! Вправду захотел на Каролине жениться? Видала она таких! Так что уродуйся не уродуйся...

Хорошо ему было ехидничать, материному любимчику! Велик давно подметил: Варвара ругала сына больше, чем любую из дочерей, не упускала случая шлепнуть его, когда попадал под руку, но ни на кого из них не смотрела она затаенно с такой нежностью и гордостью, как на него. Лицо ее в эти минуты молодело и горело от скрытого волнения.

На насмешечки Лявона Велик не обращал внимания. Плохо только, что его старания не добавляли ни хлеба, ни картошки в скудные запасы Катериной семьи и потому не успокаивали совесть. И однажды поутру он спрятал под пиджак сшитую заранее сумку и вышел в поход.

На улице было свежо и сухо. Бугристая, исполосованная колесами грязь подмерзла. На востоке по-парадному ясное и холодное вставало солнце.

«Первые заморозки», — подумал Велик, подумал так привычно-торжественно, по-журавкински, как будто это невеста какое событие — первые заморозки. И вдруг представил и даже почувствовал, ощутил, что вернулся на родину. Посмотрел вокруг радостно и пристыженно, как смотрит на мать возвратившийся из чужих краев сын, который в разлу-

ке и забывал о ней и не писал, а вот встретился и увидел, что она-то думала о нем постоянно.

Не поспешно, но ходою двинулся он по черноту проселку, исчерканному голубыми прожилками льдинок, к темневшей вдаль, за Усвейкой, деревне Телятичи. Велик поглядывал по сторонам на сиротливые поля, покрытые низкой стерней или усеянные кучками пожухлой картофельной ботвы.

Несколько дней назад, уединившись в хлеву, сшил Велик из старого прохудившегося мешка побирушечью сумку. Ничего другого, как идти «в кусочки», придумать он не мог. Но как же ему не хотелось! Он знал по опыту, что это не смертельно, в конце концов привыкаешь и начинаешь относиться к нищенству, точно к любой другой работе, но как трудно привыкаешь к тому, что ты побирушка...

Кончились поля. По узкому, из двух бревен сколоченному переходу форсирована Усвейка, осталась позади и пойма. Вот крайняя хата Телятичей — и:

— Подайте кусочек хлебушка.

Семья завтракала. Все повернулись к нему. Велик старался не смотреть в лица. Он и так знал, что на них бывает написано, когда на пороге возникает побирушка. Сгорбленный старикан встал из-за стола, пошел за занавеску. Оттуда слышно было его ворчанье:

— Хлебушка, хлебушка, а и свои ж внуки тоже хлебушек спрашивают. — Он вышел из-за занавески, держа в пригоршнях с десяток картофелин. — Вот, возьми бульбу. С бульбой тоже жить можно. — По голосу чувствовалось, что он смущен своей скупостью. Поэтому, наверно, и говорил безостановочно: — С бульбой не пропадешь. Недаром в песне: «Бульбу варюте, бульбу смажут, бульбу пякуте и ядуть».

Велик сказал «спасибо» и вышел. Старикунезачем было смущаться: картошка и вправду вещь. Только вот не предусмотрел Велик — надо было приготовить отдельную сумку...

Когда он вышел из пятой или шестой хаты, к нему подошла поджидавшая его за углом девочка примерно его возраста. Кругленькая, белая, как пшеничная лепешка, она смотрела на него большими серыми глазами сочувствующе-печально. Достав из-за борта колушка небольшой кусок хлеба, неловко сунула ему в руку.

— Это моя доля... — сказала она, покраснев до кумачовой густоты. — Ты не думай, дедушка не жадный. Просто он боится... Нас трое, а он уже старенький, вот и боится, что не прокормит.

— А отец с матерью?

— Убили. Батка в партизанах был, его в бою. А матку — каратели. — Опустив голову, девочка сосредоточенно ударяла носком веревочного лаптя по мерзлой земле. — Нам соседка сказала, что будут партизанские семьи убивать. Ну, матка нас спрятала под печь, а сама не стала прятаться. Сказала: «Никого в доме не будет — станут шукать, могут найти. А так я им скажу, что отправила детей к родичам...» Нам все слышно было, как они ее допрашивали, а потом убивали... После, как они ушли, приехал дедушка и забрал нас в Телятичи... — Она подняла глаза, смущенно сказала: — Это я тебе доверилась, ты сам сирота. И волосы вон местами сивые. Значит, повидал лиха. Ты ведь у Варьки Пилипихи живешь?

Велик сердито дернул щекой. Он не любил, когда говорили о его сиротстве, у него начинало першить в горле и к глазам подступали слезы, а зачем это ему — показывать и чувствовать себя слабаком?

— Я пошел, — набычившись, сказал он.

Девочка поспешно схватила его за рукав.

— Да ты... ты чего обиделся? Я ж ничего такого... Меня Яниной зовут. А тебя?

— Тебе ж, небось, все про меня сказали.

— Да у тебя имя какое-то... не всяк и запомнит.

— Ну, Велик. Валентин. Пустяк, я пойду. Вон пацан смотрит. Смеяться будут над тобой.

— Ну и хай смеются... А ты, как будешь в Телятичах, заходи к нам. Ладно? Обязательно! А если меня не окажется дома, то спроси, где я, и найди. Я тебе хлеба припасу. Ладно?

Велик, не ответив, пошел дальше, но не ступил и пяти шагов — оглянулся.

— Ладно, — улыбнувшись, кивнул он.

Янина радостно засмеялась.

Это было удивительно: после разговора с Яниной он почувствовал облегчение, как человек, долго плутавший в ночном лесу и вдруг вышедший на дорогу. И хотя дорога эта незнакома и неизвестно, куда приведет, но ведь куда-то же — к людям! — все равно выведет.

Велик не обошел и полдеревни, а сумка его уже наполнилась. Правда, больше подавали картошки, чем хлеба, иногда сыпали горсть ячменя или ржи, приговаривая: «Змелете, то и хлеб будет». Он с готовностью кивал: «Да, да, смелем, спасибо». Будь на их месте, Велик и сам не давал бы побирушкам печеного хлеба: чтобы его испечь, надо было вручную, на самодельных жерновах смолоть зерно, а это тяжелая работа, ему приходилось несколько раз помогать Каролине, и он испытал на себе, что это значит.

Он хотел уже наладиться домой, но его зазвала вышедшая из хаты женщина. Она была молодая и миловидная. Этим, а еще певучим голосом и плавной походкой напомнила она ему мать. Едва они переступили порог, женщина сбросила с себя кофуж и начала раздевать Велика.

— Погрейся, погрейся, — приговаривала она так ласково, что сопротивляться было неудобно. — Такая жизнь настала, что тепло и то люди не всегда имеют.

Она сняла с него пиджак, ласково провела по волосам ладонью — мол, холод, а ты без шапки — и вдруг прижала к себе его голову.

— Сиротинка ты моя, — прошептала она.

Да что ж это такое! Чего они взялись над ним причитать — незнакомая девчонка, теперь вот незнакомая женщина... Он ведь не железный, чтоб равнодушно все это выслушивать!.. Велик попытался высвободиться из объятий, но женщина не отпустила его. Обняв за плечи, подвела к столу и усадила на лавку.

— Будем обедать, — объяснила она, приглаживая свои рассыпавшиеся волосы. На висках они были седые.

Против обеда Велик, конечно, ничего не имел — время давно перевалило на вторую половину дня. Он ел похлебку, потом картошку с льняным маслом и, разомлевший в сытом духовитом тепле, думал, что хорошо бы и остаться здесь, чтобы пересидеть это проклятое лихолетье. Ведь он в конце концов пацан, которому сегодня исполнилось всего-навсего тринадцать лет.

— Оставайся у меня, — вдруг сказала женщина. Она сидела, подперев кулаком подбородок, и неотрывно глядела на мальчика большими печальными глазами. — Я теперь совсем одна, а ты похож на моего мальчика. Буду глядеть на тебя и вспоминать Янушку, и можа, ты его заменишь. Ведь живое сильнее мертвого.

Велика покорило, что он нужен ей не ради него самого. Но жизнь научила его не очень-то носиться со своей персоной — теперь не осталось

больше на свете людей, кому она интересна. Вот разве что отец еще живой, хотя тоже вряд ли — ведь убивают там, на фронте...

— А где ваш сын? — спросил он, хотя сомневался, нужно ли спрашивать. И так ясно, что умер, а когда и как, для него простое любопытство, а ей лишние переживания.

— Убили, — прозвучало в ответ слово, которое он слышал здесь на каждом шагу. Оно уже стало действовать на Велика, как набатный удар колокола, и иногда, услышав его, он даже вздрагивал. — Янушка был вот как ты теперь, таких же годов. Когда немцы заняли деревню, они так удвух и подались в лес — мужик мой, Рыгор, и сына. Не пускала я мальчика, стыдила Рыгора и уговаривала: куда ж ты его на погребель берешь? А они оба были такие... что тот, что другой... Янушка говорит: «Лучше померти стоя, чем жить на коленях». Начитался. А Рыгор: «Ты ж видишь, все равно убежит, так пускай уж рядом с мной воюет». — Она вытерла глаза рукой. — Добился, чего хотел, помер стоя. Расстреляли в лепельской тюрьме. Попала мне через хороших людей записочка от него. «Я... пишет он, — мама, не жалею, что пошел в партизаны. Не ругайся, что так получилось, мне и самому помереть неохота, да на то война». А Рыгор дома помер. Был раненным в бою под Оршей, привезла его домой, тут и кончился. В бреду вспоминал сынку, а перед самой смертью сказал: «А можа, все-таки есть что-нибудь там, за гробом — тогда я повидаться с Янушкой». — Она помолчала, успокоилась, затем ласково попросила: — А теперь ты мне расскажи про свое лихо. Оно легче, когда поделишься.

Велику не хотелось вспоминать, но как ей было отказать?

— Отец на фронте. Не знаю, живой или нет. А мать с сестрой... Мы всей деревней в лес ушли. Это когда немцы отступали и всех угоняли с собой... Ну, а нас начали вычесывать. Мы кинулись кто куда хорониться. Я от своих отбился. Говорили потом, что их всех вычесали и поубивали...

Женщина всхлинула и потянулась к Велику. Чтобы предотвратить всегда смущавшие его «телячьи нежности», Велик слегка отклонился и поспешил перевести разговор. Взглянув на фотографии в рамке, что висели над столом, он спросил:

— Это он?

Там среди других была карточка совсем юной девушки, отдаленно похожей на хозяйку, с ребенком на руках.

— Нет, это я еще до замужества, с браткой меньшим. От Янушки ничего не осталось. Даже могилки. Только записочка да книги. В сундуке все это. Я не достаю никогда, бо как увижу, так и заплачу.

Велик поблагодарил за обед и встал из-за стола.

— Так ты не останешься? — спросила женщина жалобно.

— Я бы остался, только... Я ведь тоже собираюсь в партизаны. Вот как случай попадется, так и уйду.

Она подошла к нему и положила руки на плечи.

— Ну что с вами делать? Как бабочки в огонь...

Поживи хоть сколько. Одна я с ума сойду.

— Мне надо отнести, что насобирал, — уклонился Велик.

4

Едва Велик вошел, к нему подбежала Манюшка. Она уставилась своими продолговатыми, острыми и быстрыми глазенками на полную сумку, висевшую у него на боку, и с надеждой спросила:

— А что это у тебя там?

От окна поблескивал голодными глазами и вино-

вато улыбался Мишка-губастик. Велик достал из сумки скибку хлеба, разломил ее пополам.

— Заморите червячка и давайте картошку чистить.

С помоста из-за занавески послышался слабый голос Катерины, звавшей его. Велик прошел к ней.

— Я думала... куда это он делся... — сказала она. Тяжело и хрипло дыша. — А ты... куда...

— В Телятичах был. Побирался.

После паузы она спросила:

— Принес чего-нибудь?.. Меня-то Варька... дай ей бог здоровья... да я уж не едок... А у них... слышала, по картошке им дали...

У Велика перехватило дыхание.

— Я... принес, принес, — торопливо сказал он. — Мы сейчас наварим. Сейчас почистим и наварим.

Она нашла его руку и поцеловала горячими сухими губами.

— Варька-то... у нее своя орава...

Велику стало страшно. Дело-то, оказывается, не в том, что он лишний рот. Это бы еще ладно, можно было уйти, например, к той женщине. Да уйти ему никуда нельзя — их кормить надо. По силам ли это ему, мальчишке?

5

Дядька Макар, деревенский старшина — председатель, — живший по соседству, научил Велика плести веревочные лапти. Дело было довольно трудоемкое и нудное. Сперва требовалось навить оборок из льна, потом на колодке «положить основу», заплести ее, нарастить до нужной толщины подошву. Но с Макаром время шло незаметно. Они сидели рядом, каждый ковырялся в своем лапте, Макар, часто кашляя и скребя в черной густой бороде, рассказывал о своей службе в лейб-гвардейском полку.

— В гвардию подбирали по росту, а в роты — по разным приметам. Например, была рота из одних курносых. Была из рыжих, из черных, як граки. В нашей роте все были с черными усами. Бывало, на вечерней прогулке командуешь: «Запелай!» Сейчас запелала и затягивает: «Наша рота черноусых молодцов...»

Научившись у Макара, Велик нанялся плести лапти в семью Ивана Лабута. Сам Иван воевал где-то в бригаде Райцева, дома остались жена Марья и маленькая дочь Женя.

Вот когда узнал Велик, что такое постылый труд! Вроде бы что тут такого — не тяжело, в тепле. Пахать, например, или молотить зерно куда как тяжелее, но Велик готов был променять эти десять дней лаптеплетения на двадцать пахотных или помольных.

С утра до вечера перед глазами — оборки, оборки, оборки. К концу дня каждый продолговатый предмет превращался в оборку — и ложка, и ножик, и лучинка. Коврига, чугунок чудились мотками оборок. От целодневного неподвижного пребывания в жарко натопленной хате болела голова, и ни одной мысли не возникало там, словно вместо мозга она была набита перепутавшимися оборками. И после работы весь вечер Велик не мог избавиться от движущихся перед глазами оборок, и ночью снились оборки.

Единственными светлыми пятнами в однообразных сумрачных днях были минуты, когда к нему приставала Женя, чтобы рассказал сказочку или сделал «колабик». Картавый детский голосок в гнетущей тишине звучал, как музыка. Но Марья не позволяла Жене отвлекать работника от дела — хотя плата по уговору полагалась сдельная, за каждую пару лаптей, хозяйка была заинтересована, чтоб он поторапливался: ведь пока Велик работал у нее, она обязана была его кормить.

Да, работа была проклятая, и все же Велик не роптал и не заменил бы ее на легкий побирущий промысел: в работе чувствуешь себя человеком не хуже других, и хлеб заработанный сытнее кажется. Когда, закончив трудовой урок у Марьи, Велик вез по деревне на санках заработанные ячмень и картошку, ему казалось, что все Комары уважительно глядят на него в окна.

Возле Варвариной хаты на колоде сидела, поджав под себя босые ноги, Манюшка. Еще издали завидев Велика, она побежала к нему навстречу и стала помогать тащить санки, хотя и видела, что ему совсем не тяжело.

— Будет теперь у нас свой хлебушек,— рассудительно приговаривала она.— И своя похлебка, да? — Манюшка заглядывала ему в лицо.

У Велика будто ласковая щекотка пробежала по сердцу. Он почувствовал себя мужиком, хозяином, главой семьи. И впервые по-настоящему пережил это несравненное гордое ощущение, что нужен, даже незаменим для других, понял умом и постиг душой, как это сладко и радостно — давать. Чтобы скрыть взволнованность, он прикрикнул на Манюшку:

— Ты что это босиком по снегу? Ну-ка марш в хату!

СМЕРТЬ КАТЕРИНЫ

1

Утром, когда они с Лявоном вышли на улицу, Велик сказал:

— Знаешь, давай организуем в Комарах бригаду из ребят.

— Какую еще бригаду?

— Ну, партизанскую. Играть будем.

Лявон зачерпнул с дороги пригоршню свежего, еще не утоптанного снега, слепил крепкий комок и запустил в сидевшую на березе ворону.

— А комбригом кто будет? — Он циркнул сквозь зубы и искоса глянул на Велика.

— Комбригом буду я.

— А почему это ты, интересно? Почему не я?

— Ведь придумал я.

— Ну и что? Может, я придумал раньше тебя, только не успел сказать первый.

Брехал он нагло, нимало не заботясь, чтобы ложь выглядела хоть чуть-чуть правдоподобно. Велика это разозлило, и он решил ни за что не уступать.

— Я уже воевал, а ты что?

Лявон недоверчиво скосил на него свои большие черные глаза. Слова беженца произвели на него впечатление — он сказал хотя и по-прежнему задиристо, но на полтона ниже:

— Где это ты воевал?.. Воевал он, так тебе и поверили!

— Да, воевал! Из пулемета по немцам, знаешь, как садил? И к партизанам в Монастырщину из Шуреи ходил ночью по заданию. А ты тут у мамкиной юбки.

— Ты! Вот как двину! — Однако противопоставить-то было нечего, и он, глядя вбок, спросил: — А я кто, по-твоему, буду в бригаде?

— Будешь начальником штаба.

— Ладно. Пошли к Амеле. Он будет командиром отряда.

— Почему?

— Потому что он мой друг, ясно?

Велик понял, что с начальником штаба ему придется все время держать ухо востро. Сейчас он не стал спорить: не хотелось опять ссориться, да и против Амели он ничего не имел.

Мать Амели хлопотала у печи. Здесь же крутилась его сестра Маруся. А сам он сидел возле раненого и слушал его рассказ. Этот партизан, учитель из Травно, оказался дальней родней Амелиной матери и потому по ее и его просьбе был оставлен здесь на излечение. Раны заживали медленно. А было их у него, что сучков на березе. Он лежал, весь спеленутый бинтами.

— Ну, иди, вон к тебе мальцы пришли,— сказал партизан обрадованно: видно, Амеля ему уже изрядно поднадоело.

— А они тоже хотят послушать. Правда, мальцы? — сказал Амеля.— Интересно же, про бои.

Ребята поспешили к раненому. Но Ян Викторович сам начал расспрашивать Лявона и Велика, что там сейчас на улице, много ли снегу, чем ребята занимаются. Узнав, что Велик — беженец и прибыл из Шуреи, принялся за него.

— А он хвастает, что ночью ходил в Монастырщину к партизанам,— сказал Лявон, кивая на Велика.— Брешет, как пить дать.

— Что, правда, ходил? — спросил партизан.

Велик вынужден был рассказать про свой ночной поход с Шурчиком.

— А казав — по заданию,— презрительно протянул Лявон.— Самого взяли, как щенка, чтоб не скучно было. Ну и пустобрех же!

— Какая разница! — сказал Ян Викторович.— Задание-то выполнил. Выходит, боевой малец.

— А еще казав, что из пулемета стрелял по немцам.

— Да? А ну, как было дело?

Велик чувствовал себя неловко — вот, хвастается, но сам виноват: соряча выболтал Лявону, а теперь расхлебывай. Год назад он в родном Журавкине нашел пулемет и стрелял из него по немцам. Удивительное дело: Велик рассказывал и не верил сам себе. Казалось, там, в роще, за пулеметом лежал совсем другой мальчик — хорошо Велику знакомый, но другой. И от этого неловкость усиливалась — как будто Велик приписывал себе чужие подвиги. Он был смущен, краснел, запинался.

— Э, да ты, оказывается, обстрелянный и даже геройский малец! — воскликнул партизан.— Такого и в отряде неплохо иметь.

У Велика загорелись глаза.

— Ой, возьмите меня с собою! Я и в разведку могу, и за повара. А? Ну, возьмите!

Партизан усмехнулся.

— «Возьмите...» Я вон сам еще кверху брюхом валяюсь... Да и matka-то небось не пустит, а?

— Да нету у меня никого! — воскликнул Велик, но тут же спохватился: эх, нельзя так говорить, накличешь беду.— Отец на фронте, а мать и сестренка без вести пропали. Может, и живые, а сейчас никого нету.— Тут он вспомнил про Мишку с Манюшкой, про тетку Катерину и сник.

— Ну, ладно, подожди, вот я оклемаюсь... — сказал Ян Викторович.

— Возьмите лучше меня,— встрял Лявон.— Ну и что, что он стрелял из пулемета? Я все равно сильнее.

— У тебя тоже никого нет?

— Да есть,— досадливо сморщился Лявон.— Да мало ли... Что я, спрашивать у них буду? Сам с умом.

— Оно и видно, — партизан засмеялся. — Вопрос пока на повестке дня не стоит. Поглядим, побачим, сказал слепой... Ну, добре, мальцы, идите побегайте, я отдохну. Что-то заняли мои раны.

2

Создание «бригады» прошло быстро. Новоявленные вояки промаршировали по улице, затем, разделившись, затеяли битву в снежки. В разгар боя прибежала Клэня. Вытащив Велика из свалки, она сообщила, что его зовет тетка Катерина.

— Ладно, скажи, что скоро приду. — Велик напряженно следил за сражением. Его войско отступало, надо было вести его в контратаку.

Но Клэня не уходила. Круглая конопатая мордашка ее сморщилась.

— Пойдем зараз. Там тетка трошки... ну... помирает. Матка сказала, чтоб я тебя примчала в один момент. Одна нога тут, другая там.

Велик задохнулся. Тетка Катерина была плоха, но ему как-то не приходило в голову, что она может умереть. Наоборот, уверенный в том, что рано или поздно она поправится, он нетерпеливо ждал ее выздоровления: тяжело было одному тащить семейный воз.

Велик, а вдогонку за ним Клэня, побежал домой. За ними увязался было Лявон, но, узнав, в чем дело, махнул рукой и отстал.

Да, Катерина отходила. Глядя в потолок еще не умершими глазами, она привычно бормотала угасающим шепотом:

— Сердце мое сматется, остави мя сила моя, и той несть со мною...

Она уже все забыла, кроме одного — остаются дети. Только это еще и держало ее в жизни. Увидев Велика, Катерина схватила его руку, заклиная:

— Не брось... не брось... Видно, она забыла уже другие нужные слова и боялась, что Велик не поймет, о чем она просит. И смотрела ему прямо в глаза таким умоляющим взглядом, что Велику стало страшно.

— Я понял, понял, — поспешил он заверить ее, часто кивая.

— Господь воздаст, — прошептала Катерина, хотела, наверно, перекрестить его, но рука бессильно упала, едва приподнявшись. Глаза потухли.

Велик спрыгнул с помоста и прислонился к нему спиной, не зная, что делать. За столом Светлана, Яня и Манюшка рассматривали какую-то затрепанную книжку с картинками и тихо переговаривались. Велика поразило Манюшкино спокойно-сосредоточенное лицо. Казалось, ее ничего больше, кроме картинок, не интересовало. Неужели она не понимает, что произошло? Или не жалко мать? Ведь Манюшке-то уже восемь лет.

Она вообще часто удивляла его и даже раздражала. Когда, например, садилась есть Варварина семья, Велик уходил из хаты, Мишка тоже уходил или забивался на печь. Неудобно же торчать на глазах, как будто выпрашивая подачку. А Манюшка торчала и шарила своими быстрыми глазами по столу, и провожала взглядом куски в чужие рты. Почти всегда ей что-нибудь перепадало. Она брала милостыню и жадно, не таясь, жевала.

Брат и сестра были очень разные. Наверно, думал Велик, Манюшка усвоила, что в этом неласковом и немилосердном мире надеяться не на кого и выжить трудно, а потому хватать и тащи в рот все, что удастся схватить. Она вот и на вид поздоровее своих подружек, хотя харч ее скуднее. А почему?

У всех троих нет обуви, и Светлана с Яней почти не бывают на свежем воздухе — так, раза два-три в день выбегут по надобности в материнных или сестринных лаптях. Манюшка же гоняет по снегу босиком и так уже закалилась, что выдерживает минут по пятнадцать, а когда сядет на колоду, спрятав ноги под зипун, то может просидеть и полчаса и час, смотря по погоде.

Мишка совсем другой. Вон он сидит у окна — слезы текут по щекам, и Мишка пригибает голову к груди, ему совестно, что видят его плачущим. Встретившись взглядом с Великом, он пытается унять дрожь в губах, лицо его жалко кривится, глаза становятся виноватыми, словно он хочет сказать: «Ты извини, я б и рад не плакать, да вот — плачется...»

Пришла Варвара, поглядела на Велика, на Мишку, подошла к помосту, приоткрыла занавеску, прислушалась, вздохнула и выругалась неизвестно на кого:

— А, каб их Пярун спалив, нягодников выклятых!

НОЧНОЙ ГОСТЬ

1

Ночью Велика разбудили голоса — громкий сварливый Варварин и тихий строгий мужской.

— Ты меня не агитируй, я давно сагитированная. У меня мужик в финскую войну згинув. Так за что ж он сложил свою голову — чтоб его женку свои крывели? Ведь это ж только подумать — партизан грабит красноармейскую вдову! А, каб вас черти грабили на том свете!

— Ты, тетка, говори, але не заговаривайся. За такие оскорбительные для народных мстителей слова, знаешь, что я могу с тобой сделать? Выведу вон за порог и хлопну.

Велик свесил голову с печи. У окна над раскрытым сундуком склонился невысокий плечистый мужчина в хрустком крестьянском полушубке, новеньких чesанках с галошами, добротной бараньей шапке с кожаным верхом. На склоненной спине его тускло поблескивал вороненый немецкий автомат. На полу валялась немудреная Варварина постель, сброшенная с сундука. На лавке белели какие-то тряпки. Варвара, босая, в одной нижней рубашке, сидела на краю помоста, скрестив на груди руки и зябко ежась.

— Да хлопай, каб тебя черти хлопали! — с надрывом говорила она. — А заодно и детей — без матки все одно сдохнут!

— Интересно, за кого ты нас принимаешь, тетка?

— Вот ты пришел ночью и меня грабишь, так за кого я могу тебя принимать? За ангела, что ли?

— Запомни, темная твоя голова, — высокий голос его слегка осел от злости, в нем появилась сиповатость, — запомни, партизаны никого не грабят. И я не граблю.

Варвара возмущенно всплеснула руками.

— А, каб тебя Пярун спалил! Ён не грабит! А это як называется?

— Да пойми ты, дура: нас ведь казенным не снабжают. А одеться-обуться надо?.. Мы вас от фашистов защищаем, а тебе баракла жалко, чтоб партизану тепло было. Э-эх, серость несознательная!

— Мы для партизан ничего не жалеем, але приди ж ты, як человек, и попроси, а ты меня ружьем страшишь. И скажи ты мне, зачем тебе комбинация

кружевная и дязвоче платьице ситцевое? Нявно на портянки?

Мужчина молчал. Еще одна тряпка легла в кучу отложенного барахла. Велик узнал — Тоньки-покойницы кофтенка.

— Ратуйте! — вдруг закричала Варвара и кинулась к сундуку. — Не дам! Да вот хоть ты...

Резко простучала автоматная очередь, и у самых Варвариных голых ног брызнули дробные щепки.

На помосте и на печи закричали девчонки и Мишка. Только Велик и Лявон молчали. Велика всего трясло, он вцепился руками и зубами в подушку. Но пришла суровая, как приказ, мысль, что хочешь не хочешь, а надо стать рядом с Варварой. Удержаться, чтоб не кинулась с отчаяния головой в беду. А может, и оборонить. Он полез с печи. Но ночной гость, испуганный, видно, детским криком, быстро схватил с лавки отложенные тряпки и, выставив перед собой автомат, выпятился за дверь. Через минуту послышался конский топот.

Велик выскочил на порог и долго, пока не застучал зубами от холода, смотрел вслед быстро удалявшемуся по дороге на Чарнецы всаднику...

Варвара ничком лежала на сундуке и, тоненько подвывая, причитала:

— Да это ж смертная кривда — свой пришел и ограбил хуже лютого врага. И-и-и! Ды нявно я сама не дала б ему на портянки ту такую одежду, каб попросил? И-и-и! Да ничего ж не жалко для вас, для заступников наших...

И было столько горькой тоски в этом плаче, столько невыносимо жгучего отчаяния, что Велику казалось: там не слезы каплют на крышку сундука, а кровью исходит душа Варвары.

2

Едва рассвело, Варвара подняла всех на ноги.

— Вставайте, детки, вставайте... Нявно ён думает, бандит, что Варка стерпит кривду? Не-ет... Собирайтесь, детки. Пойдем правду шукать до самого большого начальника. Скажет, что это так и положено — красноармейских детишек грабить, — тогда няхай. — После бессонной ночи лицо ее осунулось, сухие глаза горели злой решимостью. Надевая полушубок, повязывая шаль, она продолжала: — А коли не положено, тогда я скажу: «Нияких кар этому грабежнику не желаю, а няхай его повезут домой, коли можно, и няхай ён своим батькам, и женке, и деткам поведает, як грабил красноармейскую семью».

Дома осталась одна Каролина, все остальные, окружив Варвару, тронулись в путь. Велику хозяйка сказала, что его и Мишку с Манюшкой она не неволит, но лучше, если б и они пошли — внушительнее будет. Он, конечно, отказывается от такого похода на мог — и не только из-за любопытства. Его мучило то же, что и Варвару: неужели партизанам разрешено... самоснабжаться? Вроде бы глупый вопрос, но ведь же приехал тот...

Что касается Мишки и Манюшки, то их он и спрашивать не стал: требовалось, чтобы шли, и пойдут, как же не помочь Варваре?

Чарнецы от Комаров находились километрах в четырех. Узкая стезжка взбегала с пригорка на пригорок, в поиме Усвейки петляла меж кустов.

Идти по тропинке можно было только гуськом, и все семейство растянулось на добрые полсотни метров. Зрелище, если посмотреть со стороны, действительно представлялось внушительным: мал мала меньше, закутанные в латаное тряпье, обутые в ре-

зиновые чуни, сапожные опорки, веревочные лапти. Манюшка шла в Каролининых опорках и теряла то один, то другой. Самая маленькая, Яня, держалась за материн полушубок и всё время ныла:

— Матулька, у меня ножки ломаются. Матулька, возьми за ручку.

На ручки она уже не просилась: разъяренная «матулька» не обращала на ее нытье ни малейшего внимания, лишь изредка сердито бормотала:

— А, каб тебя раки зъели!

Шествие замыкал Велик. Шагавший перед ним Лявон безразлично насвистывал, внезапно останавливался, чтобы испугать Велика, бросал снежками в идущих впереди, отпуская насмешки в адрес Варвары и остальных, в общем, демонстрировал свое недовольство материной затеей. Еще в хате, когда Варвара стала подгонять всех, чтобы быстрее собирались, Лявон попытался отговорить ее от этого похода.

— Что выдумала — жаловаться на партизан! — кричал он с печки. — Подумаешь — тряпки ее тронули! Партизаны бьются с фашистами, жизни не жалуют, а она для них барахла пожалела! Да я б на его месте таких оплеух навешал...

Варвара тигрицей метнулась на печь, откуда послышались удары и плачуще-злой голос Лявона:

— Ну, чего бьешься? Я просто так сказал, а она сразу кулаки распустила!

Мать сошвырнула его с печки. Вслед ему полетели лапти и онучи.

— Быстро обувайся, лайдак, а не то забью, як цыпленка, и скажу, так и было! Каб тебя черти били!

Идти со всеми в Чарнецы она его заставила, но переубедить кулаком, конечно, не переубедила. И вот сейчас он всячески показывал, что идет только по принуждению, и потешался над матерью:

— Ее там ждут, ха! Хорошо, если просто в шею вытолкают, а как возьмут да шлепнут?

При подходе к Чарнецам их задержал часовой. Оглядев всех, он усмехнулся в медные усы.

— Подразделение на марше. Откуда и куда следуете?

— К командиру! — отрезала Варвара, не приняв шутливого тона. — К самому главному!

— По каким делам?

— А вот встренусь с ним, ему и расскажу, по яким.

— Ну, ну, так не положено с часовым разговаривать, — ворчливо, однако без зла сказал он. — Я обязан знать, кто появился в расположении.

— Женщина из Комаров появилась, — все так же неуступчиво ответила Варвара. — Простая женщина, невооруженная. С кучей сирот. И с кривдою в сердце.

Часовой еще раз, уже серьезно и чуть печально, оглядел всю «кучу» и, вздохнув, показал в сторону видневшейся вдали церкви.

— Вон там штаб. Напротив церкви такое большое здание под шифером...

— Знаю, — прервала его Варвара. — Там наш сельсовет заседал.

3

Перед комиссаром отряда Варвара потишела: когда она начала разговор с крика, комиссар мягко остановил ее:

— Одну минутку. Давайте мы сначала познакомимся, сядем, как у добрых людей заведено, а потом и поговорим.

Был он молод — лет двадцати пяти, но степенен, строг, немногословен и обходителен.

В комнате было голо и сурово. Стол, несколько табуреток, вырезанный из газеты портрет Ленина. Варвару комиссар усадил к столу, сам сел напротив, а детям, сбившимся у порога, велел:

— Берите табуретки, рассаживайтесь.— Когда уселись, представился: — Меня зовут Федор Данилович Витеорец. Я здесь неподалеку учительствовал — в Монастырщине. А вас как?

На узком лице благожелательно, но холодно поблескивали синие глаза. Тихий твердый голос и располагал к нему собеседника и держал поодаль. Его манеры, тонкие черты лица, «городские» зализанные и вежливая речь произвели на Варвару успокаивающее действие. И в то же время всколыхнулась с новой силой в душе обида: вот ведь справедливый человек, сразу видно, а как же так получается, что люди из его отряда грабят?

— Сеянка Варвара,— ответила она хотя и без прежней агрессивности, но довольно сухо и неприветливо.— Попросту Варка Пилипиха. И хватит церемоний! Я к вам пришла не чаи гонять, а жаловаться. И ругаться.

Комиссар едва заметно усмехнулся.

— Хорошо, жалуйтесь и ругайтесь. Но отчество свое все же скажите. Я не привык, знаете, незнакомаго человека...

— Макаровна,— хмуро оборвала Варвара.— А теперь слушайте мое дело. Вот вы мне дайте ответ, як комиссар: дозволяется вашим партизанам ночью делать трус у населения чи не дозволяется?

— Что это значит — «трус»?

— Коли дозволяется, то у вас и название есть свое, я его не знаю. А по-простому, в народе, от веку это называлось грабеж.

— Вы расскажите, что случилось.

Хотя Варвара ударилась в мельчайшие подробности, не относящиеся, по мнению Велика, к делу, комиссар ее ни разу не перебил. Он слушал с большим вниманием, но по мере ее рассказа синие глаза его все больше леденели, менялось выражение лица. И Варвара, взглянув несколько раз в это изменившееся, отчужденное лицо, сбавила тон.

— Я ведь что? — стала она объяснять.— Коли дозволяется, что ж... Хай будет для моей души обида — никому дела няма. Я темная деревенская женщина, что с меня возьмешь?

— Вы правильно это назвали, Варвара Макаровна,— сказал комиссар каким-то другим, много похолодевшим голосом.— Так оно и у нас называется — грабеж. Вы могли бы узнать этого человека?

— Да с закрытыми вочами, каб его Пярун спалил! Ён як стрелял мне под ноги, я глядела прямо ему в лицо, и оно у меня огнем выжглось в голове.

— Хорошо. Посидите здесь.

Сидеть им пришлось довольно долго. Велик, наслушавшийся всяких историй, да и сам побывавший в переделках, почувствовал беспокойство: во время войны заранее никогда нельзя предвидеть, как обернется дело — сейчас ты вроде прав, а через пять минут, глядишь, дело повернулось не к добру. Остальным тоже было не по себе.

— Вот, завела нас,— зло сказал Лявон.— Тряпок ей жалко.

— Ай, да молчи ты, каб тебя... — огрызнулась Варвара, и в голосе ее пробила неуверенность.

— Ничего, наше дело правое.

Хотя слова Велика, сказанные не столько ей, сколько себе в утешение, прозвучали довольно неуверенно, Варвара взглянула на Велика с признательностью.

Наконец вошел партизан и велел следовать за ним.

— Дети пусть остаются,— произнес он без всякого выражения.

— Нет! — вскрикнула она и бросилась к Лявону. Обхватила его, вырывавшегося, за плечи и прижала к себе.— Без деток не ступлю ани шагу! Чему быть, так всем вместе.

Партизан удивленно пожал плечами.

4

На площади перед церковью был выстроен здесь отряд. Шагах в десяти перед шеренгами стояли трое, среди них комиссар.

— Пойдемте, Варвара Макаровна,— произнес он, когда Варварино «подразделение» приблизилось к ним.

Он провел ее к правому флангу, затем они медленно двинулись вдоль строя — она впереди, он сзади. Варвара шла, не останавливаясь, то и дело вскидывая взгляд и снова его потупляя. Напряженные лица партизан, их тяжелые глаза, в которых перемешались изумление, стыд и укор, действовали на нее угнетающе и, казалось, давили к земле. Вскоре она остановилась и повернулась к комиссару.

— Ай, да каб их раки зъели, эти тряпки! Не могу я, товарищ начальник!

— Нет уж, Варвара Макаровна,— ответил он.— Это не личное ваше дело. Прошу вперед.

Они двинулись дальше, и всего через каких-нибудь пять шагов Варвара, вскинув взгляд, встретила глазами со своим обидчиком. Лицо ночного гостя было блее его новенького хрусткого полущубка, плотно сжатые губы тоже побелели, и даже глаза, показалось ей, тоже подернулись белой пеленой. И в них ничего не осталось, кроме ужаса, как будто он увидел собственную смерть.

Он был молодой, туголицый, без единой морщинки. Ночью, в неверном свете лучины, выглядел старше.

Варвара видела, что сейчас ему хочется убежать, провалиться сквозь землю, раствориться в морозном воздухе, ей стало жалко его, тварину, и она хотела сделать вид, что не признала, и пройти мимо, но вдруг почувствовала, что не может этого сделать — непонятная сила властно направляла его действия.

— Ён,— тихо, вроде бы даже виновато сказала она комиссару и, сгорбившись, зашагала прочь от строя.

— Да нет... — Обидчик не смог вытолкнуть из себя больше ни слова, только хлопотую разевал рот.

Когда комиссар командовал ему выйти из строя, он не понял, и пришлось повторить приказание.

По другой команде из строя вышли и направились в деревню двое партизан.

Наступило ожидание. Безмолвно стояла небольшая группа командиров, поодаль молчаливо жалось к Варваре ее «подразделение». Только из партизанских рядов слышались негромкие разговоры. Над головами плавали перистые облака табачного дыма.

Наконец появились те двое, подошли к командирам. Один из них, высокий, в длинной шинели и кубанке с красным верхом, подал комиссару какой-то сверток. Федор Данилович подозвал Варвару и стал показывать ей вещи, что были в свертке.

— Ваши?

— Наши,— все тем же тихим и виноватым голосом ответила Варвара.

— Хорошо. Мы вам их вернем.

Потом он показывал эти вещи туголицему, тот что-то отвечал, и один из стоявших рядом с комиссаром партизан записывал его ответы.

Посоветовавшись в стороне, подошли к командиру отряда. Выслушав комиссара, тот выступил вперед. Он выделялся среди остальных военным комсоставским обмундированием — полушубок, стального цвета меховая ушанка, хромовые сапоги. По его команде отряд быстро перестроился, образовал прямоугольник без одной стороны.

Комиссар вытащил из свертка ситцевое, белое в синих цветочках платье и поднял его над головой:

— Вы видите эту детскую одежку? Ее носила маленькая дочь лейтенанта Красной Армии, погибшего в бою с белофиннами. И вот ночью в хату этой девочки пришел мародер и ограбил ее, отнял веро это платье. Такие, как этот, подрывают у народа веру в партизан, отравляют нас от народной почвы, вредят нашему делу больше, чем вражеские солдаты, стреляющие в нас... Военно-полевой суд партизанского отряда имени Янки Купалы приговорил Сокольского Филиппа Максимовича за мародерство к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор привнес в исполнение немедленно.

— Нет! — дико закричал Сокольский, затряс головой и, почему-то опустившись на четвереньки, пополз к комиссару. — Первый раз! Я не знал! Матушка моя, что ж это они со мной хотят сделать! Да простите же!

Выбежавшие из строя партизаны подхватили его под руки и повели, рыдающего, запинаящегося на каждом шагу, к церковной стене.

Тут на колени перед комиссаром повалилась Варвара.

— Не треба, золотой мой! Да няхай оно схватится огнем, это барахло! Нявно можно за тряпку живую душу губить?

— Встаньте, Варвара Макаровна! — сурово и осуждающе приказал комиссар. — Не за тряпки его карем — за нарушение справедливости. Он предал наше знамя. У народных мстителей должны быть чистые руки и чистая совесть. А он, наверно, адресом ошибся — ему не к нам надо было идти.

5

Снова шли они гуськом по той же стезе — молчаливые, потрясенные. Велик замыкал колонну. Смутно и тягостно было у него на душе.

Да, комиссар верно сказал: за нарушение справедливости. Но и Варвара права — нельзя из-за тряпки губить человеческую жизнь. Это неравный обмен. В таком случае победила ли справедливость? Черт возьми! Не за тряпки же! Комиссар ясно сказал — за предательство! Он предал свое знамя... Кажется, что такое знамя? Кусок материи. Но в нем — вся та высокая правда, о которой говорил комиссар. Ведь если бы кто плюнул на знамя — его расстреляли бы? Заслуживает он за это расстрела? Ясно, заслуживает — ведь он не на кусок материи плюнул.

Покарали правильно, чего там! Но почему жалко этого молодого плечистого мужика? Ведь бандит получил по заслугам... И почему он, Велик, чувствует себя как будто даже виноватым? За что? Перед кем? Этот истошный вопль безнадёжности, как звериный рев... И нечеловеческая поза, когда он на четвереньках полз к комиссару... И расстрел, увиденный так близко... Все это огнем полоснуло по сердцу, скрутило, искорежило... Больно, что человек так низко упал, и как жалко его, живого, когда у него отнимают жизнь... Неужели, думал Велик, нельзя было простить? Ведь Варвара, главная

его обвинительница, даже просила за него. Но, начав думать о прощении этого Сокольского, перебирая все известные ему обстоятельства, Велик неожиданно для себя сделал потрясающее открытие: есть, оказывается, какая-то страшная машина неизбежности, которая состоит не из железных частей, гаек и болтов, а из того, что сделал человек и что обязательно за этим последует. Когда Сокольский задумал свой набег на Варварин сундук, он уже тогда запустил эту машину. Когда ночью оделся и вышел, чтобы сесть на коня, он отдал ей себя. И сразу завертели ее колесики и маховики, втягивая его все глубже. Варвара не могла не пойти к комиссару, комиссар не мог — даже по просьбе Варвары и даже если бы сам хотел этого — помиловать Сокольского. Выходит, этот человек, еще когда задумал преступление, уже сам подписал себе смертный приговор...

Варвара всю дорогу всплскивала руками, что-то сокрушенно бормотала, а когда пришли домой, рухнула ничком на сундук и запричитала:

— Ты что ж я наробила, безмозглая, погубила человека за несчастное барахло, и то ношеное! Дык же ж теперь жить на белом свете?

Вот и она чувствует вину, думал Велик, тюкая во дворе топором по толстой ольшине, чтобы нарубить дров к завтрашнему дню. И снова закружилось в голове и в сердце: да в чем ее вина-то, если расстреляли мародера правильно? Но, значит, она есть, если ее чувствуют... Он рассуждал и так и этак, но успокоиться не мог.

ДОЛГИ НАШИ

1

Снова в Комары пришли на постой партизаны. На второй день после их прибытия Варвару вызвали в штаб. Вернулась она оттуда скорбная и как будто пришибленная. Остановившись у порога, оглядела внимательно хату, словно попала сюда впервые, и произнесла печально-торжественным голосом:

— Ну вот, детки, подошла и наша очередь сидеть без молока. Забирают нашу Зорку.

Каролина, готовившая корове пойло, заплакала; захлопали и остальные девочки.

— А, досыть вам уже! — досадливо воскликнула Варвара. — Чего распустили нюни? Люди давно уже без коров перебиваются. Наша одна на всю деревню осталась. Сказать по чести, мне даже соромно перед другими, что одни мы едим молоко. Ладно, что уж... Кормить же партизан надо... Ты, дочка, давай, обиходи ее, напои, подои в последний раз и отведи к Макаровой хате — там у них начхоз живет.

— Ой, а ты сама что? — испуганно вскрикнула Каролина.

— А я, дочка, не могу. Боюсь, плакать буду. А плакать не трэба.

— Я тоже заплачу, мама.

— Ты помоложе, у тебя нервы крепче, собери их в кулак и не плачь.

— Ну, развели сырости! — вмешался Лявон, чинивший у окна свои лапти. — Нервы у них, подумай! Давайте скорей доите, я сам отведу.

Варвара пристально посмотрела на сына.

— Вот лиходей, как тебя в лужине потопиди! И в кого только такой бессердечный?.. Ну, веда, коли не жалко. А ты все-таки тоже иди с ним, — поверну-



лась она к Каролине.— Там должны бумагу выправить и... это... внутренности хозяевам отдать... и голову.— Варвара опустила глаза и горестно сказала:— Что поделаешь, дочушка, время лихое настало, приходится каждую кроху подбирать... Возьми ведро и мешок.

— Ты что? — крикнул Лявон.— Мы двое не донесем! Хай вон еще Велька пойдет.

Лявон-то брякнул, не подумав, его беспокоило только одно — чтоб поменьше тащить, а они трое — Варвара, Каролина и Велик — понимали: если пойдет Велик, то и ему надо выделить долю. Вот почему он молчал, в помощники не набивался и старался не смотреть на Варвару. Во взгляде Каролины, воспринимая устремленном на мать, читалось: «Как же, мама, мы будем есть, а они нам в рот глядеть?» Варвара прочитала этот взгляд и, поняв, что, конечно же, так и так придется поделиться с беженцами, махнула рукой, не сумев все же скрыть досаду:

— А, каб вас усах раки зъели! Иди, Велик, с ними.

2

Вернувшись, дети застали в хате постояльцев — двоих мужчин в невообразимо ветхом и равном красноармейском обмундировании, один в разбитых веревочных лаптях, другой в чунях из автомобильной покрышки. Они сидели за столом, чистили и ели горячую картошку, парившую перед ними в чугунке. Варвара пристроилась неподалеку на лавке и, подперев кулаком подбородок, смотрела с любопытством и некоторым недоумением, но с расспросами пока не лезла: уж очень жадно глотали они обжигающие лупёники.

— Что так глядишь, хозяйка? — спросил пожилой, с круглым морщинистым лицом и воспаленными, слезящимися глазами.— Непонятно, что за люди?

— А и правда, что непонятно, — охотно подхватила Варвара.— Партизаны — так не: таких обтрепанных среди них николи не видела, да и без оружия. Беженцы, так опять же не: по одежке вы вайскавцы.

— Войсковцы, войсковцы, хозяйка, — подтвердил пожилой, налегая на «о».— Только временно выбывшие из строя.

— Из плена бежали, — пояснил второй, совсем еще молодой, заросший не щетиной, а каким-то несерьезным младенческим пухом пыльного цвета.

— Говорят, вельми лютует над пленными?

— Лютует, сволочь, — сказал пожилой.— Да он не только над пленными. Мы, пока добрались до партизанской зоны, нагляделись...

— Как же вам-то удалось вырваться?

— Да чудом, как же! Мы оборонительную позицию ему строили. Ну, и послали нас, группу девять человек, за бревнами. Только отъехали от станции, где работали, налетели наши. Бомбили они укрепления, а нам досталась случайная бомба. Все полегли — и охрана и пленные. А меня отшвырнуло не знаю уж на сколько — далеко, одним словом, — ударило о землю, но ничего, без повреждений. Только в голове потом шумело и с неделю глухой был. Постепенно прошло.

— Так вы не вместе? — Варвара посмотрела на молодого.

— Нет, с Васей мы в лесу встретились, — ответил пожилой.

Варвара выждала некоторое время — не расскажет ли сам, без просьбы, но Вася молчал, и она спросила его:

— Ну, а ты как?

— Прошу прощения, такое же чудо.— Голос у него был тихий, как у больного, и чем-то знакомый Велику. Высунув голову из-за занавески, он всматривался в его лицо, но не мог признать.— Вели по лесной дороге, я выбрал момент, прыгнул в кусты и бросился бежать. За мной гнались, стреляли, но мне повезло. А я, признаться, не рассчитывал на удачу. Шел ва-банк, терпеть уже не было сил... Извините, пожалуйста, не найдется ли у вас чем побриться?

Варвара вздохнула: Вася явно не хотел вдаваться в подробности. Она достала из сундука опасную бритву, помазок, стаканчик и мыльницу. Пожилой, взглянув, воскликнул:

— Ого, даже и обмылочек сберегла! По нынешним временам роскошь. Хозяин вернется и сразу — пожалуйста бриться. А?

— Не вернется.— Варвара махнула рукой без всякого выражения.

Вася спросил:

— Простите, пожалуйста, ваш муж погиб?

И опять показалось Велику: знаком ему этот слабый, как у больного, голос. Он напряг память, начал перебирать события, встречи, что были в его жизни, и не слышал, что ответила Варвара и о чем они говорили еще.

Так ничего и не вспомнив, Велик оделся и вышел на улицу. Большими сочными хлопьями валил снег, в двух шагах ничего нельзя было рассмотреть.

Великом овладела безысходность: казалось, снег хоронил и память о прошедшем и последние надежды.

Промерзнув до костей в своем суконном пиджакишке, перешитом из Катеринина зипуна, стряхнув с непокрытой головы и плеч снежные пуховики, Велик вернулся в хату.

Там в его отсутствие появился еще один гость. В табачного цвета румынских брюках, ботинках с крагами, он сидел за столом перед беглыми пленными и, время от времени трогая рукой свою густую черную шевелюру, говорил высоким красивым голосом:

— Это, конечно, замечательно, что вы сбежали от фашиста, великолепно, что не нырнули в кусты, отсидеться, а решили выполнить свой долг, но посмотрите, на кого вы похожи! Чучела огородные! Воевать-то надо было сразу, как вырвались, и к нам прийти уже с автоматом, и в крепких сапогах, и в приличном мундире. Вы надеялись, что партизаны вас и вооружат и обуют-оденут? А у нас ведь ни швейных фабрик, ни военных заводов нет. Мы у фашистов снабжаемся в основном.

Пожилой сидел, опустив глаза, а Вася смотрел говорившему в лицо и кивал после каждого слова.

— Прошу прощения, товарищ комиссар. Вы все очень верно говорите, я сам об этом думал. Но, если честно... надевать фашистские тряпки противно. Поймите меня правильно, пожалуйста...

Теперь, выбритого, Велик узнал его. Белобрысы, щуплый, маленький человечек с тоскующими глазами. Тихий, слабый, как у больного, голос: «Прошу прощения, господин старший лейтенант... Пять суток ареста, пожалуйста. И запомните: да, мы теперь армия, Русская освободительная народная армия... А теперь к вам, господин лейтенант. Будьте добры, возьмите два взвода, займите деревню Щеглы и сожгите ее, пожалуйста».

«А если у него пистолет?» — мелькнула предостерегающая мысль, но как бы в отдалении и как бы не относящаяся к делу, — мелькнула и погасла, не оставив после себя тревоги.

Велик подошел к столу и, указывая на белобры-

сого Васю, сказал напряженно зазвеневшим голосом:

— Товарищ комиссар, это «народник»¹, офицер из бригады Каминского.

Он видел, как вздрогнули все трое. Комиссар схватился за кобур на бедре, белобрысый — за ремень на левой стороне живота, где прежде, по немецкому обычаю, носил пистолет.

3

Амели дома не оказалось. Но Велик не огорчился — его не столько интересовал приятель, сколько Ян Викторович. Когда он наконец выздоровеет? Может, возьмет все-таки с собой? Если хорошо попросить...

Но время как будто остановилось. А с ним и жизнь. Ян Викторович, казалось, никогда не поправится. На улице по-прежнему лютвала зима. Трещали морозы, падали метели, хмурое небо не пропускало ни одного солнечного проблеска, стылый ветер стучал обледенелыми ветками и гудел в трубах. И никакого намека на перемены: фронт погромывал где-то далеко-далеко, а фашисты были рядом. Шли бои на окраинах партизанской зоны.

Великом часто овладевала тоска. Он выбивался из сил, стараясь добыть скибку хлеба, десяток картошин, чтобы хоть раз в день ребятишки, да и он сам могли похлебать горячей живой жижи, хоть как-нибудь жить — пусть подголаживая, пусть с постоянной тошнотой и сосанием в животе. Милостыню подавали все скуднее — каждая горсть жита, каждая картошина были на счету. По этой же причине и нанимали на работу не часто. Да и соперников хватало: и в Комарах и в окрестных деревнях жило по несколько семей беженцев — помимо тех, что осенью прибыли из Шуреи, понаехали еще и из партизанских деревень, спасаясь от карателей. Были, правда, в Телятичах две хаты, где Велика всегда ждала верная добыча. Но к Янине он заходить стыдился (что ж объедать сирот, сами, небось, уже положили зубы на полку), а к женщине, что звала его в сыновья, боялся: ни к чему травить душу ей и себе.

Дела сложились — хоть в прорубь головой. И главное, впереди никакого просвета. Как ни крепился Велик, как ни держался, отчаяние захлестывало его все чаще.

Один выход был — уйти с Яном Викторовичем. И хотя тот ничего ему не обещал, Велик часто навещал в Амелину хату — узнать, как дела у партизана.

Ян Викторович был один. Он подбивал ботинки. Прокалывал шилом резиновую подметку, вставлял в дырочку деревянный гвоздик и одним ударом молотка с пристуком ловко загонял его по самый срез. Велик уставился на Яна Викторовича засиявшими глазами: вот это новость — раненый встал, мало того — работает!

— А, герой! — весело воскликнул Ян Викторович. — Слыхал, слыхал, как ты шпиона раскрыл.

— Я его не раскрыл — просто узнал. Неизвестно даже, поверили мне или нет. Расспросили, где, когда и как его видел, — на этом и кончилось.

— Никак нет, не кончилось. Проверили. Прав ты оказался.

— Правда? — радостно встрепенулся Велик. — А как же проверили?

— Ну, это дело хоть и не простое, но вполне возможное. У нас же всюду свои люди.

— Ян Викторович, а вы откуда знаете? — как можно мягче, чтобы не обидеть партизана, спросил Велик.

Добродушное круглое лицо Яна Викторовича, щедро засеянное веснушками, светилось хитровой и одновременно торжествующей улыбкой.

— Э, малец. Я два дня уже как на ногах. Успел установить связь. Да вот подкуюсь — и в строй. Сегодня вечером в поход.

— Как? Прямо сегодня?

У Велика заколотилось сердце. Вот он, желанный просвет в его жизни, последний, может быть, шанс.

— Ян Викторович, Ян Викторович... — заторопился он. — Вы обещали... Ну, не то чтобы обещали, а сказали: «Вот поправлюсь, тогда поглядим». Возьмите меня с собой, а? Я, что хотите... Ну, честное слово...

— Что ж... Парень ты боевой, обстрелянный, свой. Годишься. Давай вечером приходи, вместе к командире толкнемся.

— Лучше к комиссару. Он меня должен помнить.

— А комиссара, брат, нет. Ранило его. Отправили на Большую землю. Но и без него, думаю, тебя не завернут — как-никак доказал.

До вечера было еще далеко. Велик не знал, как убить время. Самое лучшее было — идти домой, заняться дровами или еще чем, а то просто залечь на печь и проспать до срока. Это и разумно: раз партизаны выступают вечером, значит, ночь будут в походе, отдыхать не придется.

Но домой возвращаться не хотелось. И не просто не хотелось, а сама мысль об этом была ненавистна. Велик бродил по деревне, как неприкаянный, заходил к ребятам, но и у них ему не сиделось. Как будто кто завел в нем пружину, и она, раскручиваясь, толкала его вперед и вперед.

Проходя в очередной раз мимо Варвариной хаты, он увидел своих ребятишек. Манюшка сидела на чурбаке, Мишка толкся вокруг березы, пошвыривая иногда снежками в ее верхушку. Велик резко остановился и хотел было повернуть назад, но его заметили — Мишка бежал к нему, Манюшка, вытянув худую шею, глядела на него во все свои косо срезанные, словно нерусские глаза. Что-то неприятное шевельнулось у него в душе.

— Чего вы тут? — спросил он хмуро.

Мишка, сразу уловив его неприязнь, покраснел и опустил голову.

— Едят, — сказал он, оправдываясь.

Собственно говоря, оправдываться ему было не в чем: Велик сам строго-настрого приказал им уходить из хаты, когда Варварино семейство садится за стол, чтоб не смотрели людям в рот и не выжидали Варвару отрывать от своих детей последние крохи. Да и просто так могли выйти на улицу — подышать свежим воздухом, никто ведь не запрещал. Но такой уж у Мишки характер: он за все оправдывается, за все чувствует себя виноватым, наверно, даже за то, что живет на белом свете.

И от этого обычного Мишкиного тона Велику стало стыдно. И он признался себе: ведь это ж ты потому не хотел идти домой, что боялся встретиться с Мишкой и Манюшкой. Хотел улизнуть от них воровски, не объяснившись и не попрощавшись. Бросить и трусливо сбежать.

Велик прислонился плечом к березе и сделал вид, что вглядывается во что-то там, на горизонте. Но он ничего не видел перед собой.

«Ладно, согласен: нечестно — ничего не сказать, бросить и уйти, — думал он. — Значит, надо сказать, вот и все».

Махнув рукой Мишке, он подошел к чурбаку, на

¹ Ироническая кличка власовцев в Белоруссии.

котором сидела девочка. Стараясь не отводить глаз, сказал фальшиво:

— Ну, вы тут оставайтесь, слушайте тетку Варвару, а я нынче уйду с партизанами.

У Манюшки в глазах появился испуг. Мишка носком лапты копал в снегу ямку. Дети молчали.

— Ну, так что? — охрипшим голосом спросил Велик. — Идти? Будете слушаться тетку?

Мишка поднял голову, светло заулыбался, радуясь Великовой удаче.

— Ага, иди. Это здорово, что тебя берут. Правда?

— Конечно, правда. Только вот... Получается, как будто я вас бросаю. А я ж воевать иду, верно?

— Ага. Иди, чего там. Я, если б взяли, вприпрыжку побежал.

— Да, а как же вы? — Велик безуспешно старался сделать озабоченный вид.

— А мы чего? Побираться будем. Я научусь лапты плести. Нам ведь и надо-то всего ничего. Мы с Манюшкой договорились, чтоб совсем отвыкнуть от хлеба. А ты уйдешь — мы договоримся и от картох отвыкнуть. Будем кору глодать, а летом щавель поидет, свинухи, котики, чеснок, борщ.

— Ты забыл, — сказала Манюшка брату, и в глазах ее появились беспокойные огоньки, — мы договорились, чтоб не совсем отвыкнуть от хлеба, а чтоб маленькую скибочку хоть через день можно было.

— А теперь лучше совсем, — с извиняющейся улыбочкой возразил Мишка.

— Да что вы, — поспешно перебил Велик, чтобы прекратить этот разговор: он видел — Манюшка собиралась спорить. — Я про вас не забуду. Как у немцев склад отобьем, так я сразу привезу вам продуктов. И хлеба и всего.

— Галетов привези, — сказала Манюшка, облизнувшись. — Галеты — самое вкусное на свете. Как Шурчик приносил, так до сих пор помню.

— Ладно, — кивнул Велик. — Ну-ка в хату, вон Каролина вышла, пообедали, значит. Там и у нас похлебка сварена.

Манюшка сразу подскочила и, словно подхваченная ураганом, понеслась к двери — только голые пятки засверкали.

4

Картофельная похлебка упрела до того, что превратилась в жидкий толкан красноватого цвета. Сверху кое-где виднелись жирные блистки — Варвара утром кинула в чугунок крошку нутряного сала. Манюшка и Мишка так упоенно орудовали ложками, что Велик горько усмехнулся: трудненько же им придется, когда начнут отвыкать от картошки! Он тоже был голоден, но не чувствовал этого и глотал через силу — нервное напряжение убило голод.

Сперва, когда дети отпустили его, он почувствовал облегчение. Отпустили же, чего еще! Но вскоре в душе опять стало стесненно и тревожно. А как они могли не отпустить? Разве они понимают до конца, что будет с ними, если он уйдет? Да и как он с ними говорил? «Мол, дело в общем-то решенное, так что вам остается только сказать «иди». Но вы не плачьте, я вам немецких харчей буду привозить». Ерунда какая! Что-то не видно, чтобы партизанские семьи в Комарах лакомились немецкими галетами.

«Ну ладно, пусть все это так. Но почему я должен быть к ним прикован? Я им кто? Отец, брат? Их брат и мать подобрали меня, пригрели. Верно. Так я ж уже расплатился. Сколько я у них жил?

Месяца два. А без Катерины мы уже больше трех месяцев...» Да не пропадут! Побираться действительно будут, Варвара когда по бульбине сунет в руку. Не может быть такого, чтоб среди людей, если у них есть хоть крошка хлеба, хоть картошный очисток, померли от голода дети...

Вот-вот, это очень удобно — кинуть на добрых людей, а сам — руки в брюки и пошел... «Я ж не на гулянку иду, а в партизаны, на войну! Меня, может, завтра убьют. Может, это последний случай попасть в партизаны...» А, не надо было показываться на глаза! Покопачивался бы где-нибудь до вечера, потихоньку ушел, и все...

Велик положил ложку и полез из-за стола. Мишка и Манюшка устали на него удивленно — в чашке ведь была еще похлебка — и со страхом. Избегая их взглядов, он быстро оделся и вышел.

Ян Викторович у окна чинил свой пиджак. Возле него стояла Варвара. В хате больше никого не было. На столе лежали новенькие шерстяные рукавицы черного цвета.

— Да что вы, Варвара Макаровна, — говорил Ян Викторович смущенно. — Как я могу взять? У вас это, может, последняя хорошая вещь. Обменяете на продукты.

— Ай, где сейчас обменяешь? У кого они, продукты?.. Вот видишь, Веля, какой народ пошел — ему даришь от чистого сердца, а ён вместо спасибо начинает глупости разные говорить. А, каб тебя раки зъели! — Обиженно поджав губы, она пошла к двери.

— Варвара Макаровна, дорогая, извините! — закричал вдогонку Ян Викторович. — Конечно же, спасибо! Просто преогромное! У меня руки-то голые!.. Во, видал? — Он кивнул на рукавицы. — Отдала... — Посидел, задумавшись, растроганно улыбаясь. Потом взглянул на Велика и, принимаясь за прерванную работу, подмигнул: — А ты что-то рано. Не терпится, а?

— Да не, — сказал Велик уныло. — Не могу я уйти. Двое на моей шее. Нельзя ж так — повесить на кого-то, а самому сбежать? — Он вопросительно посмотрел на Яна Викторовича.

Партизан отложил шитье, минуты две внимательно разглядывал Велика, о чем-то размышляя.

— А разве ж можно? У тебя, парень, выходит, есть свой окоп на этой войне. Сиди и держи оборону. До последнего, как и положено солдату.

5

Они хорошо поговорили с Яном Викторовичем. Велик вышел от него успокоенный и не просто смилившийся со своей судьбой, но принявший ее твердо, безоговорочно и с полным пониманием.

И впервые за весь сегодняшний день почувствовал он себя свободно и легко, и посмотрел вокруг открытыми и проникающими в суть глазами.

Что-то сдвинулось наконец в природе. Долго, тоскливо, безрадостно тянулась зима, казалось, она навеки примерзла к земле, и вдруг... Ничего как будто не произошло, только солнце взобралось чуть выше обычного и глянуло чуть приветливее, и снег, который, казалось бы, должен сверкать и искриться, словно помрачнел, стал плотным и липким — из такого хорошо снежки лепятся — и чуть приосел. Все сдвинулось лишь чуть-чуть, но случилось большое событие — весна подала свой голос. Она еще далеко, придет не скоро, но стало ясно, что она не умерла и рано или поздно наступит. Жизнь движется, и не все же она будет вот

такая голодная и безнадежная, как сейчас. Отдаленное предчувствие будущей радости затопило грудь, и Велик побежал по улице, напевая под нос и подпрыгивая.

И ОПЯТЬ ЕГО МУЧИТ СОВЕСТЬ

I

Едва подсохла земля, комаровцы с лопатами высыпали на огороды: надо было копать землю, сажать и сеять. Вышли все — от старого до малого. Было в деревне с десяток коней — престарелых и брошенных партизанами из-за болезни или ран. На них выехали в поле — пахать под жито и ячмень.

Варварина орава тоже копошилась на огороде. И Велик своих вывел, хотя хозяйка не неволила его и не просила. Но и не отговаривала: постоялец считала она, малец умный, самостоятельный, знает, что делает.

Дни становились все длиннее, и времени хватало на все: и поработать, и порыбалить, и сходить за съедобными травами, и заготовить дров для завтрашней протопки, и поиграть. Да и число обязанностей у Велика подсократилось: побираться он давно уже не ходил, работать тоже не приглашали. Варварина семья и Великова давно жили одним хозяйством — нечего было делить. Ранней весной собирали на полях «гопики» — прошлогоднюю перемерзшую картошку, пекли из нее блины и лепешки. Позднее пошли в пищу разные травы — щавель, чеснок, свинухи, борщ, котики, заячья капуста. Изредка баловались рыбкой — когда Велику или Лявону улыбалась удача. Впрочем, Лявону она улыбалась совсем редко: рыбалить по-настоящему у него не хватало терпения — если клев был плохой, Лявон моментально сматывал удочку...

— И как только вы еще держитесь на свете? — говорила иногда Варвара, глядя на детей, хрумкающих какую-нибудь зелень. — Мы взрослые, и то иной раз ноги не идут, а у вас откуль такие силы?

Дети были тощенькие, но в общем-то здоровые, шумливые и даже с кое-каким румянцем на щеках — солнышко, свежий воздух да зелень хранили от болезней и затухания.

Нарубив к завтрашнему дню дров и похлебав щавеля на рыбной юшке, Велик отправился собирать свою бригаду: давно не маршировали и не ходили на штурм фашистских гарнизонов.

Велик объявил весенние учения бригады.

Они развернулись у Колкого гушара — зарослей шиповника. Он уже набрал новые силы, был в шипах и листьях, усыпан зелеными ягодами.

Вот когда особенно пригодились уроки Яна Викторовича по военному делу. Ребятам нравилось выходить по вызову из строя, отдавать честь, четко докладывать. Нравилось ходить в разведку в деревню, в пойму Усвейки, на кладбище, развернувшись цепью, с криком «ура!» атаковать «врага».

Все время ставил палки в колеса Лявон. Он не мог простить Велику его возвышения: чужак, слабее Лявона, а вот оттеснил вожака на второе место и сам стал командовать им. Когда жил в деревне Ян Викторович, интересовавшийся ребячьей бригадой, Лявон выступать открыто против комбрига не решался, а сейчас бояться ему было некого. Едва Велик поотрядно построил бригаду, Лявон заявил:

— Я стану впереди.

— Становись на правый фланг, — сказал Велик. — Если построение в шеренгу, никто впереди не стоит. Не положено.

Черные глаза Лявона зажглись злым кошачьим пламенем, тонкие губы скривились, и показалось даже, будто на макушке стали дыбом его смоляные вихры (он давно уже, с тех пор, как побежали первые ручьи, не носил шапку — чтоб наконец уравняться с Великом, проходившим с непокрытой головой всю зиму).

— Ты! Без тебя знаю, что положено, что не положено. Где захочу, там и стану.

Велик пожал плечами. Ему не хотелось ни драки, ни ссоры — за что драться? Строптивый начштаба стал впереди шеренги, но после первой же команды — «Направо!» — понял нелепость своего положения и подошел к комбригу.

— Ты! Я тоже хочу командовать!

— Двоим не положено.

— Заладил: не положено, не положено! Тогда скажи: что делает начальник штаба? Впереди строя ему не положено, командовать не положено... Что же положено, а?

Велик и сам не знал. Если по названию, то начальник штаба командует штабом, но в их бригаде никакого штаба нет.

«Надо было спросить у Яна Викторовича», — с досадой подумал он.

Лявон подошел к строю и скомандовал:

— Третий отряд, направо! Шагом марш! — и увел третий отряд.

Опять комбриг промолчал. Лявон явно нарывался на скандал, на драку, а Велик стремился этого избежать: ребята подумают, что свою власть отстаивает, а она ему не нужна, пусть сами выбирают между ним и Лявоном.

А власть между тем уплывала из рук. Лявон нахально забрал у него и второй отряд. Его командир Стась воспротивился было, сказав, что выполняет только приказы комбрига, но Лявон, выпятив грудь и размахивая руками, ринулся на него. Стась возпросительно посмотрел на Велика, тот поспешно сказал:

— Пускай. Я разрешаю.

Через некоторое время, видя, что Лявон направляется к нему, наверно, за последним отрядом, Велик почувствовал себя лопоухим губошлепом и начал крутить над головой рукою — сигнал «Общий сбор».

— Ты! Что такое? — подскочил к нему Лявон. — Почему сбор?

— Сейчас узнаешь.

— А приказы трэба отдавать через меня, — заявил Лявон. — Я начштаба.

Тут зашумел первый отряд.

— Что он кидается на всех, как щенок? Вель, дай ты ему!

Лявон исподлобья яростно оглядел всех и отошел.

Велик разделил бригаду на две части — две армии.

— Каждая армия, — объявил он, — должна выследить и вывести из строя своего противника. Правила такие. Если двое напали на одного, он считается взятым в плен. Если ты подкрался к вражескому солдату сзади и дотронулся до него, он считается убитым. Если сошлись один на один лицом к лицу, борются. Кто кого собьет, тот победил. Только без драки.

Стали рядиться, кто будет кем. Конечно, и те и другие хотели быть партизанами и не хотели немцами. Решили так: будут зеленые и желтые.

— Желтыми командовать будет начштаба,— сказал Велик,— зелеными я.

— А почему это тебе зеленые? — немедленно высунулся Лявон.— Хитер! Зелеными я буду командовать.

Можно было бы посмеяться над этой выходкой. Но Велика разбирало зло: Лявон, видимо, решил все делать поперек.

Зеленые ушли. Велик выбрал место для штаба в густом кустарнике у самой воды, оставил с собой Стася и Амелю, остальных попарно разослал на поиски.

Первыми из разведки вернулись Мишка и Стасов брат Яшка. Смуглый, остроносый Яшка, таинственно понизив голос, доложил:

— Товарищ комбриг, наших двоих схватили — Володю и Алесю. Мы лежим за кустом, а их ведут. Четверо на двоих.

— Вам было приказано разыскать штаб зеленых. Разыскали?

— А как же.— Яшка, улыбаясь, прижмурил глаза, и лицо его приняло плутоватое выражение.— Они — Лявон и еще двое — сидят с той стороны Колкого гушара. Только к ним не подлезть — перед ними большая прогалина, а с боков — посты, на реке и на дороге... Товарищ комбриг, хана нам. Зеленых теперь больше, и у них оборона неприступная.

— Без паники! Значит, говорите, к ним не подбраться?

— Не-а,— замотали головами Мишка с Яшкой.— И прямо нельзя, и с боков нельзя.

— А с тыла?

— А с тыла и подавно нельзя. С тыла у них Колкий гушар. Это крепче любой стены.

— Вот и хорошо, что они так думают. А мы с тыла подползем и возьмем их.

— Ну, Велик, это ты брось,— сказал Стась.

— Ни один человек в жизни не ходил там и не ползал,— поддержал его Амеля.

— Не было надобности, вот и не ползал. А мы поползем. Нам победа нужна. Из-за победы на фронте бойцы знаешь, что делают? Проползти в Колком гушаре — это для них тьфу!

— Да как мы поползем? — подал голос Яша.— Не пролезть же просто-напросто.

— А я прикидывал. Внизу, у самой земли, колючек нет, а между стволами проползти можно. Только, конечно, на пузе придется... Значит, так: Стась остается здесь для связи. Как придут разведчики, ждите сигнала и пробирайтесь к нам. За мной ползет Амеля, потом Мишка, замыкающим Яша. Сигнал сбора...— Велик заложил в рот два пальца колючком и громко выистнул.— Все! За мной!

Он подошел к краю Колкого гушара, встал на колени и нырнул в траву между двух стволов шиповника.

Уже через несколько метров Велик понял, что двигаться в этой чащобе будет во много раз труднее, чем он предполагал. Между стволами росла не только трава, но и разный мелкий кустарник, он пружинил под тяжестью тела, а временами приподнимал его, и тогда колючки на нижних ветках шиповника цеплялись за одежду, больно царапали. Солнце и ветер сюда не проникали, воздух был недвижим, густ и сумрачен. Дышалось тяжело, пот заливал глаза, разъедал свежие царапины.

Время от времени Велик прекращал двигаться, поворачивался назад и проверял свое войско. Амеля, сопя и отплеываясь, полз «ноздря к ноге», не отставая ни на сантиметр. Потное, красное лицо его было в бледных пятах. Он смотрел на Велика загнанно и жалко, но не жаловался, и глаза его светились. Мишка отставал и не видел впереди Аме-

лю: мелкий кустарник, по которому они тащились, сразу же выпрямлялся, скрывая ползущего и его след. Всякий раз, остановившись, Велик подавал условный сигнал. Весь залитый потом, распаренный, замыкающий Яша начинал хныкать:

— Трэба назад. Вы ж видите — нельзя проползти, чего ж суетесь дале?

— Что назад, что вперед — теперь почти одинаково,— увещевал его Велик.— А проползти можно — мы же ползем.

— Да-а... У меня вон вся рубаша на спине порвана, думаешь, матка похвалит?

— И чего ты все жалишься? — выговаривал ему Амеля.— Мы ж вот молчим.

Отдохнув и подзарядив Яшу, трогались дальше. Ребята двигались так долго, что Велику уже стало казаться, что они заблудились. Не должно бы: он все время проверял направление по солнцу — оно смутно угадывалось за плотным зеленым сводом. Он сцепил зубы и, чтобы заглушить сомнение, шепотом погонял себя:

— Вперед! Вперед!

Вдруг впереди слева послышались голоса, причем очень близко.

Велик медленно, чтобы успели подтянуться остальные, пополз в ту сторону.

— Выскакиваем все вместе,— шепотом сказал он и каждому дал задание, кто кого выводит из строя, чтобы не было путаницы.

Появление Великой четверки вызвало в Лявонском войске изумление. Сперва никто не хотел верить, что ребята проползли через весь Колкий гушар. Громче всех кричал Лявон, разъяренный тем, что Велик этим маневром вывел из строя почти половину зеленой армии.

— Ты! Скажи своей Маньке, может, она поверит, а я не такой дурунь! Тут змея не проползет. Ты глянь только — палец просунуть некуда.

Но доказательство, как говорится, было налицо: красные, потные, поцарапанные ребята в одежде, усеянной шипами, листьями и травинками. Да и откуда бы они еще могли взяться тут? На четверку смотрели с восхищением, как на героев. Только Лявон не хотел признавать подвига.

— Подумаешь! Да я могу два раза без отдыха проползти — туда и обратно...

Он встал на четвереньки, собираясь лезть в Колкий гушар.

— Ползти надо,— сказал Велик,— на пузе, иначе ничего не выйдет.

В это время на поляне появился малец лет шести. Растрепанный, зареванный, он еще издали что-то кричал и в отчаянии махал руками.

— Стась! — рыдая, кричал малец.— Яшка! Батьку привезли... уби-итого-о!

2

Под березой возле хаты на траве играли Манюшка, Светлана и Яня. Из лопухов и листьев мастерили платья и платки, одевали в них кукол, тоже сработанных из подручного материала — чурочек, хворостинок, коры.

Велика кольнуло в сердце — вот так и сестра Танька могла бы играть. Но он сразу прогнал эту мысль: Танька, может, жива, и нечего накликать на нее смерть, думая, как о мертвой.

Из хаты вышел Лявон. Он вернулся раньше Велика и успел уже поужинать — шел сейчас, что-то дожевывая. Приблизился к Велику и пнул босой ногой чурбак, на котором тот сидел.

— Ты не годишься в комбриги. Я сильный.

Велик пожал плечами:

- Меня утвердил Ян Викторович.
- Мало ли. Его нет, мы теперь сами решаем.
- Значит, пускай решают ребята.
- А при чем тут... Объясним — и делу конец.
- Я объявлять не буду.
- Ты! «Народники»!

Велик подскочил, как на пружине, и двинул обидчика в подбородок. Лявон схватил его за грудки и ударил. Велик подножкой сбил противника с ног и прижал к земле. Тот вывернулся и, оказавшись наверху, молча и сосредоточенно, сжав зубы, начал бить Велика головой о землю. Потом схватил за горло и сдавил его. Велик захрипел. «Задушит», — понял он. Велик напряг все силы, чтобы свалить Лявона, но сил не хватило. Попробовал оторвать его руки от своего горла и тоже не смог.

— Ты! Зря трепыхаешься, — торжествуя приговаривал Лявон. — Таких я, как гнид, щелкаю. Ну, давай: или соглашайся объявить меня комбригом, или прощайся с жизнью. Ну, говори. — Он ослабил пальцы.

Велик рванулся и освободился. Но Лявон успел его схватить, снова прижал к земле и начал тереть о траву лицом.

Вдруг он вскрикнул, выпустил Велика и вскочил на ноги. Вскочил и Велик. И на мгновение замер, пораженный: Манюшка, визжа на всю деревню, висела на Лявоне и, одной рукой уцепившись за его волосы, другой царапала ему лицо. Он пытался оторвать ее от себя, сбросить, но не мог — она словно прилипла к нему. По лицу его уже текла кровь, он был выбит из колеи неожиданным нападением и напуган той яростной беспощадностью, с какой она дралась.

— Пусти-и! — завопил он с отчаянием.

Велик увидел Манюшкино лицо и тоже испугался: оно было белое, глаза безумные, с застывшим взглядом. Велик бросился к ней и начал отдиравать от Лявона. Манюшка ожесточенно сопротивлялась.

Из хаты выскочила Варвара — ее позвала Светлана, увидев брата в крови.

— А, каб вас Пярун спалил, чужаки! — закричала Варвара, ринувшись к Лявону. Отшвырнула Манюшку, отпихнула Велика, обняла сына и повела его в хату. — Да что ж это такое робицца! Убивают прямо серед дня! Да еще на глазах у матки и сестер. Это ж только подумать, до якого нахабства дошли! Вместо спасибо — сына убивают!

Велик, глотая слезы, спустился к Усвейке, сел на берегу и стал смотреть на быстро бегущие воды. От реки поднимался легкий парок. Солнце село, и все вокруг померкло. Только на недалеком пригорке, что виднелся на том берегу, на самой его верхушке, замешкался поздний луч.

Тихое журчание воды и ее безостановочный бег успокаивали. И когда кто-то дрожащим телом прижался к его плечу и Велик, повернув голову, увидел Манюшку, у него уже не было злобы на нее. Наоборот, в душе шевельнулось теплое родственное чувство — вот ведь знала, что такое Лявон, что он может с нею сделать, и все-таки бросилась спасать... А вообще характерец у нее сродни Лявону: без оглядки кидаются — в огонь так в огонь, на нож так на нож... Велик искося глянул на тихо принижающую к нему девочку. Неужто она такая же, как Лявон? Но, может, главное не в том, что без оглядки на нож, а смотря за что. Лявон кинулся кулаками добывать себе комбригство, а Манюшка защищать своего... ну, будем считать, брата. Есть разница?..

«Да, а вот у меня совсем не такой характер. Сегодня, во время игры, Лявон то и знай шел на-

прелом, и я каждый раз ему уступал. И доуступался — теперь он потребовал, чтобы я объявил его комбригом вместо себя. Ему нравится — отдай! А не отдашь — будет вырывать силой...

Лявон своего добьется — станет комбригом. Я отступлю, потому что знаю: нужна затяжная борьба, а за комбригство я бороться не буду. А он будет — до конца. Отпихнет меня, а потом и ребят заставит подчиняться себе... Такие, наверно, своего всегда добиваются...

Тихо подошел Мишка. Сел рядом с Великом.

— Лявон катается по полу, кричит: «Выгони их!» Все его успокаивают — и тетка, и Каролина, и Клэня.

— Ладно, — сказал Велик. — Переночуем на берегу, а завтра поищу, кто пустил.

— У него все лицо исполосовано. Тетка заклеила царапины подорожником, один нос остался голым.

— Он помрет? — спросила Манюшка.

— Нет, — усмехнулся Велик.

После длительного молчания, видимо, отвечая на какие-то свои мысли, она раздумчиво сказала:

— Шурчик помер, мать померла... А Лявон, как вырастет, все равно в бандиты пойдет...

— Нет, — испуганно встрепенулся Мишка. — Нехай ему будет больно-больно, а умирать нехай не умирает. Умирать ведь насовсем. — Голос его слинял до шепота. — Жалко их. И Лявона было б жалко.

УХОДЯТ РОДНЫЕ ЛЮДИ

I

Послушавшись, Велик выглянул с печки и прислушался. В окнах было серо. Хозяйка уже хлопотала у печки. Значит, и ему пора вставать. Нужды особой в этом не было, да и не хотелось, но он тренировал волю.

— И чего тебе не спится? — сказала Варвара, когда он слез с печи. — Хозяйство у тебя? Скотина ревет?

— У тебя тоже хозяйства нет, а все равно встать... Помочь ничего не надо?

— Ну, принеси дровец, коли так.

Видно было по всему, хозяйке все-таки его деловитость нравилась, что бы там она ни говорила. К Велику Варвара давно относилась по-особому — уважительно, почти на равных: советовалась по хозяйственным делам, а, отлучаясь в другую деревню к знаменитой в округе гадалке или добыть продуктов, — не только Каролине, но и ему наказывала, как и что должно делать в ее отсутствие и в случае, если она не вернется совсем.

А после той его драки с Лявоном и дальнейших событий в ее отношение к нему, как ни странно, добавилась и сердечность. Поздно ночью Варвара и Каролина отыскивали тогда своих беженцев на берегу и силой увели домой. Вообще-то «силой» не совсем точно. Велик не хотел идти — это да. Сперва им владела обида — «Зачем вам чужаки сдались?» — потом он начал доказывать, что лучше разойтись, потому что с Лявоном они вряд ли уживутся, и все время будут вспыхивать ссоры, а кому это нужно? Варвара, плача, просила прощения за «чужаков» и никаких доводов слушать не хотела.

«Не позорь нас перед народом», — повторяла она и тянула его за рукав.

А Каролина держала за руки Мишку и Манюшку, готовая вести их или отпустить, в зависимости от результата переговоров между матерью и Великом.

«Ну что ж, мне на колени перед тобой встать?» — дрогнувшим голосом сказала Варвара.

«Еще чего! — испуганно вскинулся Велик. — Нет, нет!» И перестал сопротивляться...

Велик вышел на улицу. Первым делом прислушался: громыкает? Громыкало. Это погромычивание стало слышно с неделю назад. Откуда-то в Комары донесся слух, что это под Оршей наши перешли в наступление, прорывают немецкую оборону. С тех пор далекая канонада вошла в жизнь деревни как ежедневный восход и заход солнца, как пение Усейки и зеленый шум в ее пойме. Встречаясь друг с другом, комаровцы вместо приветствия кивали в сторону далекой Орши: «Гремит?» «Греми-ит!»

— Кажись, нынче повеселее бухает, — сказал он появившейся на пороге Варваре и, вспомнив, что говорил это каждое утро, добавил: — Не, нынче в самом деле как будто погромче.

— Ну, ну, — одобрительно отозвалась хозяйка. — Хай бухает, може, фашист скорей в могилу бухнет. Выполняя ежедневную процедуру, Велик побежал на Усейку.

На берегу он сделал зарядку, искупался в речке и опять бегом возвратился домой. Тело налилось бодростью и силой, и он подумал, что не так уж это и трудно — тренировать свою волю. Наоборот, даже приятно.

В хате он застал тетку Марью Лабут, у которой зимой плел лапти. Она пришла за угольками (спичек в деревне не было, и по утрам хозяйки одалживались огоньком друг у друга). Сперва Велик удивлялся: Марья жила на другом конце, могла бы и поближе достать жару. Но потом понял: угольки угольками, а Марья еще и поболтать приходила к своей закадычной подруге, поделиться болячками.

— Ни слуху, ни духу, — жаловалась она, горестно вздыхая. — Бывало, то один, то другой, то третий наведывались, не комаровские, так телятческие или чарнецовские, все весточка была. А когда и сам приезжал. А зараз... Куда-то ушли, видно, далеко.

— А не только ваших райцевских не стало, — успокаивающе сказала Варвара. — Никого няма — ни дубовцев, ни заслоновцев, ни богушевцев, ни смоленцев. Чувеш, вон гремит? Так чего ж им тут сидеть, штаны протирать? Допомогать трэба красным-то армейцам.

— Тебе хорошо казать, — обиделась Марья. — Коли б твой...

— А как же, мне хорошо, прямо аж куды лучше! А, каб тебя раки зъели! Давай-ка свою посудину, насыплю жару, и катись! Бо выведешь меня из нервов, я тебе за пазуху эти угли высиплю. Мне хорошо! У тебя одна Женька, а у нас вон с Валентином, — она кивнула на Велика, — семеро по лавкам валтузюцца.

Марья, поняв свою оплошность, пыталась оправдываться, но Варвара, не слушая, выпроводила ее за дверь.

— Буди ребят снедать, — приказала она Велику. — Сегодня ради воскресного дня болтушку сварила. Давно у нас ничего не было, кроме щавеля, хай разговоятся, каб их раки зъели!

Еще завтракали — пришел дядька Макар и сказал Варваре, чтобы шла в его хату на собрание.

— Ты тоже иди, — будто спохватившись, кивнул он Велику. — Глава семьи — значит, положено.

В хату к Макару набилась вся деревня от мала

до велика. Из-за стола встал подтянутый, ладный военный... Велик так и прикипел к нему взглядом. Во-первых, это был тот самый комиссар, которому он сказал тогда про власовского шпиона, — Андрей Иванович. А во-вторых, — и это не только Велика, всех удивило и заинтересовало — на нем была новенькая, еще не виданная здесь форма: мягкие зеленые сапоги из брезента, гимнастерка со стоячим воротником и погонами.

Сильно заколотилось сердце: наши пришли! Андрей Иванович уже в армии. А что? Пусть канонада еще далеко, и никто ничего не знает. А кто сказал, что наши придут обязательно с громом и шумом? Комары-то в стороне от больших дорог, от важных военных объектов...

Трогая рукой свою густую черную шевелюру, офицер сказал:

— Председатель! Макар Филиппович! Что ты закупорил нас в помещении? Людям даже присесть негде, впритык стоят, потом обливаются. А у меня разговор хоть и не очень длинный, но и не на пять минут. Веди-ка нас куда-нибудь на полянку, на свежий ветерок.

— А и верно, — сказал Макар. — Давайте-ка все на Березовый остров.

Расположились на лужайке между березами. Офицер прислонился к дереву, раскрыл планшет, достал листки с машинописным текстом, но, спохватившись, сказал:

— Да... вам, наверно, интересно, что это за форма на мне и почему я в ней. Так вот, в Красной Армии больше года назад введены погоны... После ранения мне посчастливилось попасть на Большую землю, лечился в Куйбышеве, а когда выписался из госпиталя, был экипирован в соответствии с моим воинским званием старшего лейтенанта. Ну, полюбуйтесь на новую форму и приступим к делу.

Он повернулся кругом, прошелся меж сидящими. Все осматривали его с ненасытным любопытством. Варвара не удержалась — потрогала погоны: красивые, каб их раки зъели!

Андрей Иванович рассказал о положении на фронтах. Оно было обнадеживающим. Гитлера колотили в разных местах: на Севере, на Украине, в Крыму. Уже больше полугода родимая Навля текла по освобожденной земле.

— Близок час освобождения Белоруссии. Правда, фашисты создали сильную, глубоко эшелонированную оборону на линии Полоцк — Витебск — Орша — по Днепру до Жлобина — до Припяти и дальше по этой реке. Тут у них крупные города, реки Днепр, Дзержинск, Березина, Свислочь, Припять, много других помельче. Текут они по болотистой местности. В общем, оборона сильная, немцы считают ее неприступной, и Геббельс даже похвалится, что от этой линии «Фатерлянд» — «отечество» по-нашему — они снова погонят Красную Армию на восток. Но не в первый раз он похвалится, а катится не Красная Армия на восток, а фашистская — на запад. Все, прошли времена отступлений, теперь только вперед, до самого Берлина... Ну, а вам, комаровцам, надо молить не знаю уж кого, чтобы наши побыстрее прорвали их «Фатерлянд» на участке Витебск — Орша. Это ближе всего к вам. Здесь советским войскам противостоят Третья немецкая танковая армия. Она держит фронт от Сиротина до Богушевска. Партизанским бригадам поставлена задача лишить Третью танковую армию возможности пользоваться шоссейной дорогой, которая связывает армию с тылом. Фашисты же, естественно, стремятся ликвидировать и партизан и их зону, чтобы обезопасить дорогу. Бои идут уже полгода. Особенно обострилось положение сейчас, когда нача-

лось наступление Красной Армии. Против партизан брошены крупные, хорошо вооруженные силы. На помощь пришли бригады из соседних зон, в том числе из вашей. Вот почему тут давно не видно партизан.

Потом Андрей Иванович рассказал о положении в советском тылу. Красной Армии помогает весь наш народ. От зари до зари женщины и дети трудятся на колхозных полях, стоят у станков. Люди отдают свои сбережения на строительство самолетов, танков. Например, на средства саратовского колхозника Ферапонта Головатого построен самолет, который назван его именем.

— Мы собираем средства в фонд строительства самолета и бронепоезда «Советская Белоруссия». С этой целью я к вам и приехал... Ну, вот... Жду вас у Макара Филипповича.

Велик шел домой и удивлялся: неужели деньги имеют еще какую-то цену? И на оккупированной территории и в партизанской зоне они были дешевле простой бумаги. Да никакого даже сравнения: годная на курево бумага ценилась мужиками наравне с табаком, за нее можно было выменять и продукты, а деньги не годились даже на курево. Вряд ли у кого сохранились. Ну, разве что случайно, по недосмотру, рублевка какая.

Он удивился еще больше, когда, придя домой, увидел Варвару, пересчитывающую за столом стопку потрепанных купюр разной стоимости.

— На пальтишко Каролине собирала,— сообщила она Велику.— До войны...— Помолчав, воскликнула с досадой:— А, каб его раки зъели, этого комиссара! Сказал бы: сдавайте старые гроши. И боле ничего. Мы б и сдали без жалости. А нашто было казать, что они яку-никаку, а свою цену имеют? Зараз вот жалко стало. Это ж подумать только: придут наши—и пальтишко-то можно будет купить. Ну, подсобирать еще...

Каролина мягко отстранила Варварины руки, положила деньги в клеенчатый мешочек, где они лежали до этого, и укорила мать:

— Что ты жалеешь? Абы скорее пришли, а все остальное будет. Давай, я сама отнесу, раз деньги мои.

— Да неси уж, неси,— махнула рукой Варвара. С помоста прыгнула Манюшка. Она сжимала что-то в кулаке.

— У меня тоже есть.— Она разжала кулак. В холщовой тряпичке лежала сложенная в несколько раз красная тридцатка.— Я тоже отнесу. А потом, как наши придут, хлебом накормят, правда?

— Откуда у тебя деньги?— изумился Велик.

— Мать дала. Когда помирала. Вас никого не было, она подозвала меня и говорит: «Я, доченька, нынче отойду. На вот тебе приданое от матери. А больше у меня ничего нет».

Варвара тяжело вздохнула и отвернулась к окну. Каролина сказала:

— Ну, давай я заодно отнесу.

Манюшка поспешно, как бы испугавшись, сжала кулак и спрятала его за спину.

Велик отправился вместе с девочками. Ему хотелось показаться Андрею Ивановичу, чтобы тот его узнал.

Комиссар пил чай «с ничем», заваренный липовым цветом, и вел неторопливую беседу с Макаром.

На столе перед ним лежали стопочки ассигнаций: рубли, тройки, пятерки, десятки, тридцатки.

— Ну что, ребята?— обратился он к вошедшим, потягивая чай из коричневой эмалированной кружки.— Деньги принесли или просто так?

— Принесли.— Каролина, подойдя к столу, выложила из мешочка свой капитал.

Комиссар поблагодарил и пожал ей руку. Потом Манюшка положила перед ним свою истертую тридцатку. И первая протянула сложенную лодочкой ладонку. Комиссар пожал ее, притянул девочку к себе и погладил по волосам.

— Здравствуйте, Андрей Иванович,— сказал Велик.

— Здравствуй, здравствуй.— Комиссар смотрел впросительного.

— Вы... не узнаете меня?

Андрей Иванович взгляделся в его лицо. Вот сейчас узнает, думал Велик. Ему хотелось, чтобы комиссар позвал его в отряд. Нет, лучше пусть не зовет—уйти Велик не может, потому что обязан сохранить и доставить на родину Мишку с Манюшкой, а объясняй про это не объясняй, все равно факт останется фактом—отказался идти в партизаны. Что подумает про него комиссар?

— А, да-да,— сказал Андрей Иванович.— Как же, как же... Ну, здравствуй.— Он пожал Велику руку. Велик неловко потоптался у стола и бочком, бочком вышел из хаты. Он чувствовал, как пылает его лицо.

Так тебе и надо, сказал он себе. Видал, какой шустрый: случайно раскрыл власовца и хочешь, чтобы из-за этого тебя вечно помнили!

2

Несколько дней спустя стало известно, что пришел Ян Викторович.

В хате у Амели беспрерывно толклись люди: свежий человек—источник новостей, а в последнее время все с нетерпением ждали больших перемен. Дело в том, что канонада со стороны Орши значительно усилилась и слышна была даже в хатах.

Лохматый, крупноголовый Ян Викторович сидел в углу под иконами и, баюкая на груди запеленутую в чистую белую холстину руку, рассказывал:

— Нам было приказано оседлать большак и держать, сколько возможно. Ну, силы-то неравные: немец-фронтовик пошел, с танками, пушками, минометами и другим тяжелым оружием.

Ян Викторович достал кисет, протянул Макару. Тот вытащил из кисета сложенную бумагу, пошуршал ею.

— Лощеная... На-ка вот газетной. Был тут у нас недавно ваш комиссар, оставил мне добрый шмат газеты на курево.

— Андрей Иванович? Интересно, где он теперь. После ранения он к нам в отряд не вернулся.— Закурив, Ян Викторович продолжил рассказ.— Что там творилось—страшно вспомнить! Ну, мы все-таки заставили врага развернуться, задержали, считай, на сутки, потери понесли. Ну, и оттянули на себя сколько-то войска. Прямо сказать, нам тоже это кровушки стоило. В отряде Калинина, например, всего двенадцать человек осталось пригодных к бою. А наш отряд отрезали и обложили в Густичанском лесу. Там меня ранило... Как начали бомбить! С утра до вечера все бьют и бьют, бьют и бьют! Никакого спасу! Потом пошли на нас со всех сторон. Командиры порешили собрать в кулак все силы и ударить в одном направлении. Чтоб или прорваться, или погибнуть в бою. А третьего выхода не было. На прорыв должны были пойти после полуночи. С вечера было приказано всем отдыхать. Но, думаю, мало кто сразу заснул... У меня к тому же ныла рана. Я глядел сквозь ветки на звезд-

ное небо, слушал, как шебуршат листья, и думал: «Может, это в последний раз для меня — и тихое небо и мирный шум лесной. А через сколько-то часов все мои дела на земле закончатся». И так было горько, обидно и нудно от этой думки. Все ж я заснул и спал, показалось, всего одну минуту — началась побудка. Меня отделенный потряс за плечо, а рука-то раненая, я вскрикнул и подскочил от боли. Эта боль потом все время томила. Рука сделалась тяжелой, как будто на грудь повесили сумку с камнями... Позиции фашистов были на опушке. Ночью наши их разведали, поэтому мы подошли к ним тихо и ударили неожиданно. Но у немцев было много техники, прорваться-то мы прорвались, а уйти не смогли и втянулись в бой. Они прижали нас к речке и стали окружать. Надежды не было у нас ни вот столько. На чудо разве что. И чудо это случилось! От неминуемой гибели наш отряд спасли тимощинцы. Как, откуда они там взялись?

Велик сидел, вытянув шею, не дыша, боясь хоть слово упустить из рассказа. Когда рядом начинал возиться и скрипеть досками помоста Амеля, Велик сердито толкал его локтем в бок. И сам по той же вине изредка получал тычки справа и слева. Он не сводил глаз с Яна Викторовича, который виделся Велико героем и богатырем.

Яну Викторовичу и обедать пришлось принародно — подошло время, а людей не выгонять же! Хлебая щавель, он продолжал рассказывать:

— Про Тимошина вы, наверно, не знаете, его бригада тут не проходила. А это личность героическая! Про него рассказывают много разных историй. Был он, говорят, командиром в Красной Армии, полковником, попал в плен, а может, по заданию сдался и, когда Власов стал набирать пленных в свои банды, пошел к нему: «Дайте мне полк, вооружите его по всем фронтовым нормам, и я через полгода разделаюсь с партизанами». Людей, он, конечно, подбирал, каких ему нужно. А когда полк был организован и вооружен по-фронтовому, Тимошин перешел к партизанам. Скоро полк вырос до дивизии, хотя — по-партизански — называется она бригадой. Тимошин — самый сильный в партизанской зоне. Да что! — В голосе Яна Викторовича звенели гордость и восхищение. — Он на мелочи не разменивается, а вот если в фашистском гарнизоне не меньше тысячи человек — тогда это подходящий объект. Расколошматит — вот у него и оружие, и техника, и боеприпасы. Ходили слухи, что один раз он даже Минск взял и держал его целых три дня. Не могу ручаться, что все это так, может, и преувеличено. Но что тимощинцы поспели вовремя к нам на помощь — это факт. Остатки нашего отряда влились к ним. Мертвых похоронили, а раненых отослали в партизанские зоны. Вот я и тут.

3

Велик ушел от Амели, когда Ян Викторович оброс новыми слушателями и начал рассказывать о своих приключениях по второму разу.

Солнце давно уже перевалило через свою высшую точку и медленно катилось к далекому горизонту. Со стороны Чарнецов на Комары двигалась туча, накрывая землю пасмурью и поливая дождем, но тут еще все было ярко, и в окнах бликовали солнечные лучи.

В деревне царило оживление. Через дорогу от

хаты к хате перебегали женщины и дети, вдали двое мужчин несли на плечах противотанковое ружье. Выходит, прибыли партизаны.

Выйдя на окраину деревни, Велик увидел за рекой на взгорках партизан. Они копошились там, занимая, видно, оборону. Дело оказывается, было серьезное и тревожное. Он стоял, вглядываясь, и размышлял. Выходит, ждут немцев?

Дома он застал непонятную суету. Варвара и Каролина увязывали в узлы домашний скраб, дети помогали им, а больше мешали. За столом сидел коротко стриженный желтоволосый молодой партизан в расстегнутом немецком мундире со следами сорванных знаков различия на рукаве, плечах и воротнике. Перед ним лежали части разобранного автомата. Партизан протирал их тряпочкой и смазывал маслом. Лицо его было сосредоточенно, он тихонько напевал:

**В этот вечер далеко за Волгой
Отцветала акварель зари.
Я к тебе приехал ненадолго —
О большом с тобой поговорить.**

Он коротко взглянул на остановившегося у стола Велика и сказал буднично и дружелюбно, как давно знакомому человеку:

— Сбегай-ка, хлопче, на улицу, принеси мне хороший прут. — И продолжал петь:

**Я сейчас беседую с тобою,
Но другое в мыслях у меня:
Может, завтра — утро голубое,
А мне седлать горячего коня.**

— А мы в укрытие собираемся, — сказала Варвара, когда Велик вернулся со двора. — Вот товарищ говорит — завтра немец может сюда заявиться. Ты бы, Веля, тоже все повязал в узлы. Снесем в землянку, целей будет.

— Кому оно нужно, это барахло? — дернул щекой Велик.

— Да нам же, сынок. Спят хату — надеть на себя нечего будет. Голяком пойдешь?

— Правильно, хлопче, — встрял партизан. — Живы будем — все будет, а убьют...

**Может, завтра рано-спозаранку
Разгорится небывалый бой.
Потеряю там свою кубанку
С молодой курчавой головой.**

Пел он так проникновенно, что на сердце становилось еще тревожнее и беспокойнее.

— Значит, немцы и сюда придут? — проглотив горький комок, полувопросительно сказал Велик.

— Он драпает, хлопче, — уклончиво ответил партизан. — Не сегодня-завтра Красная Армия здесь будет.

— Пока она дойдет до Комаров, нас тут немец с навозом смешает, — подала голос Варвара. — Вы оборонить нас, мабыць, не сможете.

Партизан обиженно вскинул голову, но сказал тихо и как бы внясь:

— Нас тут — потрепанный, истощенный отряд. Вырвались из блокады. Вы слышали про озеро Палик? — Никто ему не ответил. — Если он завернет с большака сюда, будем драться. А вам надо прятаться, если есть где, а лучше уходить за реку...

— Куды на ночь глядя! — махнула рукой Варвара. — Може, уранку.

К Велику подошла Манюшка, блестя хитренькими глазенками, сказала:

— А я сама все в узел связала. Теперь только оттащить.

Землянка, в которую перебрались на ночь, находилась в пойме Усвейки. Принадлежала она трем семействам. Но поначалу тут было не тесно: никому не сиделось в этой норе, кто ушел к реке, кто в деревню. Велик, Лявон, Амеля и Мишка поднялись на высокий берег. Отсюда им хорошо были видны окрестности: и те взгорки за рекой, где притаились окопавшиеся партизаны, и черневшая невдалеке березовая роща — деревенский погост, — и шелестевшая внизу лиственной долиной Усвейки.

Плыла тихая, ласковая летняя ночь. Умиротворение лежало на всем, было растворено в воздухе. Постепенно оно завладело сердцем. Велик смотрел на яркие звезды в высоком небе и думал о них величественными и красивыми лермонтовскими стихами:

**Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил.**

Он слушал сонный шепот поймы, и ему чудилось, что понимает, о чем она шепчет: «Нет в мире ни войн, ни бед, ни смертей. Земля просыпается утром, живет, работает днем и, устала, медленно и тихо отходит ко сну вечером. Война, фашисты, кровь, пожары и страдания — это случайный кошмарный сон».

Наверно, то же чувствовал и Амеля.

— Эх, коли б все вот так и было! — вздохнул он. — Проснулся утром, а на земле мир, и никакой войны не было!

— Ты! Болван! — насмешливо воскликнул Лявон. — Завтра проснешься, а в деревне немцы. Зачиню в хате и подпалю. Как в Бобрах.

— Хай бы партизаны только бой начали, — сказал Амеля. — А мы б тогда всей деревней им помогли.

— Ты! Сиди, помощник!

Амеля сник. Велик подумал: «А что? Начнется бой — приползу к партизанам, не прогонят. Винтовка найдется. А потом, может, даже автомат у немцев захвачу».

К землянке они вернулись поздно ночью. Девочки уже спали, только Каролина сидела у входа, положив подбородок на колени.

— Взрослые ночуют в деревне. Коли начнется, прибегут. Пошли покажу, где вам спать. Дай-ка руку, Велька.

Он подал ей руку, она встала. Велик разжал пальцы, но она не отпустила, несколько мгновений молча стояла перед ним, сжимая его руку. У него зашумело и закружилось в голове, в глазах поплыли разноцветные пятна и круги.

— Пошли, пошли, — сказала она тихо, только ему, и стала спускаться по земляным ступеням.

А Велик не мог стронуться с места. Проходивший мимо Лявон задел его, и тогда он торопливо последовал за ребятами.

В землянке все лежали на соломе, застланной рядом. Ребятам место было отведено у двери, сразу за Каролиной. Она, как старшая, должна была лечь у входа. Рядом с нею — Лявон, потом Велик, Амеля и Мишка.

Каролина легла после всех. Обмирая сердцем, Велик вглядывался в ее смутный силуэт, стараясь угадать, что она делает. Наконец по звукам определил — расчесывает волосы. Волна никогда не изведенной нежности затопила душу. Велик решил: как только она заснет, он ее поцелует.

Томительно тянулось время. Велик даже слегка подсадовал на Каролину, что так долго копаются,

потом на то, что долго не может заснуть: она вздыхала, шептала что-то себе под нос.

Наконец, ее ровное дыхание слилось с дыханием и сонным бормотанием остальных. Велик осторожно привстал и начал ощупывать место за Лявонем, куда можно было бы опереться руками. Найдя свободное пространство, он склонил голову и стал искать Каролино лицо. Темнота была кромешная. Велик потерял всякую ориентировку. Его губы скользнули по ткани, наткнулись на пуговицу, наконец, коснулись гладкой горячей кожи. Не успел он прижаться губами, как почувствовал — в переносицу ему уперся кулак и с силой отпихнул его. Велик потерял равновесие и упал на кого-то — скорее всего на Лявона. Тот не издал ни звука, только переменял позу. Велик быстро улегся на свое место и притаился. Все было спокойно. Только оттуда, где, по его — может быть, неверным — расчетам, лежала Каролина, донесся тихий невнятный звук, который можно было принять и за сонный прерывистый вздох и за сдвоенный смехок.

4

Утром в землянку пришли взрослые: председатель Макар с Макарихой (их дети тоже ночевали здесь), Варвара и Амелина мать.

— Живо таскайте узлы на подводу! — скомандовал Макар. — Отправляемся в Телятичи.

Оказалось, проехавший утром по деревне верховой сказал, что группа фашистов свернула с болота, и комаровцам лучше уйти за реку: с танками через нее немцы не поедут, а без танков с ними можно побороться.

Быстро побросали в телегу узлы и двинулись по дороге на Телятичи. По пути к ним присоединилось еще несколько подвод. Многие тащили скarb и ребяташек на себе.

Велик шагал в толпе и с любопытством поглядывал на Каролину, пытаясь прочесть в ее лице что-нибудь о ночном происшествии. Но она ни словом, ни улыбкой, ни движением брови не показывала, будто ей что-то известно. Может быть, так оно и было, и это не ее кулак познакомился с его переносицей. Но тогда — Лявон? Недаром же он даже не пикнул, когда Велик свалился на него. Однако это тоже сомнительно — он наверняка поднял бы крик. И уж одним тычком не ограничился бы. Да и сейчас не молчал бы и не делал вид, что ему ничего не известно. А может, ни та, ни другой не думают сейчас о том происшествии — утренние заботы куда серьезнее. Каролина ведет за руку Яню и пятилетнюю Амелину сестру Марусю, подгоняет их, чтобы не отставали от подводы, и успокаивает: мол, теперь уже осталось недалеко, скоро приедут на место и тогда отдохнут. Лявон идет рядом с Макаром, тот время от времени передает ему вожжи, и Лявон полностью занят и озабочен своими обязанностями. Велику даже совестно сделалось, что он не думает о нынешнем опасном общем положении, а занят своими личными переживаниями. Вот к нему с обеих сторон жмутся Мишка и Манюшка, как к своему кормильцу и защитнику, а он не обращает на них никакого внимания.

Вдруг передняя подвода остановилась, и одна за другой начали останавливаться остальные. Люди сбивались в кучу все плотнее и плотнее, слышалось бормотание старух, читавших молитвы, охи и вздохи, плач детей. Велик пробился из середи-

ны толпы и увидел зеленые бронетранспортеры. Один мчался наперерез комаровскому обозу, два обходили слева и справа.

У Велика сжалось сердце. После отъезда из Шуреи в партизанскую зону он надеялся и даже был уверен, что никогда больше не увидит эти ненавистные серо-зеленые мундиры, не услышит злое горготанье, постоянно таящее в себе опасность и смерть. И вот они, опять они. Эта встреча была тем более ужасной, что состоялась в партизанской зоне, где фашисты не знали удерку в зверствах.

Бронетранспортеры приблизились вплотную и остановились. Тот, что шел наперерез, развернулся и открыл огонь из пулемета в пойму Усвейки и дальше, по Телятичам. С остальных соскочили солдаты и врзались в толпу, хватая за руки и вышвыривая в отдельную кучку пятнадцатилетних парней и девушек. Кого покрепче, для работ, понял Велик. У него помертвело все внутри, когда широколицый, в веснушках немец выдернул из толпы Каролину. Цеплявшихся за нее Яню и Марусю он ловко, умело оторвал и отбросил прочь. Те от страха даже заплакать не посмели.

Велик, не отрываясь, смотрел на ее побледневшее, но внешне спокойное лицо, и все в нем словно натягивалось и каменело. «Надо что-то делать. Надо как-то выручать! Надо. А то что ж: как целовать — ты герой, а как заступиться — тебя нет».

Он не знал, что делать, но готов был на все и, наверно, совершил бы какой-нибудь бесполезный поступок или попросту привлек бы к себе внимание солдат. Видимо, у него был такой настораживающий вид, что Каролина, взглянув на него, испуганно взмахнула ресницами, отрицательно затрясла головой и, показывая глазами куда-то вниз, несколько раз сжала и разжала пальцы. И Велик, следуя за ее взглядом, увидел и только тут почувствовал, что у него крепко сжаты кулаки и сам он весь подался вперед, готовый вот-вот выскочить из толпы. Он глянул на Каролину. В глазах ее были слезы. Она через силу улыбнулась ему и, слегка отвернув лицо, стала искать в толпе родных.

Немцы вывели Яна Викторовича. Одна рука его была на перевязи, другую он поддерживал раненую.

— Партизан! — торжествующе воскликнул солдат. Ян Викторович отрицательно покачал головой. Немец иронически подмигнул ему и засмеялся.

— Рус хитрый, дойче глупый, яволь? — И подтолкнул его автоматом в бок.

Яна Викторовича отогнали к бронетранспортеру и оставили там одного, шагах в трех от машины.

Он был зол: выходит, сам себя отдал в руки фашистам. Надо было уйти к партизанам в окопы, но подался на уговоры троюродной сестры, Амелиной матери: мол, ты там будешь, однорукий, только мешать, а уйти из дома можно и утром. Да что ж теперь спихивать на кого-то — сам виноват, промедлил... Надеяться не на что. Достаточно глянуть на его пулевое ранение... Да и гранату все равно взрывать надо — чека-то из нее выдернута. Так не опоздать бы.

Он отыскал в толпе лицо Велика, встретился с его горящими глазами и попрощался. Попрощался с Амелей. Долгим взглядом поговорил с сестрой: «Видишь, как вышло. Надо бы не слушать тебя». «Да что ж, от судьбы не уйдешь. Прости меня». «Прощай». Шагнул к группе солдат, куривших у бронетранспортера, вытащил из-под раненой здоровую руку, в которой была зажата «лимонка», и бросил гранату им и себе под ноги.

КОЛКИЙ ГУЩАР

1

Что-то готовилось страшное, последнее. Это чувствовали и понимали все — взрослые и дети.

После взрыва немцы быстро оцепили толпу и потянули в деревню. У окраины людей остановили, офицер приказал разойтись по хатам и сидеть там безвыходно. Кто выйдет, будет расстрелян на месте.

Варвара bestолково тыкалась по углам, выглядывала в окна, время от времени обращалась к Велику с бессмысленными вопросами:

— Что ж они с нами сделают, а, сынок? Попадут, мабуть, как их Пярун спалил, проклятых!

Дети сидели кто где — по лавкам, на помосте — и готовились к смерти: надевали чистое, обувались. Варвара заглянула к ним, начала отчитывать Яню:

— Что ж ты робишь, дочушка, ншто бусы надела? Это ж як будуть они жечь твою шейку! Железные-то!

Велик содрогнулся: так деловито были произнесены эти страшные слова и такая боль была скрыта за этим практичным советом. Он вдруг впервые за сегодняшний день понял, что ведь это не разговоры, а вот она, близкая и, видно, неотвратимая смерть — от огня или от пули. Его мысль заработала лихорадочно, отчаянно. Но выход не было видно. Знать бы хоть, что они затевают.

К нему под села Манюшка и, жарко дыша в ухо, прошептала:

— Братик, ты нас не кидай, ладно?

Из угла, давая понять, что присоединяется к этой просьбе, кивал и улыбался виновато губастенький Мишка. На душе стало еще горше. У него защиты ищут. А кто бы его самого защитил?

2

После обеда по хатам пошли немцы, стали выгонять комаровцев на улицу. Опять оцепили со всех сторон и повели по деревне. Двигались в полном молчании, даже маленькие дети от ужаса неизвестности не могли плакать. Слышались только лающие выкрики солдат.

— Что ж они задумали? — бормотала Варвара, идя рядом с Великом в окружении детишек. — Може, угонят куда, як вот вас угоняли?

Ее бормотание раздражало Велика. Ну что зря рассуждать? Надо думать не о том, убьют или угонят, а о том, нельзя ли как-нибудь спасти самих себя: ведь надеяться не на кого.

Кончилась деревенская улица. Толпа выползла на окраину, солдаты направили ее по дороге в пойму. Спускаясь туда, все увидели вдали на поляне фашистов, кучку гражданских с лопатами в руках и груды свеженакопанной земли. По толпе прошел стон, заплакали дети, зло закричали, заработали прикладами фашисты.

— Вот где смерть наша, — сказала Варвара. — И могилы готовы, и про гроб хлопотать не трэба. Ой, детки, до якого лютого часу мы с вами дожили!

Дорога спустилась в пойму и пошла мимо Колкого гушара. И вдруг словно взрыв бухнул у Велика в голове. Он даже приостановился на мгновение. Это последняя и единственная надежда.

— Передайте дальше, — сказал он рядом идущим Манюшке и Клане, — как я свистну, пусть все дети ныряют в Колкий гушар. Вниз, у самой земли.

Велик подождал, пока его слова передадут по толпе, оглянулся и, убедившись, что вся колонна поравнялась с Колким гуцаром, заложил пальцы в рот и что есть мочи длинно, пронзительно свистнул. И, не мешкая, прыгнул к обочине и нырнул в кусты. Краем глаза заметил, что на всем протяжении колонны детишки горохом посыпали в чащобу.

Солдаты, не ожидавшие такого, замешкались и упустили несколько драгоценных для беглецов секунд. Очухавшись, открыли яростную стрельбу из автоматов. Пули косили верхушки шиповника, они оседали, и Колкий гуцар становился еще гуще, еще неприступнее. Это бесило солдат, они что-то свирепо кричали, били, не переставая, из автоматов, потом начали бросать гранаты.

В глубину зарослей Велик не пополз. Он рассудил, что безопасней притаяться у самого края, лишь бы с дороги не было видно. Немцы будут стрелять подальше в чащу — где же и искать спасения обезумевшим от страха детишкам? — и он, Велик, окажется в мертвой зоне.

Так оно и вышло. Но это потом, несколько минут спустя, а сперва пули цокали у самой головы, совсем близко взорвалась граната, завизжали осколки, посыпались комья земли.

Велику все было слышно с дороги: крики немцев, вой баб. Стрельба продолжалась, но пули уже шумели далеко, и Велик постепенно успокоился, хотя и не верилось в спасение после всего, что пришлось испытать сегодня.

В той стороне, где для комаровцев была выкопана могила, взревели моторы, и Велика вдруг пронзила ледяная мысль: а ведь бронетранспортер может пройти по Колкому гуцару. Пройдет или не пройдет? Нет, успокоил он себя, танк пройдет без всякого затруднения, а бронетранспортер все-таки, наверно, не пройдет. Да и неужели им так нужны эти детские жизни, что они не удовольствуются стрельбой, а пошлют на них еще и машины?

Но у них какие-то свои резоны, непонятные нормальным людям, думал Велик, лежа на боку в густой траве и прислушиваясь к выстрелам, крикам и реву моторов. Сколько раз ему пришлось с ними встречаться, столько раз он замирал от страха: вот сейчас переведет автомат на грудь и — трррр! Нет, они не люди. Только с виду похожи на человека, а суть у них другая, враждебная людям.

Не утихая ни на миг, прямо в сердце били крики женщин, команды, выстрелы, назойливо лез в уши, парализовал мозг зловеющий гул моторов, перед глазами стояла Каролина, копавшая вместе с другими общие могилы для односельчан... Эх! Был бы сейчас тот пулемет, что Велик бросил в роще под Журавкином. Хотя не чувствовал бы себя червячком, над которым нависло копыто...

Между тем время шло. Крики и вой на дороге смолкли. Теперь стрельба слышалась со стороны общей комаровской могилы, и из Комаров, и из Телятичей. Стреляли из автоматов и крупнокалиберных пулеметов, слышались винтовочные выстрелы и взрывы, кажется, мин. Похоже, шел бой.

3

Стрельба постепенно перемещалась влево и удалялась. К вечеру все стихло. Велик не знал, что ему делать. Вылезать в неизвестность было опасно. Лучше на всякий случай переночевать здесь, а завтра будет видно. Он осторожно переменял позу, улегся поудобнее.

В это время на дороге послышались женские голоса — сначала говор, потом зовущие крики:

— Тома-а! Витя-аа! Юзе-ек! Клання-а! Амеля-а! Светлана-а! Яня-а! Выходите, детки! Яша-а! Маруся-а!

Велик выполз на дорогу, и тотчас к нему бросились ближайшие женщины.

— Мою не видел? Может, Яшу? А Аню?

Он виновато развел руками, и женщины, расхаживая по дороге возле Колкого гуцара, продолжали звать своих детей.

К Велику подбежала Варвара, порывисто схватила за плечи и, всхлипывая, прижала к себе:

— Ох, Веля, что мы натерпелись! Як вы поныряли в кусты, мы в другую сторону як сыпанули! Они по нам як ударили! Деда Лобана убили, Янину Сверчиху... И поранили много. Вон видишь, у Дягилихи рука подвязана, а у Поджарой обмотана голова... Да и всех бы перебили, да спасибо партизанам, из Телятичей ударили. Зачался бой, и им стало не до нас. Не знаю, то ли партизаны их прогнали, то ли за собой увели, а нас выручили, дай им бог здоровья... А Каролинка наша, Веля... Всех угнали с собой, проклятые, всех, кого уранку отобрали. И як же она там промעה этих волков, маленькая дзязька, без всякой обороны и допомоги? Ох, беда, беда горькая! — Варвара засморкалась, повернулась лицом к Колкому гуцару и присоединила свой голос к другим: — Ляво-он, Ляво-о-онка-а! Клання-а! Светлана-а! Яня-а!

На дорогу один за другим выползали юные комаровцы. Появились Лявон, Манюшка. К Лявону сразу бросилась Варвара, начала гладить и целовать. Он сердито отбивался. Манюшка подбежала к Велику, возбужденно, захлебываясь, затараторила:

— А я ползу-ползу, а пули кругом — чирк, чирк, чирк!.. Хорошо, что не попали! Здорово, что мы живые остались, правда?

Появилась Яня, плача, припала к матери. Выползли двое ребят раненых, в кровавой одежде. Один из них — Амеля.

Но нескольких еще не было. Женщины продолжали выкрикивать имена, им стали вторить уцелевшие дети, и, чем безнадежнее были призывы, тем громче, отчаяннее все кричали. Вскоре невозможно стало слушать эти душераздирающие вопли. Казалось, они заполняют всю землю и поднимаются до самого неба. Как будто вся Белоруссия сошлась сюда звать своих убитых.

Велик собрал вокруг себя уцелевших ребят.

— Давайте прочедем гуцар.

Образовав цепь, они поползли в трех-четырех шагах друг от друга.

Метров через пятнадцать—двадцать Велик натолкнулся на Мишку. Тот лежал ничком, вся спина была залита кровью. Вместе с подоспевшей по зову Манюшкой они перевернули мальчика на спину. Лицо Мишкино было чистым и как будто живым — наверно, из-за постоянной смущенно-виноватой улыбки. Как она могла сохраниться у мертвого? Видимо, Мишка был убит сразу, и страдание не коснулось его черт. Выражение лица было такое, как будто он говорил: «Я гонимаю, вам со мной много мороки, ну, простите, пожалуйста».

Манюшка неотрывно смотрела на брата, на его открытые глаза. Она не плакала, но лицо ее почернело, и в нем читалось такое горе, что, как понимал Велик, слезы были бы даже облегчением — видно, у нее омертвела душа.

— Бедный, бедный, — хрипло сказала Манюшка. — Так и не скупнулся в Навле. А все говорил: «Вот приедем домой...» — Голос ее прервался, и из гор-

ла вырвался птичий писк. Помолчав, она заговорила отрывисто и странно:— Всех повыбил, змей немой. Если б теперь и меня... А нехай... Тятка жenkins, все равно наша семья будет жить.

Велика поразили ее слова. Они были пропитаны горечью, и в сердцевине лежал какой-то глубокий смысл, наверняка скрытый от самой Манюшки. И сказала-то, может, их не она, а мать, вернее, то Катерино, что воплотилось в Манюшке. Явственно прозвучала интонация Катерины.

— Берись-ка, помогай,— тихо сказал Велик.

Они выволокли Мишку и положили сбоку дороги. Велик снова пополз в Колкий гушар.

Скоро рядом с Мишкой легли еще семеро— Клэня, Светлана, Яшка, Толик, Алешка, Маруся, Женя...

ПРОЩАЙ, ТЕТКА БЕЛАРУСЬ!

1

Долгожданное пришло неожиданно, спокойно и буднично.

По-прежнему светило горячее летнее солнце, по-прежнему громыхало за горизонтом. И по-прежнему с ужасом думали Комары об оккупантах: вдруг опять наскочат? Тогда всем как-то. Партизан совсем не стало видно и слышно в округе, надеяться не на кого.

И тут к Варваре пришла из Чарнецов родственница по мужу и на вопрос: «Как там, ничего не слышно, не придут ироды под корень выводить нас?» — изумленно растопырив глаза, ойкнула:

— Ой, да что ж это робицца на белом свете?! Да через Чарнецы уже двое суток наши, красные, идут, а вы тут все еще смерти ждете! Ну, глухомань вольховая!

Варвара онемела, а Велик соскочил с помоста и понесся по улице, крича на бегу встречным:

— Наши в Чарнецах!

Вскоре за ним уже бежало все детское население Комаров. А взрослые кучками поспешали сзади.

...Еще издали Велик услышал песню. Она толкнулась к нему прямо в сердце: это была довоенная «Катюша», простая песенка о любви, но запрещенная в оккупации и оттого ставшая политической и антифашистской.

**Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.**

У Велика перехватило горло, и он перешел на шаг.

Из Чарнецов одна за другой выкатывались машины. Солдаты в зеленых погонах, с красными от солнца лицами, пели истоно и задумчиво.

**Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.**

Глотая слезы, которые ему не удавалось сдерживать, Велик вспоминал другой день: вот так же ехали солдаты, тоже пели. Но это были чужие солдаты и чужие песни. Знакомство с ними началось в родной деревне Журавкино с того, что один из

них отнял у Велика сито. А завершилось это знакомство почти через три года в белорусской деревне Комары, в Колком гушаре... Все, что случилось за эти неполных три года, будто огнем прошлось по его душе, и что-то в ней сгорело дотла, а что-то народилось на пожарище. Он чувствовал себя так, словно вынырнул из темной давящей глубины, смотрит вокруг и видит все по-новому: потому что все-все понимает. Вот эти солдаты, например, с их выгоревшими запыленными гимнастерками, зелеными погонями и с «Катюшей» были ему сейчас дороги до слез, до боли, как кровные близкие родные. И распирало грудь чувство гордости за них, за русское, советское, что они несли с собой, за то, что это — наше общее...

Вдруг из-за хат, совсем низко, вывернул самолет с черными крестами на фюзеляже и крыльях.

— Возду-у-ух! — пронеслось над дорогой, обрубив песню.

Машины тормозили на полном ходу, солдаты сыпались через борта, как зерна из сухого колося, и разбегались в обе стороны от дороги.

— Ложись! Ложись! — раздавались голоса.

Фашистский летчик полоснул из пулемета и пошел на новый заход.

— А ты что ж это? — крикнул кто-то рядом с Великом и свалил его с ног. Сам упал рядом и прижал голову мальчика к земле, лицо Велика оказалось у солдата под мышкой.

От гимнастерки резко пахло потом и пылью, и Велик все отворачивал лицо в сторону, а солдат все прижимал его к себе.

Немец сделал еще два захода и улетел — может, патроны кончились, может, была у него другая задача, а здесь просто попутно решил порезвиться.

— По маши-и-инам! — послышалась команда.

Солдат встал, отряхнулся и вдруг цепко ухватил Велика за плечо.

— Сынок! Да неужто ты? Да как же... откуда ж?..

Отец! Нисколько, считай, не изменился, только усы завел, и то, видать, недавно: были они редкие, короткие и неожиданно рыжеватые.

— Папка!

— Сынок!

В двух словах Велик рассказал, где он живет и как сюда попал. Отец подвел его к машине, из кабины которой высокий, тоже усатый сержант уже звал его.

— Вот сына встретил, Семен Иванович.

— Как так? Не шути! Ты ведь вон откуда.

— Война, Семен Иванович.

— Да-а, война... Сержант почесал в затылке, растерянно поморгал. — И ничем не могу помочь, Мельников. Попрошайся и садись, ехать надо.

Солдаты в кузове (тоже все усатые) смотрели сочувственно. Один из них, с веселыми глазами, крикнул шоферу, стоявшему у крыла машины:

— Крымов, а ты мотор проверил? Может, из твоего карбюратора фриц решето сделал, а ты стоишь, ворон ловишь!

— А ведь и правда, товарищ сержант, не проверил я мотор.

— Обязанностей не знаешь! — строго сказал Семен Иванович. — Ну, давай быстрее! Десять минут тебе.

Крымов открыл капот, и голова его скрылась под ним. Сержант отошел на обочину и начал тряпкой драить сапоги. Солдаты в кузове о чем-то оживленно заговорили, делая вид, что забыли о Мельниковых.

Но отец с сыном понимали, что шоферу нечего делать под капотом, и им казалось, что тот томится бездельем, и что солдаты тоже ждут конца это-

го свидания, а Семен Иванович украдкой поглядывает на часы. И они молчали, подавленные и страдающие из-за своей немоты. Ведь надо столько сообщить друг другу, но для большого разговора нет времени, а коротко ничего не скажешь.

— А чего это у вас все усатые? — спросил Велик — молчать становилось уже невыносимо.

— А это потому, что мы гвардия, — охотно подхватил отец. — Решили, что вот, мол, гвардейцы должны отличаться, стало быть, усами.

Опять повисло напряженное молчание. Они смотрели друг на друга глазами, полными слез.

— Ну что ж, Мельников... — мягко и словно виновато сказал сержант.

— Николай, ты дай сынишке из фатерляндовских запасов! — Из кузова протянули туго набитый вещмешок.

— Вот же балда! — с досадой воскликнул отец. — Ну, конечно! Держи-ка, сынок. Во что бы тебе...

— Да отдай с вещмешком, ничего, — сказал Семен Иванович. — Добудем другой... Заводи! — крикнул он шоферу и полез в кабину.

Отец обнял Велика, прижал его голову к груди.

— Ты пробираться домой, сынок, — всхлипнув, прошептала он. — Мне писали: матери нашей и Тани там нет, я уж думал, все вышло... А теперь надежда появилась — может, и они где-нибудь вот так же, как ты...

Он поцеловал сына, вскочил в кузов и замахал оттуда пилоткой. И все солдаты прощально улыбались, что-то кричали, но в реве двинувшейся машины слов было не разобрать. Велик ответно махал рукой и смотрел вслед удалявшемуся грузовику, пока он не скрылся в клубе пыли. Повернулся, чтобы идти, и увидел рядом Манюшку, а за нею, чуть в отдалении, кучку комаровских ребятишек. Он подошел к ним и сказал Лявону:

— Вон кто мой отец, а ты как меня обзываешь?

— Ну... — стараясь скрыть смущение, промямлил Лявон. — Давно уже не обзывал. Целую неделю.

2

Дома устроили пиршество. Велик открыл банку мясной тушенки, банку рыбных консервов, открыл толстый кусок колбасы, достал целую буханку хлеба. А Варвара налила полную миску жирного супа. Оказывается, через Комары, пока ребята бегали в Чарнецы, проследовала военная часть, был тут у них привал на обед, и деревню кормили из полевых кухонь.

— Эх, не надо бы сразу так богато, — сказала Варвара. — Не выдохнут животы... Ну, да ладно, будем есть, каб нас усах раки зъели! Сягодні у нас свято. И коли похвореем брюхом — не беда. Фашиста vykлятого пережили, а это переживем.

Наелись до отвала — из-за стола долго не могли встать. Осоловели, как пьяные. Да и не хотелось расставаться с праздником. Так и сидели, перекидываясь редкими словами.

— Мне, тетя Варя, отец велел домой пробираться, — сказал Велик.

Варвара всплеснула руками.

— Да ён что, в уме? Мыслимо ли дело — малолетнему одному в такую дорогу?

— Ну уж, малолетнему, — обиделся он. — И не один я буду, с Манюшкой.

— Еще лучше — слепой слепого ведет! Самому дай бог добраться, да и куда она тебе?

Велик глянул на Манюшку, увидел ее ожидающие, молящие глаза.

— Ей тоже надо домой, правда, Манюш?

— Не бросай меня, — не сводя с него взгляда, прошептала Манюшка. — Я тебе... я... что скажешь, то и буду делать...

— Возьму, не бойся. На попутных доберемся до какой-нибудь станции, а там... Да мы не одни такие! Доберемся!

— Да что ж вы будете там, одни малые?

— Ну, что, что... Пахать, сеять... Землю населять надо. Выгнал оттуда фашист всех, не может же земля без людей... Да ты, тетя Варя, за нас не переживай — в своей хате и стены помогают.

— Да и хаты, мабыць, няма. Все ж небось разбито.

— Ну, и хату, значит, строить надо.

Варвара откинула седую прядь и заплакала.

— А, каб вас обоих раки зъели! Вы ж мне як родные стали!

Глядя на нее, заплакали и девочки — Манюшка и Яня. И Велик с трудом сдерживал слезы: больно было смотреть на Варвару — она стала совсем старухой, всего за одну неделю.

Только Лявон был спокоен. Исподлобья взглядывая на Велика, сказал:

— А хай едут. Все равно мы с ним не уживемся. Он мне мешает бригадой командовать.

Варвара замахала на него руками.

— Что ты, сынок? Да и досыть вам в войну играть. Вон сколько вас война положила в гушаре.

— Новые вырастут, — небрежно сказал Лявон. — Был бы командир, а бойцов он себе найдет.

— А, каб тебя Пярун спалив!

3

На бугре за деревней Велик и Манюшка, снаряженные по-походному, с сумками за плечами, распрощались с комаровской ребятней, что вышла их проводить. Отсюда хорошо виделись и деревня, и пойма реки, и Телятичи за нею.

Прощайте, Комары. Прощай, Усвейка. Прощайте, добрые люди, что не дали пропасть.

Тетка Варвара с Яней и Амелю проводили их до самого большака.

— Ну, лихом не поминайте. — Варвара достала из-под кофты маленькую кожаную ладанку, а из нее — легкие ажурные сережки, тускло поблескивающие позолотой. — Вот, Веля, это у нас в роду от века передается старшей дочери на счастье. Возьми, сынок, и коли придет такой час, что вот все, край жизни настал, то продай — сам спасись и ее спаси, — кивнула на Манюшку.

Велик протестующе вскинул ладони. Варвара недовольно прикрикнула:

— Да не дергайся ты! Считай, это тебе от Каролинки взаймы. Як минет лихолетье, вырастешь большой, то приедешь к нам и вернешь долг, чтобы Каролинка не осталась без счастья. Бачишь, якая Варка хитрунка — теперь тебе нельзя забыть Беларусь. Ды и разве ж, сынок, не за что ее помнить? Она ведь, як родная тетка, все поделила с вами пополам — и хлеб и слезы...

Глядя вслед удаляющейся тетке Барваре, Велик растроганно додумывал горькие мысли, освещенные теперь надеждой на далекую встречу.

Прощай, тетка Беларусь!

Нет, не прощай — до свидания.

г. Калининград.



«МЫ ВПЕРЕДИ—ЗА»



**ГЕННАДИЙ
АРИСТОВ**

Венский вальс

Стрельба прошла — фашисты кофе
пьют.
И я из вещмешка вытряхиваю
крошки,
Обед еще нескоро привезут,
А тут книжки «играют на гармошке»,
И ветер свищет, навевая сон,
Устапи страшно: за день три атаки...
Вдруг слышим: у фашистов — патефон
[Культурно развлекаются, собачки...]
Плывет передним краем «Венский
вальс»,
Его до нас доносит стылým ветром,
И гопос в рупор: «Рус Иван, сдавай!
Попючишь шокопад, унд шнапс, унд
сигарета».
Эх, не мешало б чарочку сейчас!...
Да закусить... Да подымить сигарой,
Да покружить под этот чудный вальс
С какой-нибудь смазливенькой
Тамарой...
На это и рассчитывает, гад!..
Но не найдутся среди нас такие,
Которые за шнапс и шокопад
Сдадутся в плен и продадут Россию.
Когда опять пластинка завелась
И в рупор гад затарахтел без пауз,
Я запустил гранату
в «Венский вальс»,
И пусть простит меня товарищ
Штраус.

В землянке раненые стонут

В землянке раненые стонут —
не уснешь...
Карболкой пахнет и коптилкой.
А за землянкой бой идет и... дождь,
И вновь несут кого-то на носилках.
Вторые сутки тут лежу в бинтах —
Никак на переправу не пробиться...
Везде сейчас затишье на фронтах,
А тут у нас второй Содом творится.
«Ну будя, паря, будя! Не стони.—
Усатый санитар ребятам байки
травит.—

Все будет хорошо... Болит, а ты —
усни.
А бой утихнет — всех вас в тыл
отпразднать.
Ну молодежь... Ну и шумной народ...
Эк невидаль — царапнуло немножко...
Вот гадов двинем — сразу заживет!
Еще в Берлине спляшем под
гармошну...»
Утих сосед мой. А в углу опять
От сильной боли (может быть, от
дури)
Какой-то в шапке кроет в пулю-
мать...
Как будто мать та заряжала пулю...
Находятся ж такие слабаки...
Разноются, когда и так несладко.
Я на носилки посмотрел украдкой:
Лежит майор без ног и без руки...
«Эй там, в углу!.. Скажите же ему...
А ну заткнись! Ты что один ут,
опух!!

Майору плохо. Воздуха б ему...»
И вдруг как заорет дневальный:
«Воз-дух!»
Армада «юнкерсов» — я знаю этот
бой —
Посыпала на нас свои фугаски.
Укрылся я шинелью с головой,
И все сошлось в какой-то страшной
пляске...
Рвануло рядом — ойкнула душа,
И в горле запершило, как от жажды,
И по землянке ветер пробежал,
Как будто смерть лошарила над
каждым...
«Ух, идиоты! Раненых бомбят...
Наверно, развлекаются по пьянке...»
Когда очнулся — никого ребят!
И стона нет. И нет самой землянки.
На месте том воронка и дымок...
Лежу один. Ни встать,
ни шевельнуться...
А дождь идет — я до костей
промок.
Так на войне живыми остаются...

Передний край

Четвертый день холодный хлещет
дождь,
А мы в окопах в эту непогоду...
В консервной банке доедаю борщ
И ею же вычерпываю воду...
Промок насквозь — в чем держится
душа.
И враг все бьет, взяв нас
полуохватом,
Боюсь, чтоб не заело ППШ,
Не подаели б намокшие гранаты.
Сосед мой справа ранен был вчера,
Соседа слева разметало в клочья.
Здесь павших не хоронят до утра,
А раненых выносят только ночью.
Теперь я за того и за того
Веду огонь. А враг-то вот он,
рядом,

НАМИ ВСЯ РОССИЯ...»

И между ним и мною никого,
Темнеют лишь воронки от снарядов.
Смотри не упusti, не прозевай!
Да самого чтоб пуля не скосила...
Через меня идет передний край:
Мы впереди — за нами вся Россия...



**АРОН
ВЕРГЕЛИС**

22 июня,
4 часа 10 минут

«В 4 часа 10 минут неожидан-
но раздался артиллерийский
выстрел, снаряд разорвался в
нескольких метрах от наших
палаток, в лесочке на краю
Бельского аэродрома, и сразу
же после этого до нас донес-
лась со стороны демаркацион-
ной линии стрельба нескольких
пулеметов...»

(Из моего дневника)

Демаркационная линия —
там где Брест и Бельск,
Еще продолжала границей быть
мирной.
Разведен на железной дороге рельс.
Но на Брест и Бельск смотрит ствол
мортирный.

Четыре часа и лишь девять минут.
Июня того сорок первого года
Двадцать второго числа.

Но живут.
Во мне уже близящиеся невзгоды.
Еще Бабий Яр может мирно спать,
Девятый форт и не ждет

расстрелов,
Жив мой отец, и жива моя мать —

Но сердце мое уже осиротело.
Всего лишь минута — и дрогнет мир!
Пока еще тихо.

Но в утренней рани
Безрадостно солнце взойдет над
людьми,
Потянутся годы невзгод и страданий.

Еще ленинградские дремлют мосты,
Но стужей блокадной чреват уже
воздух.

Крещатик покоен еще,
но кресты
Пожаров горят на его
перекрестках...
Четыре часа и лишь девять минут
Июня того сорок первого года
Двадцать второго числа.
Но живут
Во мне и Победы далекие восходы!
Минуты — что овцы:
взметнулся кнут.
Кроваво десятую отмечаю...
Еще только девять —
не десять,
не больше минут!
Но эта минута родит и Девятое мая!
Перевел с еврейского
Л. ТЕМИН.



**МИХАИЛ
НАЙДИЧ**

Карта

Но иногда, дыханье затая,
Я с прошлого срываю оболочку.
Вот карта. И на ней четыре точки —
Четыре места, где был ранен я.
...Куда впиталась кровь моя!
Скажи!

В донские степи летом загляни-ка,
Наверно, там такая земляника
В кустарниках, где были блиндажи!
Наверно, где-то там гречиха гнется,
На гривах золотых качая пчел.

Когда-то я внимательно прочел
Курганы эти, ерики, колодцы.
Когда-то все пылало здесь вокруг.
Друг бинтовал меня без проволочки.
Вот карта. И на ней четыре точки.
И пятая, где похоронен друг.

В одной траншее

Со мною в широкой траншее
В бою, когда полдень угас,
Был справа Иван Кривошеев,
Был слева Саенко Тарас.
Полчане! Ребята что надо!..





Вон танки чужие, беда,—
Летит им навстречу граната,
А чья — не считались тогда.
И дым, уставая клубиться,
В овраг забирался, на дно.
Мы пили из фляги водицу.
Из чьей? А не все ли равно!
Шли годы, как пули жужжали;
Нелегкий был все-таки путь.
Порою меня обижали,
Стараясь сильнее кольнуть.
Но жил я, душой хорошея,
Припомнив особый тот час,
Где справа Иван Кривошеев
И слева Саенко Тарас.

Школьные друзья

На Полтавщину еду, в дорожные места.
Вот подсолнух всей медью зажелтел
у моста.
Ворскла-речка сверкает, описав полукруг.
В белой хате за нею проживает мой друг...

Он берет папиросу, яркой зорькой омыт.
«Хорошо, что ты бросил эту дрянь!» —
говорит.
Мы уйдем за пригорок, непременно споем,
А потом он расскажет о колхозе своем.

Возвращаемся... Вишни! Целый вишечный
лес!
И скрипит еле слышно у парторга протез.
Мы вдвоем среди поля, где желтеют
стога.
Мы одни лишь остались из девятого «А».

В начале лета

В тот день Россия травы постелила
В начале лета, посреди войны.
Откуда ни посмотришь — с фланга, с тыла —
Везде вокруг нас пригорки зеленые.
Дыханьем боя душу опалило:
Повсюду лушки — огненная ласть.
В тот день Россия травы постелила
На всех местах, где раненым упасть...



НИКОЛАЙ
ГРАЧЕВ

☆☆☆

Гляжу на давнишнее фото:
Подтянутый, бравый, худой,
Мальчишка из маршевой роты,—
Какой же я был молодой!

На лбу — ни единой морщины,—
Еще не прошла борода,
И нет ничего от мужчины,
Лишь дерзость мальчишья одна.

В примятой для шика фуражке
На фоне ущелья и скал
Я снялся, жалея, что шапки
Фотограф мне не отыскал.

А как бы я вышел!.. Обидно!
Зато я его упросил
Так сделать, чтоб не было видно
Тяжелых армейских бахил...

О в куцых шинелях погоды,
И черные вести с войны,
И вы, башмаки и обмотки
Почти трехметровой длины!

Я в этой обуви елозил
В степи за рекою Ирғиз,
На тактике уши морозил,
И в клубе подсолнухи грыз,

И чистил на кухне картошку,
И нес за провинность наряд,
А письма писал у окошка
По просьбе кебритых солдат.

Я в тех башмаках не боялся
Ни грязи, ни снега с водой,
А сняться вот в них
Постеснялся...
Какой же я был молодой!

☆☆☆

Приснился мне двор заводской
В опоках, отливках и стружке —
За мелким ручьем, не рекой;
Приснилась девочка-подружка;
Приснился апрель,
Перерыв,
Скамейка у стенки кирпичной
И дня заводского мотив —
Звенящий, упругий,
Обычный.

Приснился мне корпуса гуд.
Высокая синь небосвода;
Приснилось — опилки плывут
По лужам,
Ликует природа!
Увидел себя я во сне:
В спецовке на солнышке греюсь,
Уже побывал на войне
И жить еще долго надеюсь.

И было тревожно в груди.
Немного тревожно и сладко:
А что там еще впереди! —
Мечтал я тогда без оглядки.
А было, о, было потом
Хорошего в жизни навалом:
И вечер над чистым листом,
И ветер, хватаемый ртом,
Походы на фильмы гуртом
И счастье,
Как ливень,
Обвалом...



НИКОЛАЙ
ЛЕОНОВ

АГОНИЯ

Глава 12

ПЕРЕСТУПИТЬ ПОРОГ

ПОВЕСТЬ

Рисунки
П. Караченцова.

Костя Воронцов занимался политграммой с поставыми милиционерами и сейчас составлял коротенький конспект. Занятия должны начаться через час, на двенадцать Воронцова вызвал сам Волохов, и, просматривая газеты за неделю, Костя решал, как отстоять свою позицию перед начальством. Воровская сходка назначена на восемь... Если даже Волохов согласится, то сразу спросит: а как на сходку пройти?

Костя выдвинул один ящик стола, другой, атлас с картами исчез бесследно. Костя с тоской подумал, что дотошные милиционеры припилят к стене политическую карту, а он в ней...

«Бесчинства фашистов в Риме. Кто такие? Расспросить Клименко,— записал Костя.— Муссолини легко ранен в нос, покушалась англичанка Гипсон... Муссолини там главный, а кто такая Гипсон? Узнать у Клименко. Италия внизу Европы — сапогом. В Лиге Наций — вопрос о разоружении... Везде стреляют, а они совещаются».

Костя отодвинул подшивку газет, вспомнил: на последнем занятии просили сообщить цифры о потерях во время мировой войны. Он начал листать блокнот, нашел неразборчивые каракули.

«Напились кровушки буржуи, больше мы им не позволим,— рассуждал Воронцов.— Политики ребятам хватит, перейду к текущему моменту нашей повседневной жизни. Тут они меня напоум начнут по башке засаживать. Почему да отчего? За что сражались? Совбур наглеет, опять у них шелка и жратва любая, а у нас пайка — только чтобы не помереть».

Печальные размышления Кости прервал Мелентьев, который, как обычно, деликатно постучал и сразу вошел. Сегодня субинспектор был начищен и отутюжен до ненатуральности. Пенсне и ботинки блестя, хоть зайчиков пускай, об складку брюк можно обрезать — так братишки в Кронштадте утюжили, — рубашка белая, в голубизну. «Хорош Иван — трудяга, честный, дело знает, но не наш он», — Костя осуждающе покачал головой.

— Политграмму поручили Клименко, а нас с вами просят на третий этаж. — Мелентьев вынул из жилетного кармана серебряную «луковицу» — часы, подаренные ему за безупречную службу еще до рождения Кости Воронцова. — Через семнадцать минут. Я полагаю, нам следует договориться. Любои начальник не радуется, когда среди подчиненных разнобой. Ему в таком случае решать надо, ответственность на себя брать, а этого ни один человек не любит. — Поддернув стрелки брюк, Мелентьев опустился в кресло.

— Я категорически против облавы, никто меня не убедит,— резко ответил Костя.— Прикажут, буду выполнять.

— Костя, смотри ты проще на наше дело. Взять с поличным — вот высший класс. Захватить сходку — это не взять с поличным, большинство ведь выпустим, однако припугнем...

— Я не хочу никого брать с поличным,— перебил Костя.— Хочу, чтобы преступлений не совершали.

— И только? Костя, Костя...— Мелентьев вздохнул.— Я же тебя к старой сыскной науке не тяну. Знаешь, как у нас любимчики работали? Чем преступника сильнее ударишь, тем он злее делается. Волна убийств, банки, как орехи, трескаются. Сыщик нужнее становится, дал результат — повышение и почет.

— Вот и говорю, чужой вы нам, Иван Иванович, хоть науку и понимаете. Мы обязаны из всех темных уголков людей повываскивать и к жизни нормальной приобщить.

— Ты представляешь, если они все явятся с повинной?

— Без куска хлеба боитесь остаться?

— Никогда, Костя, человек не прекратит совершать преступления.— Мелентьев взглянул мельком на часы.— Пока человек существует, будут нарушаться законы. Общество изменится, мораль, законы изменятся — станут нарушать и новые. Ошибка твоя заключается в том, что ты чужую работу хочешь делать. Воспитывать должны школы, университеты, книги, искусство и культура в целом. А мы с тобой преступников задерживаем и передаем суду. Каждый обязан хорошо делать свое дело, быть профессионалом, а не теоретиком.

Они поднялись на третий этаж, секретарша сдвинула выпинные бровки, ткнула одним пальцем в клавишу пишущей машинки.

— Занят,— и начала отыскивать нужную букву.

— Речи, наверно, ловко говорит. А она машинисткой хорошей должна быть. Ты, Костя, зуб рвать к врачу пойдешь или к идейно близкому товарищу? — спросил Мелентьев.

— У меня зубы,— Костя улыбнулся,— хоть на выставку.

— Тебе легче.— Мелентьев закурил и отвернулся.

Начальник отдела по борьбе с бандитизмом Волохов, седой и жилистый, с орденом Красного Знамени на застиранной гимнастерке, выслушал обоих внимательно, ни разу не перебил, смотрел, щурился, будто подмигивал.

Мелентьев был за облаву. Воронцов категорически возражал, считал, что должен идти он один, так как из-за двух-трех разыскиваемых, которые окажутся на сходке, озлоблять всех не резон.

— На сходке наверняка будет Сипатый,— сказал Мелентьев.— Возможно, и другие...

— Не исключено.— Волохов вновь взглянул на Костю.— Можем ли мы убийц на воле оставлять?

— А будут они там, товарищ Волохов? И кого возьмем, а кто прорвется? Сколько наших подстрелят или ножом ткнут? Сколько новых убийц мы сегодня родим? Молодняк-то перед стариками рогами упираться начнет. О сегодняшнем деле легенды сложат, «о павших за святую волю» петь на всех пересянках станут.

— Не агитируй меня, Воронцов,— неожиданно сказал Волохов.— Я давно тобой сговоренный. Однако на сходку одного не пущу, будем окружать. Готовьте план операции.

Корней тоже закрыл «совещание» — собирались уже в третий раз. И гости подались гурьбой на вы-

ход. В палисаднике остановились, Корней кивнул старику Савелию и Кабану, они убралась первыми. Когда круглая голова Кабана скрылась за булыжным горбом улицы, Корней взглянул на Хана.

— С богом, Степан.— Корней подмигнул.— В семь во «Флоре», я уже буду там.

Хан не ответил, будто и не слышал, подхватил изысканный кожаный саквояж и легкой походкой, небрежно помахивая тростью, словно родился в смокинге и котелке, в руках в жизни не держал ничего, кроме трости и саквояжа с серебряными монограммами, навсегда покинул резиденцию.

Митрий проводил его взглядом, присел на подгнившую поленницу, начал сворачивать цигарку. Курил он редко, добавляя в табак одному ему ведомое зелье. Корней глядел на него без злобы и превосходства, ценил за ум и безотчетно завидовал. Вот человек незаурядный, видел жизнь всякую, сейчас во дворе, как собака, живет и счастлив вроде. Митрию не свистнешь, не поманишь пальцем, свободный он, ничего ему не надо, мальцов бездомных грамоте учит, они его кормят, поят, как отца чтут. Известно Корнею, Митрий ни разу руку не поднял, голоса не повысил, а любой из его армии последнее отдаст и тем счастлив будет. В делах Митрий никогда не участвовал, оружия при себе не держал, хотя мог бы вооружить не один десяток лихих ребятшек. Каждый серьезный вор в Москве да и за пределами златоголовой знал отца Митрия, приходил за советом или за «пушкой». Встречал гостей бывший священнослужитель по-разному. Одно — и выслушает, и посоветует, и то, о чем просят, даст, и денег не возьмет; иного, который и маркой выше, не слушает даже. «Иди, раб божий,— скажет,— не у дел я, стар, умом слаб, оружие нехристино и не видал никогда. Иди, бог тебе судья». И люди уходили молча — просить без толку, осерчать может; старец же обладал силой незаурядной, а его байстрюки могли свернуть в бараний рог самого отчаянного, любого из-под земли достать.

— Чем меньшим ты обладаешь, тем меньше обладают тобой,— подводя итоги своих рассуждений, произнес Митрий. В палисадничке были только он и Корней.

— Вкушающих тебя останови, когда ты наиболее сладок,— сказал Корней.— Я отдам Сипатому власть, пусть наслаждается.

— Глупости и суета, кончилось ваше с Сипатым время, не будет вскоре воровского мира, рассыплет новая власть вас, как горох по столу, каждого отдельно, и разделит злаки от плевел.

— Где они злаки-то найдут?

— Ищущий да обрящет,— ответил Митрий, поглаживая бороду и усы.— Среди воровского мира, полагаю, восемь на дюжину совсем безвинные, на пропитание себе тянут, не более.

— А четыре оставшихся? — спросил Корней.

— Те разные, есть, как мы с тобой, конченные.— Митрий вновь огладил бороду.— Некоторые в крови, тех власть не простит. Чего я тебе политграмоту читаю, ты сам, Корней, умнее умного. Ты зачем сюда старого Савелия позвал? Он же сейчас к Сипатому спешит — торопится доложить о слышанном.

— Для того и позвал, чтобы Сипатый с Одесситом знали: Корней их вызов сопливый принял и на сходку придет.

Митрий засопел тяжело, откашлялся. Неясна ему игра Корнея, а когда чего не понимаешь, молчи.

— Дарья! — крикнул он.— Напитесь принеси!

Даша из дома не показалась. Митрий сделал жест: мол, сейчас вернусь,— поднялся по ступенькам, шагнул в горницу и столкнулся с Дашиными

глазами. Большие, светлые, зеленоватые, они упирались прямо в Митрия. Вспомнил он, как однажды шагнул неразумно через один порог и напоролся на наганы жандармов.

— Даша, — Митрий перекрестил девушку, — бог с тобой! Не бери в голову, все сбудется. — Он напилсь прямо из ведра и вышел.

Даша слышала, как ухнули тяжело ступеньки, и тогда вынула руку из-под фартука, разжала ладонь, снова перечитала записку: «Даша, будь другом, пройдишь сегодня в шесть вечера по Пассажу. Тебя будет ждать Костя».

— Костя, — прошептала девушка.

Записку Даша нашла прямо посредине стола, когда проводила гостей, — она была наколота на вилку. Бумага серая и мятая, с жирными пятнами. Даша, как заправский сыщик, осмотрела горницу и нашла лист, от которого оторвали угол, приложила записку — линия разрыва совпала.

Кабан, старик Савелий, Корень, Хан и отец Митрий. Корень отпадает, на него и охота. Кабан и Хан в сторону, уголовка с убийцами любовь не крутит. Остаются Митрий и Савелий. Одного можно взять на совесть, другого на страх. Старик за свою дырявую шкуру продаст бога, черта и мать с отцом. Не станет Костя с ним дела иметь. Да и не хватит у Савелия духу вот так, на глазах у компании, бумажку оторвать и черкнуть несколько слов, и «будь другом» старому хрычу ввек не придумать. Значит, отец Митрий. И выходил он последний и возвратился напиться. Как он сказал? «Не бери в голову, все сбудется».

А если не так все? Если Корней проверяет и записка от него? Тот же Митрий, который знает про Костю, и шепнул Корню? Проверяют Дашу-Паненку — пойдет в Пассаж, значит, амба. Сходке девчонку выдадут, позабавятся досыта — и в ножи.

Даша в который уже раз прошла мимо Пассажа, поглядывая украдкой на людской водоворот у входа. Люди отчаянно толкались, рвались в помещение и еще более зло, обвешанные коробками и свертками, выпихивали себя обратно. Казалось, главная задача каждого не столько пройти, сколько толкнуть соседа, доказывая, что здесь он единственный и главный, все для него, остальные затесались сюда по случаю и незаконно. Солидная публика Пассаж обходила стороной, поднималась по Петровке к Столешникову, где обычно встречали улыбчивые приказчики, даже сами хозяева, где двери стеклянные до голубой прозрачности, колокольчики с голосами услужливыми.

Даша боялась, оглядывалась, проверяла, чисто ли за ней, хотя отлично понимала, что слежку Корней ей в жизни не засечь. А Костя, если он ждет, не может видеть ее, — ведь он там, за вертящейся толпой.

Было пятнадцать минут седьмого, когда Даша совсем уже решила войти, но ноги сами пронесли мимо. Неожиданно лихач на дутиках не справился с норовистым рысаком, тот, хрипя, пошел боком, пролетка с поднятым верхом наехала колесом на тротуар, толпа взвизгнула и шарахнулась. Даша хотела отпрянуть вместе со всеми, но кто-то сзади подсадил ее в пролетку, сильная рука втянула девушку внутрь, Даша упала на пыльное сиденье. Рысак выровнял ход, опустил голову и рванул. Даша хотела крикнуть, но сухие крепкие губы перехватили звук, припечатали к ее губам... Когда Костя Воронцов чуть ослабил объятия, Даша вяло ударила его по лицу и зарыдала.

Пролетка куда-то летела. Даша плакала уже без-

звучно, Костя обнимал ее, ласково поглаживая по плечу, и молчал. Все кончается, и слезы тоже. Даша посмотрела на Костю, на его крутой лоб, нос торчком в конопушках, пухлые, не мужские губы и внезапно разозлилась. И этот парнишка собирается тягаться с Корнеем, Сипатым и всей деловой публикой, записочки шлет, каких-то неизвестных ей подсылает!

— От нервов у меня, нача-альник, — нараспев сказала она. — Чувствительная я, как вспомню отца с матерью и всю свою кошмарную жизнь, неуютно становиться. У тебя, начальник, случаем, выпить не найдется? — Она хотела вывести Костю из себя. Простота и душевность — показуха, манок для малолеток. Волк он, как и Корней с Сипатым, только из другой стаи, рядится, комедию ломает.

Костя достал из кармана плоскую фляжку, отвинтил крышку, предупредил:

— Осторожней, Даша, спирт. — Подтолкнул кучера в спину. — Витек, у тебя вроде бы яблоко было.

Витек вытащил из кармана яблоко и, не оборачиваясь, бросил в пролетку. Костя ловко поймал, обтер ладонью, кивнул.

— Со свиданьем, Даша.

Она крупно хлебнула, выдохнула привычно, хрунула яблоком.

— А ты? — спросила, увидев, что Костя фляжку прячет.

— Нельзя мне. — Он достал часы.

— А ты, милоч, никак опаздываешь?

— К батюшке на вечернюю службу, — ответил Костя. — А тебя, Даша, я сейчас к хорошему человеку отвезу.

Даша откинулась на спинку сиденья, рассмеялась. Костя не обратил внимания, думал о том, как-то встретятся Анна Шульц и Даша. Идея отвезти Паненку на квартиру к Мелентьеву принадлежала Косте. Субинспектор лишь пожал плечами: он не ночевал дома с момента переселения туда Анны, и ему было безразлично, кто еще разместится в его квартире.

Пролетка давно свернула с Петровки и тряслась по булыжникам узких переулков.

— Я арестованная, начальник? — спросила Даша.

Костя взглянул на девушку, вспомнил ее смех, почувствовал неладное.

— Никто тебя не арестовывал, — сказал он. — А ты по совести-то как, свободная?

Даша выпрямилась, швырнула на мостовую надкусанное яблоко, потом медленно проговорила:

— А вы, начальники, сход у Веремея Кузьмича никак брать собрались?

— Решаем, — слукавил Костя.

— А, ну-ну, решайте. — Даша притворно зевнула. — Умные вы просто до ужаса. А Корней простой-простой, как кадет-первогодок.

— Место сменили? — Костя взял Дашу за руку. — Обяза-ательно, — ответила Даша, растягивая гласные.

— Где? Даша, где? — Костя посмотрел на часы, раздумывая, успеют ли они перевести людей.

— А ты куда меня везешь, начальник? — Даша взглянула кокетливо. Она не могла решить, что ей делать дальше и открывать ли новое место сходки.

— Катаемся, Даша. — Воронцов не хотел торопиться — пусть девушка освоится. — Костей меня зовут, будь ласкова. Что изменилось с нашей последней встречи?

— Будто знал, что я Паненка?

— Позавчера узнал, — признался Костя, вздохнул.

— Доложил?

— Доложил. — Костя кивнул. — Дисциплина, Даша.

— А я воли хочу... — Даша осеклась и спроси-

ла: — Это как же ты отца Митрия перевернул? Ссучился на старости лет монах, решил грехи замаливать?

— Никак я этого слова понять не могу. Змеей бы звали, скорпионом либо другой тварью. А то собачьей матерью? Отважная и преданная животина...

— Философ! — Даше захотелось сделать ему больно. — Тебе своего парня-то не жалко? Как же ты Николая-Сынка под нож сунул? Сам бы пошел, раз ты такой принципиальный...

— У нас, когда надо, каждый пойдет.

— Куда?

— На сходку, которую Корней с Сипатым сейчас собирают.

— Шутник ты, Костя. — Даша искренне рассмеялась. — С твоим мандатом тебя до первого ножа пропустят.

— Ты проведешь.

— Я? Полагаешь, коготок увяз — всей птичке пропасть? Я так сильно взбеленилась, убить их была готова, сказала тебе, дура. Так ведь ты и сам знал, коли Митрий-то...

— А о смене места не знал, — перебил Костя. — Спасибо, что предупредила.

— Я нового места не знаю, — солгала Даша, дернула плечиком.

— Знаешь и меня проведешь, иначе я сейчас сообщу начальству, и мы без тебя узнаем, где и когда. Тогда облава... — говорил быстро Костя, а сам думал, где узнать и как связаться с Сурминым. В любом случае уже не успеть, надо идти самому. — Лучше, если ты меня одного проведешь.

— Вот так? — Даша оглядела Костю — гимнастерка с орденом, фуражка, откровенно милицкий вид.

— А чего рядиться? Меня и в лицо многие знают. — Костя сжал Даше ладони и продолжал решительно: — Ты слушай, не встречай. Мы же такого момента упустить не можем? Ясно. Либо облава, либо ты проведешь меня одного. Во время облавы побьем людей с обеих сторон.

«Ну и давай! — хотела крикнуть Даша. — Пулями и огнем выбейте, выжгите». Она лишь вздохнула, не ответила.

— Людей жалко, я решил идти один. Проведешь меня ты. Ни одного человека в засадах не будет, разойдутся, как пришли. Ты мне веришь? Я слово тебе даю, Даша.

Она поверила, но не поняла. С кем и о чем говорить? И если не будет охраны, то его жизнь плевка не стоит. Так и сказала.

— Жизнь, Даша, любая многого стоит, и моя не меньше иных. За себя не бойся, я объясню, что ежели бы ты меня не провела, то готовилась облава. Ты многим жизнь спасешь, а люди те ее очень уважают.

— Я и не боюсь! — Даша вскинула голову, посмотрела как могла гордо, но холодок подполз к самому сердцу и не исчезал. Знала Даша о благодарности деловых людей: «Привела, и амба, остальное цветочки-лютики».

— Пушку дай. — Даша протянула руку. — Люди договорились без оружия приходить.

Костя вынул маузер, погладил любовно, толкнул кучера в спину.

— Возьми, Витек, береги — именное, дорожное ордена.

Кучер кивнул, взял пистолет, спрятал за пазуху.

— К Саратовскому вокзалу¹, — приказала Даша, и всю долгую дорогу молодые люди молчали.

У вокзала они вышли, кучер придерживал рысака,

взглянул на Воронцова, хотел что-то сказать, но Костя опередил:

— Двигай! — Он махнул рукой. — Пистолет Мелентьеву отдай.

Пролетка рванулась. Даша долго смотрела ей вслед, затем обернулась к Косте.

— Не одумался?

— Нужно переступить порог. — Костя взял девушку под руку.

Прав был Костя Воронцов или нет, он решил: сегодня они переступят порог. И для кого из них этот шаг важнее, еще неизвестно.

Корней занял кабинет не шикарного, однако вполне приличного ресторана «Флора», расположенного в старом, хорошо сохранившемся особняке в Брюсовском переулке. Корней здесь бывал лет двадцать назад, рассчитывал знакомых не встретить, но и швейцар, распахнувший перед ним тяжелую дверь, и официант, принявший короткий заказ, поклонились с одинаковыми словами:

— Давненько, давненько, рады видеть в здравии...

Корней взглянул из-под полуопущенных век, определил, что это не костюму сказано и не чаевых ждут, а действительно помнят. Он знал, что швейцар был когда-то замазан в налете с мокрым концом, а официант в молодые годы в эти кабинеты карты гастролерам-исполнителям подавал и с тех денег поставил себе домик на Потылихе.

Все знал Корней, одно плохо — его тоже многие знали. И хотя тешили самолюбие Корнея поклонны, но сегодня лучше бы их не было.

Хан вошел, отдал лакею котелок и трость, сел, налил и выпил молча. Затем вынул из саквояжа блокнот, остро отточенный карандаш, положил рядом с блокнотом листок с планом, который дал ему ранее Корней, и сказал:

— Был я в этом заведении, взглянул. — Он стал ловко чертить схему. — Неплохо ты нарисовал, да не совсем точно. Есть там в углу жестяная коробка «Сан-Галли», знаю я ее, дел минут на пятнадцать.

— Деньги заберут только завтра, так что у тебя ночь, Степан, — предупредил Корней.

— У меня? — Хан резко черкнул по своей схеме. — Я один пойду?

— А тебе свидетели нужны или делить хочется?

— Так ведь пост на улице, и сторож внутри, — ответил Хан.

— Милиционер — твоя забота: ты по товарищам специалист. Один за душой или два, нет разницы. А сторож будет спать. Это моя забота. — Корней наблюдал за Ханом внимательно. Сторожа усыплять Корней не собирался, рассудил просто: когда Хан постового пришлет и окажется в помещении, отступить будет поздно.

— Сколько в ящике? — спросил Хан.

— Около трехсот кусков.

— Поровну. — Корней рассмеялся тихо, но Хан даже не улыбнулся. — Ты только наводчик.

— Я Корень.

— Потому и поровну, так бы получил десять процентов.

— Ты мне нравишься, Хан. — Корней взял с диванчика портфель, открыл. Хан увидел толстые пачки червонцев. — Казна людская, сто тысяч Сипатому отнесу, пусть заберет. — Хан молчал, а Корнею так хотелось, чтобы подручный возмутился, начал задавать вопросы. Хан только плечами пожал, Корнею пришлось говорить без аплодисментов публики: — Савелий-мухомор, конечно, Сипатому доложит, что я согласен быть. Сипатый решит, будто я

¹ Ныне Павелецкий вокзал.

вола кручу и сорвусь, а он власть без боя получит. Я же на сходку явлюсь и хрусты,— он стукнул по портфелю,— на стол! Пусть Сипатый возьмет казну и власть, а я погляжу, как это у него выкрутится. Он давно людям шепчет, что Корней деньги общества по земле рассыпал.

Хан наконец улыбнулся, кивнул, хлопнул Корнея по плечу вроде легко, но отдало в самый копчик.

— Контора и сейф на тебе. Сипатый и люди на мне,— подвел итог Корней.— Все поровну,

Глава 13

СТАЯ

Даша с Костей прошли мимо Саратовского вокзала, на башне которого часы показывали ровно семь. Наступил вечер, на привокзальной площади вяло продолжалась торговля, становилось все меньше приезжих. Они, совершив сделки и покупки, разбредались по чайным и закуочным, частным квартирам и гостиницам, спешили занять скамейку на вокзале, на худой конец угол в зале среди мешков, баулов и плачущих детей.

Площадь постепенно захватывали аборигены. Замазав на лице следы вчерашних подвигов, припудрившись и распространяя запах парфюмерии, появились первые девочки. Местные авторитеты мужского пола выросли на «своих» углах, в подворотнях, завоеванных деньгами, интригами или ножевым ударом, поглядывали друг на друга кто с презрением, а кто и заискивающе. Привокзальная площадь не была ни чистилищем, ни даже предбанником, просто здесь начиналась территория деловых людей. И лес не начинается с тропы — сперва трава, кустики малые, отдельные деревья, полесье, в котором и заяц — зверь, а уж лиса — так страшный хищник.

Костя впервые шел с Дашей под руку без стеснения, он был на работе, вел себя как считал нужным. Костя будто стал выше, курносый профиль не казался смешным, глаза под густыми бровями — Даша раньше и не замечала, какие у него красивые брови, — стали спокойными и уверенными. Кожанка обливала его крутые плечи, на груди орден, мягкие хромовые сапоги на тонкой подошве, без дешевого скрипа тускло поблескивали.

Выползающая из дворов приблатненная публика не знала Паненку и Воронцова, на прогуливающуюся пару посматривала с настороженным интересом. Костя настолько походил на чекиста или сотрудника угро, что никак не мог быть им в действительности. «Заезжий деловой», — сообразили зрители, — под начальника работает, только железку нацепил зря... Лучше не рисковать», — решили на площади и потянули к молодой паре всякий интерес.

Переулок, который вел к рынку, поглядывал на площадь своим подслепватым глазом. Фонари здесь били столько раз, сколько их устанавливали, и власти сдались. «Хотите жить в темноте? Живите, черт с вами! Посторонний человек к вам в гости и спяну не зайдет». Только молодые перешагнули невидимую черту, с тротуара раздался голос:

— Подайте бездомному калеке, Христа ради... — Первый постовой воровского схода сидел на деревянной тележке, был действительно без ног.

— Выпей за здоровые рабы божьей Дары и раба

божьего Константина, — ответила Даша и, нагнувшись, чтобы показать лицо, положила в шапку приготовленные два серебряных рубля. — Гость со мной, Кликуша.

— Идите с богом, — ответил тот и чуть погодя два раза свистнул.

— Неплохо. — Костя кивнул. — А он тут всегда сидит?

— Обязательно, — с гордостью ответила Даша, — неужто мы липовать в таком деле будем? — И замолчала, почувствовав неожиданно единение с этими таившимися от света людьми и стыд, что ведет им такого «гостя».

Переулок поворачивал, на углу их уже ждали. На скамеечке парень с девушкой лужгали семечки и равнодушно целовались. У парня на коленях лежала потертая гармошка.

— Угощайтесь. — Девушка стряхнула с губ шелуху, протянула пригоршню семечек.

— Благодарствую. — Даша взяла два семечка, одно отдала Косте, и они благополучно прошли дальше. Гармошка за спиной сентиментально всплакнула и замолкла.

Из подворотни вынырнули две детские фигурки и неслышно двинулись следом.

«А нам у них еще и поучиться можно, — думал Костя, — ведь один неверный шаг или слово — сигнал подадут, и в трактире, где должна быть сходка, только столы да стулья останутся. А прирезать тут нас легче легкого».

Позади шаги убыстрились, маленький парнишка обогнал их и, подгадав, у светившегося на первом этаже окна остановился перед Воронцовым. Костя увидел любопытные и испуганные глаза, понял, что его узнали, вспомнить имя мальчишки не смог и сказал:

— Сбежал из детдома, оголец? Думаешь, тут тебе орден дадут? — Он провел пальцем по еще не отросшим волосам. — Степаных знает, что я буду, так что ты свою бдительность притуши.

Парень стоял, засунув руки в карманы, смотрел презрительно.

— Эх, Воронек! — Он сплюнул в сердцах. — Орден надел, а идешь-то куда? Продался, значит, Воронек?

— Еще столько денег не напечатали, оголец. — Костя дернул его за нос, нарочно сделав больно.

Парнишка ойкнул, схватился за нос. Даша тихо рассмеялась, страха не было: какая разница, где их определяют, здесь или там?

— Завтра на Цветной к двенадцати подойди. — Костя взял «стража» за ухо, отвел с дороги. — Разговор имею.

Уже стемнело, покосившийся забор Зацепского рынка, казалось, наваливался на непрощенных гостей. Торговые ряды опустели, кое-где копошились темные фигуры, пахло навозом, деревней, всхрапнула и переступила лошадь. Даша с Костей шли неторопливо, уверенно, дорогу в трактор оба знали хорошо. Рядом взвизгнуло, посыпались искры, блеснуло длинное лезвие ножа — работал запоздалый точильщик.

— Не порежешься в темноте, дядя? — весело спросила Даша.

— Мы привычные, — равнодушно ответил мужик, пробруя лезвие ногтем и не поднимая головы.

Даша молча протянула ему два семечка, мужик бросил их в жестяную кружку и сказал:

— Идите с богом.

Только приглядевшись, Костя заметил за спиной точильщика темные фигуры и подумал: «Силой отсюда не вырвешься, перехватят. И смотри, как хитро задумали: если ту лавочку с гармонистом ми-

новать, а обойти стороной можно, то сейчас без подсолнухов мы около «точильщика» застряли бы плотно». В который уже раз Костя убедился: облава результатов бы не принесла — первый сигнал, и сходка ушла бы, как вода сквозь сито. А где зацепились, там ножами, двое-трое на одного из-за угла. Мелентьев предлагал пройти внутрь и брать с двух сторон. Как пройти? Его, Костю, одного сама Даша-Паненка проводит уже через четвертые двери.

— Молись, начальник. — Даша указала на одноэтажное здание со светящимися окнами.

Костя оглянулся, увидел криво написанную вывеску «Починка модельной и какой хочешь обуви», подошел к мастерской, отпер своим ключом дверь.

— Заходи, Даша.

Костя зажег свечу, керосинку, поставил чайник. Даша наблюдала за ним, сидя на табуретке.

— Значит, Мартын тоже леревертыш? — Она криво улыбнулась, стала некрасивой и жалкой.

Костя не ответил, взглянул в окно — к трактиру приблизился человек, обернулся, скрылся за дверью.

— Мартын на царской каторге с моим начальником в одной связке ходил. У меня давно ключ от этой лавочки. — Не мог же Костя сказать, что мастерская используется в оперативных целях.

— А ты чего здесь остановился — подштанники сменить?

— А вдруг Корней еще не пришел, Даша? — Костя обнял девушку за плечи. — Лучше позже, чем раньше.

Он вытащил из кармана пузырек, разлил в кружки, плеснул воды — запахло остро и незнакомо.

— Чего это?

— Валерьянка, нервные употребляют, для внутренней стойкости. — Костя взболтнул своей кружкой и выпил. — Гадость.

— Дрейфишь, лучше водки стакан, — сказала Даша, тоже выпила, тряхнула головой. — Отрава.

Костя не ответил, сел на табурет у окна, наблюдал за трактиром. И вновь увидела Даша в Косте Воронцове силу и мужицкую статью, тяжеловатую и неброскую. Она подошла, легонько обняла его, оперлась грудью на его плечо. Костя погладил ее руку, боднулся ласково, будто телок, не повернулся — был он там, у желтых подслеповатых окон трактира.

— А откуда ты знаешь, пришел уже Корней, нет ли? — Даша отстранилась.

— Не знаю я, ничего не знаю, Даша... Отдохни, говорить неохота, одному побыть необходимо, умишко свой в кулак собрать. Я ведь, Даша, на воровской сходке на новенького. — Он говорил монотонно, словно сам с собой.

Даша опять подошла к Косте и севшим голосом прошептала:

— Чем ты меня взял, каким дурманом отравил?

— Я тут с краю, Даша, — печально ответил он. — Ты сама с собой разобраться не можешь. Неправду и зло чуешь, а правду и добро признать не хочешь, гордость не дает боль и обиду забыть. А меня ты не любишь, Даша, и в голову не бери...

— А ты меня любишь? — перебила она. — Ты, большевик, меня такую возьмешь?

Костя обернулся, взглянул на девушку. В тусклом пляшущем свете керосиновой лампы Даша стала еще красивее, глаза зеленые светились, она казалась нереальной — то ли ведьма, то ли фея. Костя вытер пот, кашлянул, проверяя, не пропал ли голос, сказал:

— Ты меня пощади, Даша. Мне сейчас сил надо много, а взять негде. — Костя улыбнулся жалко,

будто боль проглотил, и вновь стал смотреть в окно.

Даша неожиданно вспомнила: в девятнадцатом, еще пацанкой, где-то под Краснодаром видела, как офицеры расстреливали морячка. Когда стволы поднимались, он распахнул бушлат, словно не пули ждал, а девочку любимую, сказал громко, тоскливо:

— Силы бы мне сейчас! Силы!

Даше долго потом этот морячок виделся... Сейчас она тихонько спросила:

— Чего же ты людям говорить станешь? Да и знаешь ли, сколько твоя жизнь на сходке стоит?

— Цена везде одна, а определять не мне. Как прожито, столько и нажито. — Костя встал, проверил, ладно ли застегнул воротничок, одернул кожанку, глядясь в оконное стекло, причесался.

Корней пришел, однако остановился за портьерой, и сидевшие в зале его не заметили.

Столы были сдвинуты, образуя букву «п», видно, собравшимся очень хотелось придать своей сходке вид пристойный и официальный. Накрыли столы богато, но никто не ел, пили только квас, хотя большинство «депутатов» были пьяницами отчаянными, а некоторые откровенно голодные.

Мест было около ста, собралось человек сорок, и расселись через одного, в «президиуме» развалились Сипатый, четыре стула рядом были свободны. Одессит и Ленечка сидели по углам главного стола.

Корнея через заднюю дверь впустил хозяин заведения, который к воровским делам никакого отношения не имел, краденое не принимал, однако из-за местонахождения трактирчика и его абсолютной незащищенности в вечернее и ночное время отказывал в просьбе «справить именины» не посмел. Корней стоял за портьерой, оглядывал «собрание», видел широкие плечи и седой затылок Сипатого и думал о жизненной суете, несбывшихся мечтах, мерзости происходящего и еще большей мерзости, которая предстоит.

С кем воевать? Серьезных людей тут по пальцам перечесть, но казна — сто тысяч, деньги громадные, а возьмет Хан сейф, нет — еще неизвестно.

Расчет Корнея был прост: казну оставить за собой — сходке больше не собраться, уголовный розыск да и сам Корней не позволят. Схода нет, ответ не перед кем держать. Одно плохо, все это и Сипатый сообразил, потому, рискуя, свою шкуру дырявую на сходку и притащил. Навел бы уголовку на него Корней, за Сипатым грехи немалые, да не знает, где тот в Москве засел.

— Корень — человек уважаемый, слова не скажу, обещал быть. — Сипатый повернулся к старику Савелию, подморгнул.

— Обещал, обещал, — запричитал Савелий. — Люди засвидетельствуют, истинную правду говорю. — Он указал на Кабана и отца Митрия.

— От Корнея обещаний и не требуется, он казначей наш, он должен прийти. — Голос у Сипатого был низкий и красивый, в песне, наверно, хорошо слышится. — Сто тыщ Корнею дадено было, деньги солидные. — Он оглядел людей, которые не ели, не пили, зато папирос и сигарок не гасили — дым тяжело слоился над столом, как над полем битвы.

Большинство людей и не знали, зачем сюда пришли: риск один, толку никакого. Кассу, которую хранил Корней, собрали для помощи бежавшим и на организацию побегов. С удачных дел отчислялась доля, которая, пройдя через многие руки, попадала к Корнею. О гостинице «Встреча» для солидных гастролеров знали немногие, и разговора Сипатого, его цели почти никто не понимал. Выпить, поесть

волю, спеть душевное, одного расцеловать, другому морду набить — это сход, а сейчас вроде лагерного собрания, начальник спецчасти говорит, а ты знай помалкивай.

— Судить Корнея не могу, не выслушавши, — продолжал Сипатый. — Он в деньгах отчитаться должен. Но раз не явился, полагаю, люди, что кассу нашу у него требуется забрать...

— Что там осталось-то? — срепетированно подал реплику Ленечка.

— Что осталось, то и забрать, — встрял Одессит. — Самого — по обычаю нашему... — Он чиркнул большим пальцем по горлу.

— Кассу пополнить, — дрожащим голосом вступил старик Савелий, — обществу денюжки необходимы. Кто в беду попадет, дите с молодой оставит, на хлебушек-то требуется.

— Ежели люди разрешат, — перекрывая возникший говорок, сказал Сипатый, — с Корнеем я разберусь, а на новую кассу скинемся по способности. — Он вынул из кармана пачку денег, бросил на стол небрежно. — Три тыщи.

— Две, — выложил деньги Одессит.

— Восемьсот, — подбавил Ленечка.

Митрий ковырял в зубах, усмехался. Многие полезли в карманы. Парень с землистым цветом лица не сводил глаз с розовой ветчины, отщипывал от куска хлеба, жевал тщательно.

Сипатый мигнул Ленечке, тот поднялся легко, взял пачку червонцев, ловко пересчитал, подошел к парню, разложил перед ним хрустящие купюры.

— Пятьсот, Кузя. Расписки не берем, мы не Корней.

— Это — дело! — Старик Савелий хлопнул в ладоши. — На полной мели Кузя, ему очень требуется.

Кузя погладил деньги, взять не смел, проглотил корочку хлеба, пристал, поклонился неловко. Ленечка, худой и жилистый, придавил Кузю жесткой ладонью.

— Не за поклон даем, не на бедность. — Он стрельнул взглядом в Сипатого. За столом одобрительно зашумели, раздался голоса:

— Вот это по-нашенски...

— Люди должны помогать...

— Ежели каждый положит... а возьмет пятьсот...

— Верно, — довольно прогудел Сипатый, — он ждал такой реакции. — Общество страдать не должно. Эти хрусты, — он хлопнул по деньгам, — пожарные, их на большую беду держать надобно. Вы лучшие люди делового общества. Ну, как бы сотники в ратном войске. — Сипатый знал, какую струну дернуть, люди расправили плечи, подняли головы. — У Пугачева, скажем, или у Стеньки Разина в войске дисциплина была — обиженных поддержать, захребетников к ногтю. Ты, Кузя, безвинно был у дяди на пороках, возвернулся пустой, получи. В Сокольниках обитаешь?

— В цвет, Сипатый, — восхищенно откликнулся Кузя.

— Там наших порядком наберется, да и изпмачи жиреют. Я тебя над ними старшим назначаю, буржуйам передай: сход решил за их животы десять кусков получить. — Сипатый заметил, да и другие тоже, как Кузя деньги, лежавшие перед ним, тихонечко отодвинул. — Не дадут? Скажи, сам приду, возьму не десять, так сто, с женами и девками...

— Добрый вечер, люди! — Корней дождался, когда Сипатый выложил на стол козыри, и вышел из-за портьеры к свету. — Не десять, так сто, да с женами и девками. — Он, как сумел, рассмеялся. — Батяга замашки, так орда нас топтала. — Элегантный и подтянутый, похожий на икостранца, Корней про-

изводил впечатление, несколько человек даже встали. — Сидите, люди, все равны. — Корней бросил на свободный стул шляпу, трость и портфель. — Извините, припозднился я. — Он взглянул на Сипатого с насмешкой, потом на лежащие на столе деньги. — Корень деньги общества попер, а вы восполняете? Хорошее дело. — Корней стоя налил из графина в большую рюмку, поднял. — По русскому обычаю! Налили мгновенно. Сипатый, Одессит и Ленечка молчали: остановить людей уже было невозможно.

— Со свиданьем, деловой народ! — Корней выпил, тут же снова наполнил рюмку, поднял ее, глядя, как глотают, не прожевывая, не дыша даже. — За дорогих гостей! — Он кивнул Сипатому и подручным. — Они прибыли в стольный город на променаж, а нам с вами тут жить. Со здоровьем, дорогие гости. — Выпил, переждал, пока люди на закуску бросятся, и продолжал: — Сейчас закусим, чем бог послал, дела обождут. А пока скажу, уважаемые, не случалось на Руси, чтобы гость уму-разуму хозяина учил.

Люди ели, смотрели на Корнея с благодарностью, и хотя он понимал прекрасно, что Сипатый верно пить не давал, вдруг сыграл против — пусть пьют. Корнею от них лишь эти пять-десять минут поддержки и нужны, дальше он сам разберется.

Старик Савелий вобрал седую голову в плечи, не ел, не пил, на дверь и взглянуть не смел, понял, в чужую попал, прикидывал, как выбраться теперь. Отец Митрий, как сидел, откинувшись вольготно, так и не двинулся, махнул лишь водки стакан, взял щепоть капусты квашеной. Он лениво думал, что Сипатый сер и глуп, затея его с оброком пуста изначально. Нэпман при Советской власти уголовникам копейки не даст, навестит милицию, мелкое же жулье лишь на водку и марафет тянет, золотушники и другие люди имущие не пришли, Сипатый денег не получит, конец ему. Корней людям еще по рюмке разрешит и гостей на ножи бросит.

Корней выдержал паузу точно, налил снова, когда жулье первый голод утолило, — получилось, что пьют по его, Корнееву, приказу, однако он поднять рюмки не позволил, свою отставил и быстро сказал:

— Зенки на меня, уважаемые! — Он выставил на стол портфель, открыл замки, перевернул, и пачки червонцев в банковской упаковке выросли горкой рядом с тощенькими стопками Сипатого и его дружков. — Казна ваша, сто штук, до грошика. А расходы у меня были, — Корней положил на деньги бухгалтерскую книжку, — и немалые. Клим, ты от дяди ушел? Валет, твою бабу с пацанами два года кормили? — Он не давал людям ответить, скороговоркой перечисляя, кому на что передавались деньги. На самом деле Корней не имел к этим делам отношения, но жизнь воровская путаная, водкой залита, марафетом одурманена. Кто что помнит? — Встаньте, люди, прошу вас. Я, Корней, прошу. А ты, — Корней смахнул со стола рюмку Сипатого, — сиди. Ну что ж, выпьем за товарищество, за веру нашу друг другу.

У чувствительных выступили на глазах слезы. Когда все выпили, смотреть на Сипатого, Одессита и Ленечку никто не мог.

Сипатый рванулся к двери, вытаскивая на ходу наган, но налетел на Костю Воронцова, который ловко у бандита наган выхватил и ударил рукояткой по голове. Сипатый упал, остальные застыли на местах.

— Нехорошо, граждане, — спокойно сказал Костя, разрядил наган. — Договорились прийти без оружия, и я свое под подушкой оставил. — Он бросил наган на стол, патроны швырнул в угол, они безобидно зашлепали, как простые камешки.

— Воронок! — выдохнул кто-то.

— Воронок — тюремная машина. — Костя подозвал к столу Дашу. — А меня зовут Константин Николаевич Воронцов. Я один пришел и без оружия, как договорено. — Он для убедительности провел ладонями по кожанке. — Поговорить с вами хочу. Василий Митрофанович, Семен Израилевич, — обратился Костя к Ленечке и Одесситу, — поднимите друга-то, усадите, вроде ему нехорошо...

Ленечка и Одессит вскинулись, подняли Сипатого, голова его свисала безжизненно.

— Придуривается. — Костя усмехнулся. — Прохоров, Коля Ломакин, — повернулся он к двум крепким парням, сидевшим с краю, кивнул на Ленечку и Одессита. — У них пистолетики-то заберите, неловко: мы, как порядочные, а они при пушках.

Ленечку и Одессита обезоружили мгновенно, походя надавали по мордам и, по примеру Воронцова, патроны кинули в угол, а оружие на стол. Все происходило так быстро, что никто не успевал задуматься, чьи приказания выполняют, как появился Воронцов на сходке и с какой целью. Корней подумал, успел и, хотя решения не принял, сдаваться не собирался. Положение его было более чем щекотливое, доказанных преступлений за ним после амнистии не имелось, но на глазах у всех подчинялся мальчишке он не мог. Слишком долго, ценой многих жизней Корней свой авторитет растил, чтобы вмиг потерять весь до последней капли.

— А вы, гражданин, при вашей солидности и кристальной честности, пистолетик сдадите добровольно. Так красивше будет. — Костя смотрел на Корнея серьезно.

Корней кивнул, вынул браунинг, наставил на Костю и выстрелил. Пуля почти чиркнула по волосам Воронцова.

— Стрелять умеете. — Костя тронул ладонью волосы.

— Сядь пока, товарищ начальник, — сказал Корней. Указав Даше на место рядом с собой. — Ты провела?

Даша, не отвечая, прошла вдоль стола, села рядом с отцом Митрием.

— Водку не пить, молчать, — тихо отдавал команды Корней. Костя налил себе квасу, выпил, снова налил. — Маслята собрать, сопли подтереть.

Подняли разбросанные патроны, зарядили наганы, теперь на Костю смотрел не один ствол, а четыре.

— У меня предчувствие — доживу до глубокой старости, — изрек Костя и вновь хлебнул квасу.

— Один предчувствовал, совсем чувствовать перестал. — Корней хмыкнул, скривился в улыбке. — Зачем пожаловал?

— Поговорить, — ответил Костя, — пока оружие не разрядите, слова не скажу.

— Окружили? Тебя не спасти. — Корней оглядел собравшихся. — Не дадимся товарищам? Пробьемся? — Не дадимся!

Отвечали неуверенно, но отвечали, первый хмель прошел, лица, повернутые к Косте, твердели, щелкнули ножи.

— Облава... милиция... пробьемся... — шелестело над столом. Шваркнули по полу подошвами, подались вперед. Стая готовилась к броску.

Эх, не так все у Кости Воронцова складывалось, все поперек.

В это время из небольшой гостиницы, расположенной в переулке за кинотеатром «Арс», показалась мужская фигура, застыла у чугунной решетки. Тишина. Где-то таякнула спросонья собака, стукнули на булыжной мостовой колеса пролетки.

Хан отодвинул решетку, взглянул на неподвижного сторожа, который, обнимая винтовку, как пьяный деревцо, мертво привалился на ступеньках особнячка. Хан набалдашником трости сдвинул котелок на затылок, подумал недолго, поставил элегантный чемодан, который вынес из особнячка гостиницы, подхватил тело с винтовкой и спрятал в помещение. Через несколько минут Хан вышел на Арбат и остановился у афишной тумбы, пестревшей афишей:

«Пат и Паташон в последней, небывало оригинальной комедии «ОН, ОНА и ГАМЛЕТ».

Авто, которое должно было его ждать здесь, не было, и Хан, прекрасно понимая, что выглядит сейчас последним фразером, неслышно выругался. Не успел он закончить витиеватое выражение, как за углом хриловато стукнул мотор и из переулка, отдуваясь, выкатился некогда лакированный автомобиль. Хан вспрыгнул на ходу.

— Ты к шлюшке на свиданку можешь припоздниться, — захлопывая за собой дверцу, рыкнул Хан. — Костогрыз.

Шофер лишь пожал плечами и поехал переулками к улице Воровского. Не мог он ответить, мол, опоздал, потому что выполнял приказ Корнея и следил за Ханом от самого ресторана, видел, как был «снят» часовой, засек время, слышал в помещении крик и, наконец, стал свидетелем последних действий «героя». Машину держать в переулке было нельзя, мало их сейчас по городу катается. Пока он добежал до своей колымаги, завел, подкатил к «Арсу», еще и отдышаться не успел.

Шофер все это не сказал, знал, кто сидит сзади, лучше дюжину оскорблений проглотить, чем один раз этого парня разгневать. «Хан идет по человеческой крови, как посуху, — думал шофер — старинный приятель Корнея, выполнявший его поручения раз в год, а то и реже. — Если ты деньги взял, то жить тебе осталось самую малость».

И человек, даже не слышавший никогда слово «жалость», достал из кармана тужурки фляжку, молча протянул назад. Хан взял ее — в машине остро, перебивая бензин, запахло спиртом, — кашлянул глухо и сказал:

— Передай, что зашли в свою, однако у меня с ним разговор будет. Он поймет, придержит...

Шофер начал притормаживать. Хан ловко выпрыгнул на ходу, скрылся в ближайшем дворе и сквозняком вышел на Гоголевский бульвар.

Шофер развернулся и погнал машину к Саратовскому, где через час должен был принять самого Корнея.

Костя небрежно откинулся на спинку стула и, положив ногу на ногу, оглядел всех равнодушно. Он понимал: показной беспечностью здесь не удивишь, с толку Корнея не собьешь. Пытаясь удержать готовых к броску людей, объявил:

— Никакой облавы нет, я пришел один и без оружия. Чего испугались?

— Врешь, — убежденно произнес Корней, и многие, соглашаясь, кивнули.

— Я поймал Паненку у Пассажа. — Костя еле выговорил Дашину кличку, но сказать надо было ясно и коротко. — Я предложил ей на выбор: или облава, или она проводит меня одного. Даша, я знал время и место сходимки?

— Знал! — звонко ответила девушка. Жизнь Кости Воронцова висела даже не на волоске, а парила в воздухе.

— Многим из вас Даша спасла жизнь, другим — свободу, — быстро подхватил Костя. — Прорваться

было бы не просто,— продолжал он, понимая, что облава и близко бы не подошла, выставленное уголовниками охранение предупредило бы вовремя, и собравшиеся ушли бы проходными дворами и квартирами, как вода уходит в песок.— Канализационные люки мы закрыли еще вчера...

— Значит, закрыли? — повысил голос Корней.— Это для того, чтобы ты, сучья душа, мог прийти и поговорить с нами? Просто так, о жизни? Люки закрыли, а облавы нет? По его следу идут, и он тянет время. Он ждет и тянет время! Ты, девка, навела...— Он направил пистолет на Дашу.

Но стрелять Корней не хотел, не мог он стрелять ни в Дашу, ни тем более в Воронцова. При всех взять на себя убийство — стопроцентная вышка. Надо, чтобы их убили другие, сейчас же,сию минуту. Даше он уже не верил, а кровь этих двоих спаяла бы воровской сход крепко-накрепко, до гробовой доски. И не сбудется пророчество отца Митрия, не рассыплется деловой мир, не отделить товарищам злаки от ллевел. Напуганные содеянным, все окажутся в руках Корнея, и посочится к нему доля с дел и делишек, и имя его вновь зазвучит, авторитет станет крепче гранита.

— Кирилл Петрович,— обратился Костя к очнувшемуся Сипатому.— Яков Шуршиков по кличке Корней с семнадцатого года дел воровских за собой не имеет и снова чужими руками хочет кровь пустить и кровью той свой дутый авторитет среди вас подкармливать.

Не столько смысл сказанного повесил тишину, а названные Костей имена и фамилии, которые не знали или давно забыли...

— А нам приемы Корнея давно известны, начальник,— ответил Сипатый, стрельнув взглядом в Одессита и Ленечку.

— К примеру скажу, что за вами, Кирилл Петрович, магазин со сторожем на Мытной числится, доказано, и ответите вы по всей строгости советского закона,— весело сказал Костя. Чувствовал: перехватил инициативу, не упустить бы.— Гордон Семен Израилевич, которого вы Одесситом прозвали, по конторе товарищества Злопещного деньги народу задолжал. Тебя,— он указал на Ленечку,— Сухов Василий Митрофанович, глаза бы мои не видели. Крестьянин. Отца с матерью обокрал, корову и двух лошадей на ярмарку свел, деньги проиграл и пропил. Хорош? — Костя оглядел сходку.— Деловой? В законе? Ножевой удар в Марьиной роще? Знаю, девочка жива осталась, но кровь ее тебе не простим. Ответишь, Ле-енечка,— по-блатному, нараспев, насмешливо сказал Воронцов, повернулся к Корнею и развел руками.— А вы, неуважаемый гражданин Шуршиков, чистенький. Железочку в руках держишь. Незаконно? Да, однако мелочь, и доказать трудно. Моя бы власть,— Воронцов встал, одернул кожанку,— так я тебя своими руками на осине повесил бы. Только прав у меня таких нет. Жаль. Ну, Яков Шуршиков, докажи при людях, что ты Корней — Корень. Не прячься за других, стреляй. Сколько я уже с вами калякаю? Кто по моему следу идет? Где облава? Стреляй, Яшка! Жизнь одна и у меня и у тебя.

Никто не только не ел и не пил, курить давно перестали, судорожно сведенные пальцы разжались, ножи легли на стол, кто-то бросил пистолет, он брякнул о дерево и застыл.

— По справедливости рассудил, начальник,— сказал Сипатый, усмехаясь.— А не жаль тебе за такую падлу умирать?

— Жаль, Орехов. Но этих людей,— Костя кивнул на собравшихся,— и сотни других, обманутых, еще больше жаль.

— Разреши, отец? — взвизгнул юноша с бледно-синюшным лицом безнадежного наркомана.

Вряд ли он понял Воронцова, но навел на него брошенный кем-то пистолет, потому что человек был явно виду милицейского, и самого Корнея, которого столько лет мечтал увидеть парень, оплывавали, как последнюю падлу. Леха-маленький втянул голову в плечи и смотрел на Корнея с ужасом, не понимая, как он несколько месяцев кряду помыкал самим Корнеем и унижался перед швейцаром Петром.

Сидевший неподалеку отец Митрий недовольно заворчал и опустил широкую ладонь на дрожащую руку наркомана, прихлопнул пистолет, сгреб, сунул в карман. Корней сдержанно рассмеялся, пистолет продолжал крутить между пальцами, другой рукой перебирал высыпавшиеся из портфеля пачки денег. Вел он себя без показушности, спокойно, на Костю поглядывал изредка, казалось бы, доброжелательно.

— Ты сядь, не суетись. Гляди, от запала и страха раньше времени помрешь.— Корней махнул рукой на Костю пренебрежительно.— Верю, один пришел, нет с тобой никого. А вы, сявки,— он медленно осмотрел сходку,— пушки, раз так, положите и ножички свои маникюрные тоже.— Корней выждал, пока его приказ выполнят, и тихо-тихо рассмеялся.— Полегчало? Мир вам, сявки, и добрую тачку до конца дней. Гражданина трогать не велю, он мой. Я его и вас всех сейчас судить буду. Кабан, Маленький, сядьте рядышком, чтобы не встречал комиссар.— Кабан и Леха-маленький молча сели возле Кости, стиснули тяжелыми плечами. Корней, чувствуя, что вожжи перехватил, добавил: — Девку к нему пристегните.

Чьи-то руки вытолкнули Дашу, она привычно огрызнулась, ее ударили сзади по голове, девушка качнулась, и Костя сам поддержал ее, усадил рядом. Вышло все для Кости Воронцова скверно, пришли вдвоем, сели вместе, и столом, как стенкой, от людей отделились, да еще двое по бокам, будто на стоящий конвой. Взглянешь только на Паненку и Воронцова — что виновны, понятно, а в чем и как, Корней определит. И хотя обидел сильно Корней воровской люд, однако, освободив от решений и, главное, действий, души всем облегчил.

— Мудр, Корней, истинно Корень,— насмешливо пророкотал отец Митрий, огладил бороду и только хотел мысль продолжить, как Корней вмиг его подрезал:

— Тебе благодарен, Митрий, не дал огольцу стрельнуть.— Умен он был, Корней.— Моя это пара.— Он неожиданно широко перекрестился.— Виноват, люблю девку. Не спасет тебя моя любовь, Дарья.

— Свободная я! — Даша вскочила, Кабан повис на ее плечах.

— Была свободная, продала,— перебил Корней, глянул на воров открыто зло, голос придержать перестал.— И вы продали, сявки. Забирайте.— Он указал на деньги.— Вору? Люди свободные? Суки продажные.

— Корней!..

— Молчать! Последний раз с вами говорю, сапоги лизать будете, уйдя и не вернись. Этот,— Корней кивнул на Сипатого,— пришел, пролаял, и вы поварили, что Корней с казней людской сбежал. А Сипатый вас, стоеросовые, своим оброком бесприменно бы с товарищами в открытую свел. А годите вы в открытую против уголовочки? Что от вас осталось бы, умницы? А где герой? А герой из Мо-



сквы давно подался, с казной вашей, по крохам собранной. Отжил ты свое, Сипатый. Не был никогда настоящим вором и умрешь, как сука.— Он поднял пистолет, Сипатый сполз на пол, захрюкал, запахло от него остро. Соседи отодвинулись. Послышались шутки, блатные и матерные словечки. Корней пальцем поманил парня Кузю, которому Сипатый деньги дал. Кузя, покачиваясь, подошел, ошарашенный едой, водкой, деньгами, непонятным, что творилось вокруг. Корней вложил ему в руку пистолет, кивнул на стоявшего на коленях, обделавшегося Сипатого и сказал:

— Разрешаю. Должок.— Он похлопал по карману, где лежали деньги Сипатого.— Прощаю, твои деньги. Твои...

Костя было вскинулся, Даша одернула:

— Сейчас себя защищать будешь, Воронок. Нравятся тебе загнанные в угол?

Парень уже выстрелил, Сипатого под смех и шутки уволокли за порог. Корней схватил всех за глотки, как одного, он шел ва-банк, сам сдавал, сам открывал карты, объявлял, у кого сколько, втемную.

При виде короткой расправы над «королем» блатные словно опрокинули по солидной чарке. Все разом заговорили, выпячивали груди, пытались взять на голос. По обрывкам фраз, которые бестолково вертелись над столом, можно было подумывать, что собрались кровопийцы и вурдалаки. Чужая смерть сильно опьянила людей, они поглядывали друг на друга вызывающе, а на Дашу и Воронцова — ожидая сигнала хозяина.

Кузя, который на глазах у всех стал убийцей, помахал пистолетом картинно, а когда смотреть на него перестали и каждый занялся собой, положил оружие на стол и назвал его тихонько отпихивать под руку Корнею. Тот, наблюдая за происходящим



и ловя момент, чтобы вовремя натянуть вожжи, пистолет взял, исполнителя откинул в сторону, будто того и не было.

— Соплив ты против Корнея,— притиснутая охраной уголовников к Воронцову, прошептала Даша.— Сейчас эти загнанные в угол на нас бросятся.

Костя пытался поймать взгляд отца Митрия, пожалуй, единственного человека, который в этом содоме оставался спокойным и на чью помощь можно было рассчитывать. Митрий из-под густых бровей глянул раз и отвернулся. Отчаянную, но безнадежную борьбу вел он сам с собой. «Вся дорога твоя через грязь, и конец ее в сточной яме, Дмитрий Степанович,— разжигал он себя, пытаясь подняться и отбить ребят у Корнея.— Не только двум молодым людям смерть, всей сходке петля, коллективную казнь готовит Корней — Иуда Искариот. Один на один сцепиться с Корнеем не бояз-

но, а на сходке, которую он уже захватил и в кармане держит,— чистейшее безумие. Так не два будет трупа, а три.— Митрий чувствовал, как поглядывает на него Корней испытующе, нюх у него собачий.— Так и умру я тихонечко за своими бочками одинешенек, огольцы мне сегодняшний вечер не простят, молодые сердца жалостливые и суровые. Раз Воронцов с Дашей через посты шли, значит, сейчас уже вся моя армия знает, что Костя Воронок здесь. Может, шепнуть Корнею, пусть поостережется?» И уже поднялся Митрий, кашлянул в бороду, когда мягкая рука коснулась его плеча, повернулся бывший дипломат университета и оказался лицом к лицу с Корнеем.

— Ты, Дмитрий Степанович, сам принимал.— Корней взял его под руку, повел к дверям.— Иди с богом, ни к чему тебе быть свидетелем людской мерзопакостности.— Вывел за порог и добавил гром-

че: — Посветите на дворе, как бы не споткнулся благочестивый.

Костя видел, как отца Митрия вывели, Корней вернулся мгновенно, за столом снова выпивали, и ему то было на руку.

— Я не дамся, не дамся, — шептала Даша. — Не жизни жалко, такого конца не хочу, мужик ты или нет?

У Кости от напряжения почему-то свело скулы, как заклинило, и говорить он не мог. «Обидно, Даша посчитает меня трусом, — сторонне думал Воронцов, вглядываясь в лица, ища выхода, единственного возможного решения. — Может, переключусь — и пробьемся?» Он прикинул расстояние от двери, шевельнул плечом жирную тушу Кабана, привалившегося слева. Тот мгновенно схватил огромной вонючей ладонью Костю за лицо:

— Не дыши, грязь!

Зал сотрясало от хохота и визга. Едко обожгло Костю сухие губы, челюсти разомкнулись, он понял, что сможет говорить, а от запаха и омерзения в голове неожиданно стало чисто и ясно. Однажды, когда его контузило и врач пользовал его нашатырем, Костя уже испытал такое чувство: то ли проснулся, то ли с того света шагнул назад, в жизнь. Он спокойно оглядел окружающих, серые лица и оловянные глаза. Вспомнился Коля-Сынок, глаза ясные, голубые, до краев наполненные страхом. «Корней не проведи, не губите людей, назад не пойду», — говорил Коля в ту ночь. Воронцов с Мелентьевым парня уговорили. И он пошел. Костя как сейчас помнит его тонкую, изящную фигуру, мелькнувшую под фонарем и растаявшую в темноте, затем оттуда запоздало донесся его звонкий смех. Долго Воронцов не мог понять, что означал и что напоминал смех смелого и по-русски бесшабашного парня, теперь сообразил — так смеется Даша Латышева, знаменитая Паненка.

Сейчас она не смеялась, щурясь, словно кошка на свету, поглядывала на мужчин с ненавистью. Костю она забыла — парень оказался, как все они, пустой. «Мужики, мужики, — думала Даша, — кто вам поверит или пожалеет, тот и дня не проживет. Поодиночке из любого кружева наплету, а когда вы стадом, водкой и кровью смазаны, как ухватиться?»

Костя не находил решения. С момента убийства Сипатого прошло минут пять, не более. Корней уже словно за поводок держался, готов был крикнуть: «Ату! Фас!» Вот-вот будет поздно, необходимо опередить.

— Время, дети! Мне пора, — четко сказал Корней, и Костя Воронцов опоздал. — Вот ваши деньги. — Он собрал со стола червонцы, брошенные в начале вечера Сипатым и его подручными, сунул их в карман, а пачки червонцев, вывалившиеся из портфеля, подвинул к центру. — Забирайте, делите, я вам не Корень. Будете делить — глотки друг другу не переврите, сявки.

— Чтобы Корень сто тысяч отдал, да ни в жизнь, — прошептала Даша.

— Брось, Корень!

— Не отпускай!

— Сход уважай! — раздался голоса, притихли. Стало трезвее, звякнула посуда.

— Где сход? Кого уважать? Кто не пустит? — Корень оглянулся, он явно ломал комедию, уходил не собиравшись. — Сначала вы за той падалью бросились. — Он кивнул на дверь. — Потом и того хуже. — Корень повел глазами на Воронцова. — А вы знаете, за кем он сюда явился? За мной, за Корнеем. Уголовка на вас всех... Я им нужен. «Стреляй», — сказал он. Ясное дело, Корней стреляет, а все в

стороне. Они одного парня мне уже подсунули, подмел я его. Савелий, Леха-маленький, было дело?

— Было, я и определил, — пискнул старик.

— Было, — рыкнул Леха. — Схоронили.

— Значит, Корней они в горячей крови утопят и под вышку подведут, а вас метелкой, как окурки с полу. Невиновные вы... Ну, кто за кражоночку, другой за скупочку, получит мелочишку на бедность, иные же, неразумные, встанут на светлый путь.

— Брось, Корней, — неожиданно перебил лобастый мужик средних лет, одетый чисто, по-городскому. — Ты голова, не скажу, но людишек забивать ни к чему.

— Извини, Емельян, — Корней согласно кивнул, — с сердца я, бывает. Как мальчишка — в него плюнули, а он в ответ шибче. Бывайте, люди. Удачи. — Он поклонился на стороны и шагнул к двери.

— Стой, Корней, сход не отпускает тебя. — Емельян, подбадриваемый репликами, поднялся. — Люди выбрали, уважай нас.

Корней стоял в своем строгом английском костюме, с офицерской выправкой, мял в руках белоснежный носовой платок и поглядывал из-под тяжелых век грустно и осуждающе.

Возбужденные водкой и кровью люди притихли, смотрели на Корнея с надеждой, словно дети малые на отца, который собрался бросить их. Паузу он выдержал до предела, когда струна напряжения готова была лопнуть, сказал:

— Подойди, Емельян.

Того поднесли Корнею чуть ли не на руках и отхлынули, оставили одних.

— Я тебя уважаю, и ты меня пойми, — тихо произнес Корней. — Здесь, считай, сорок душ, каждый меня в личность запомнил. Уголовка на хвост наступит им — хоть одна сука найдется?

Емельян переступил с ноги на ногу, кивнул и согласился:

— Непременно отыщется.

— И этот, — Корней чуть заметно повел бровью в сторону Воронцова, — теперь по моему следу бросится, всю свору спустит. Они своих не прощают, сам знаешь.

Емельян поглядел на воров, на человека из уголовки и девчонку, стиснутых угрюмой охраной... «Один? — подумал он. — Святая простота ты, Корней. Да за твою душу свой грошовый срок помянуть тут с десяток отыщется».

— Я не так глуп, как ты, Емельян... — Корней помолчал, — ...думаешь.

— Они, — Емельян указал на Дашу и Воронцова, — не выйдут отсюда, и никто, никогда, Корней, твоего имени не назовет, даже в кошмарном сне.

— Круговая? — умышленно громко спросил Корней. — Сами решайте, я от дела в стороне.

Емельян вынул нож, поднял его и спросил:

— Ну? Докажем Корнею, что мы не сявки?

Водка, недавно пролитая кровь, оскорбления, стыд и страх друг перед другом превратили людей в стаю гиен, готовых оторвать каждый по куску и не зная, кто убил. Все убили, а все — значит, не я один. Плотное кольцо окружило Дашу и Воронцова. Кабан и Леха-маленький шарахнулись из круга — зарежут по горячке. Перекошенный страхом, злостью на себя, на этих двух, которые еще живы, и из-за них приходится мучиться, один толкал другого, высовывал свой нож, рвался вперед, чтобы никто не подумал, что он испугался, спрятался за чужую спину.

Кольцо сжималось, Костя обнял Дашу, закрыл ее спину ладонями.

— Нет! — Даша вырвалась, подняла голову. — Ну, кто первый?

Действительно, одновременно к жертвам могло приблизиться лишь пятеро-шестеро, остальные оказались сзади. Быть первым никто не хотел, последний шаг не сделали, застыли.

Костя видел лишь глаза и ножи, нападающие почему-то пригнулись, передние чуть ли не встали на четвереньки, и из-за их голов там, в конце стола, открылся Корней. Привычно склонив бледное лицо, он укладывал пачки денег в портфель, на убийство-казнь не смотрел.

Костя пронзительно свистнул, рассмеялся громко. И настолько этот смех был искренен и неожидан, что преступники подались назад, передние спинами надавили на задних, руки с ножами сплелись, мешали друг другу. Начин Костя Воронцов убеждать или, того хуже, пригрози возмездием, кинулась быстая, растерзала.

— Червонцы-то у вашего Корнея, — сказал он весело, — из банка Семена Пулячкина.

Это был известный всем мошенник-кукольник, изготавливающий банковские пачки из двух настоящих червонцев и резаной бумаги.

Все невольно взглянули на Корнея, который, уже чувствуя себя победителем, самую малость расслабился, нападения не ожидал, вздрогнул, не нашел быстрых слов.

— Сам повешусь на стропиле, — Костя указал на балку под потолком, — если хоть одна пачка настоящая. Ай да воровская казна! Деньги общества! Интересно, где настоящие?

Толпа, да еще смоченная водкой и кровью, хуже балованного ребенка, настроение ее шаткое, непредсказуемое. Ну, казалось, убивать решили, руки занесли, при чем тут червонцы? Но, во-первых, убивать каждый боялся, когда до края дошли, выяснилось, как ни крути, а кто-то ударить должен первым, во-вторых, внимание переключилось и отсрочка выискалась.

А Костя Воронцов передыху не давал:

— Корней за дверь, а вы, лопухи, эти «куклы» бумажные делить начнете! Картина! Эх, одним глазком взглянуть бы! Ребята! — Он растолкал всех, отпихивая ножи, словно картонные, однако порезался и, по-детски посасывая ладошку, подошел к столу. — Вы деньги поделите, а потом я для вашей потехи удавлюсь. Посмешим друг друга вволю, жизнь коротка!

— Истину говорит! — перекрывая гвалт, заявил отец Митрий, появившийся в дверях.

Корней, прижимая к груди портфель, попытался, пачка червонцев вывалилась на пол. Ее подхватили, цепкие пальцы рванули обертку, раздался стон, будто все до сей минуты происходящее забавой было, а вот беда пришла.

Бумагу, ровно резанную бумагу сжимали перед своими лицами люди и не могли насмотреться. И ведь деньги те своими никто не считал, о деле же разговор окончился, заберет Корней казну воровскую назад, и баста. Так горе-то в чем? В чем горе, спрашивается? Нет, не было и не будет!

Но стон перешел в рычание, стая повернулась к Корнею. Он швырнул портфель, спокойно поднял пистолет и тихо, отчетливо сказал:

— По местам, сивки. — Не поворачиваясь, шагнул к двери и попал в объятия отца Митрия.

Только один Костя Воронцов и понял все — стараясь успеть, перелетел через стол. Уже в воздухе Костя услышал выстрел; когда опустился на пол, отец Митрий валился на него, тяжело и безвольно. Хлопнула задняя дверь, лишь тогда уголовники опомнились, в вихре замысловатого мата, отпихивая друг друга, они бросились за Корнеем.

— Даша, подмоги. — Костя не мог удержать шестипудовое тело.

Подскочил Емельян, Даша подхватила за ноги отца Митрия, уложили в углу на диван, хотя по розовой пене на бороде и усах видели — поздно.

Костя Воронцов кивнул, сказал про себя невнятное, сел за чистый угол стола, подвинул почти нетронутое блюдо с холодцом, налил два бокала квасу и позвал:

— Дарья, садись.

Хлопали двери, бесцельно метались люди, где-то в углу дрались. Руки у Даши дрожали так, что она не могла до рта донести.

— Водки, — хрипло сказала она. — Ну, я тут кого запомнила, посчитаемся.

Костя налил граненую рюмку, графин отставил.

— А сами? — спросил наблюдавший за ними Емельян. Смотрел без лести и подбострастия, с уважением.

— Я же на работе, Акимов, — ответил Костя. — Ты ребят кликни, хватит в горелки играть, разговор имеется. И чего там дерутся без дела, уже минуты три, — он аккуратно намазал большой кусок холодца горчицей, — а все на ногах, будто бабы. Деловые, обсмеешь на вас... Вот такие дела, граждане, — сказал Костя, когда всех снова усадили за стол. — Войско ваше сильно поубавилось, что не свидетельствует о большой смелости. Приезжих, вижу, нет, Чувакина, Смелкова...

— Знает он нас всех...

— Фамилию, имя настоящее...

— Во-первых, вы моя работа, — оборвал Костя Воронцов, — исправный мужик дело свое должен досконально изучить. — Он покраснел, так как последнюю фразу нахально позаимствовал у Мелентьева. — Во-вторых, не всех... Вот тебя не знаю... Тебя... — Костя указывал пальцем.

Уголовники переговаривались, обсуждая происшедшее, в основном смелость Воронка и подлость Корнея. О двух трупах почему-то никто не вспоминал, а того, что Костю с Дашей не резали по случайности, просто в памяти ни у кого не осталось.

Костя ударил кулаком по столу и встал.

— Мне с вами ля-ля разводить некогда! Сходку вашу объявляю у меня в Москве последней! Блатное ваше объединение вне закона...

— Как при царе-батюшке, больше трех не собирайся? — спросил Емельян, усмехаясь.

— Я пока о тебе забыл, Акимов, не гниви...

— Я не забыла! — Даша вскочила, ее звонкий голос заставил замолчать всех. — Запомнила вас... ребяташки.

Костя положил ей на плечо руку. Даша шарахнулась в сторону, глядела бешено.

— Посчитаемся! — Хлопнула дверь, скрипнуло за порогом и стихло.

— Корнея поймано, теперь на нем кровь, — воспользовавшись тишиной, сказал Костя. — Он убил Дмитрия Степановича на ваших глазах. И вы... — Костя проглотил несколько слов, — расскажете об этом на следствии ясно и четко. Покойный ваш Сипатый дрянной человечиска был, но о Корнее говорил правду. Тот лишь чужими руками, вашими, к себе загребал.

— А парень твой, Воронков?

— Коля-Сынок где?

Костя Воронцов отвернулся, не ответил.

— Сынок иной человек решил, — тонко откликнулся старик Савелий, прячась за чью-то спину. — Степка-Хан.

— Тронулся, старик? — Кабан со скрежетом почесал щеку. — Хан тебя щелчком перешибет.

Савелий захищали.

— Через часок ни Корнея, ни Хана в златоглавой не сыщешь...

— Вы, граждане, непропитыми остатками мозгов покрутите, может, какая мысль и выкрутится, — сказал Костя. — Грехи за вами невеликие, в суде люди решают. Простить насовсем кое-кого не простят, а явитесь с повинной, учтут. В законе нашем советском об этом факте явки с повинной ясно сказано. Думайте. — Он откинул стул, шагнул к двери, остановился. — На секунду прикиньте, зарезали бы вы девчонку и меня! Сны свои каждый в отдельности жевал бы... Совесть там и другое, вам неведомое, тоже оставим. Я вас на самом краешке остановил... Ведь дальше для вас не жизнь была бы, а ужасный кошмар, до могилы и психушки.

— Корней!

— Он довел!

— Нет! Вы сами друг перед дружкой себя довели. — Костя взял со стола пистолет, сунул в карман.

— Две пушки Ленечка с Одесситом унесли, — под-сказал кто-то.

— Карету я сюда пришлю. — Костя взглянул на лежавшего отца Митрия, на его мертво торчащую бороду. — Сукины дети! — Он вздохнул тяжело и повысил голос: — Кузя? Ты где, убивец? Пойдем в тюрьму, завтра адвоката тебе приставим. — Костя Воронцов оглянулся, разыскивая Кузю, которому Сипатый подарил деньги, а Корней вложил в руку пистолет. — Я его только видел вроде. Неужели сбежал, паршивец?

— Кузя! — Емельян шагнул к противоположному концу стола, где сидел Кузя, опустив лохматую голову в тарелку. — Нажрался мальчонка.

Емельян хлопнул его по плечу, и «мальчонка» завалился на бок и упал со стула. Костя подбежал, нагнулся — по сатиновой грязной рубашке, пропечатавшая ребра, расплзлось и уже подсыхало черное пятно.

— В сердце...

— Ленечка...

— За Сипатого, — сказал Емельян.

— Да? — Костя побледнел, губы его, обычно пухлые, истончились и стали серыми. — Значит, месть? Воровской закон? А деньги где? Ищи деньги, падла! — Он влепил Емельяну пощечину.

Здоровенный мужик от такой пустяковины даже головой не тряхнул, опустился на колени и послушно обискал труп. Денег, конечно, не было.

— За несколько дареных червонцев... товарища своего... Люди!... — Костя Воронцов приподнялся на носки, по-птичьим склонил голову, бормоча: — Мальчишка на волю вышел третьего дня... — и шагнул за порог.

Иван Мелентьев уже второй час толкался у Саратовского вокзала, с безнадежной тоской поглядывая в черную глотку переулка, где исчезли Костя и Даша.

Кучер, который их вез, проследил до этого места, а дальше идти поостерегся. Мелентьев прогуливался вдоль серого массивного здания и поначалу распугивал проституток и блатную шуштуру. Вскоре местная публика поняла, что дед явился не по их душу, осмелела и приблизилась.

— Иван Иванович, может, надо чего? — робко спросила тонконогая девчонка, подталкиваемая в спину сутенером. — Мы для вас с превеликим удовольствием...

Мелентьев даже не расслышал, рассказывал от угла до угла широкими шагами, заложив руки за спину. Когда он удалялся от «черной глотки», то зага-

дывал: «Если сейчас пойду назад и Костя не попятится, иду в трактирчик на рынке. Там они, больше негде. Корней — мой, я в ответе. — Старый сыщик шагнул обратно, и Воронцов не появлялся. — Три раза туда и назад, и иду», — уговаривал Мелентьев себя и продолжал рассказывать. Он всегда считал за тею Воронцова безумием. «Ты бы еще зимой в лес голодных волков отправился манной кашей подкармливать», — в пылу спора сказал утром Мелентьев. — Дилетанты, агитаторы, идеалисты, сосунки. Когда он в очередной раз повернулся на каблучках и бросил взгляд в черный провал, то заметил в тусклом свете мужскую фигуру. Человек ступил неуверенно, держась за стенку, остановился, сделал еще шаг.

«Пьяный, — решил Мелентьев, он уже видел кожанку и фуражку, уже бежал через площадь, повторяя, как заклинание: — Пьяный, пьяный, напоили».

Уж кто-кто, а субинспектор мог отличить пьяного от тяжелораненого. Только ненаблюдательный человек о раненом может сказать: он шел, словно пьяный. Человек нетрезвый качается, может и упасть, но движения его расхлябанные, вольготные. Раненый идет, словно себя расплескать боится, жесты экономные, скованные.

Мелентьев остановился перед Костей Воронцовым, взял под локоть, резко свистнул; услышал за спиной стук автомобильного мотора и оглядел Костю внимательно. Куда? Не повредить бы, хуже не сделать.

Крови не видно, лицо серое, мокрое от пота, глаза мертвые. Сознание проглянуло. Воронцов шевельнул губами.

— Кладите его на землю! — крикнул выскачивший из машины доктор, плюхнулся рядом с Костей на колени, расстегнул куртку, припал ухом к груди, начал прощупывать пульс.

Константин Воронцов был мертва, но доктор все пытался услышать, как бьется его сердце.

Глава последняя

люди

Даша лежала в огромной, пожелтевшей от времени ванне и сдвинула наполовину на лицо пену. Лева Натансон по кличке Алмаз, который некогда имел неосторожность покататься с Дашей на глаза Корнею, стоял, прислонившись к дверному косяку, и любовался чистым рисунком ее плеч, маленькой, гордо посаженной головой на сильной шее и думал: «Хитра природа, балуется с человеком, как хочет. Мать у девочки алкоголичка, отец наверняка с соседнего огорода, сама выросла в помойке, покуривает и выпивает, а на тебе, выкуси, сложена богиней, взгляд царский и неглупа. Образование, конечно, не ахти, и речь — порой такое запустит, переводчик требуется, — но это можно и поправить».

Уж как в свое время Алмаз Дашу заманивал на эту квартиру, соблазнял подарками, сулил несусветное. Девчонка смеялась — не шла. Час назад явилась, грязная, злая, словно кошка, вырвавшаяся из уличной драки, и приказала:

— Ванну, чистое белье! Корней заедет на моторе через два часа.

Пока Алмаз сушил ванну, Даша сидела в кресле, потягивая из хрустальной рюмочки «Шартрез», который любила за зеленый цвет. За-

тем она без спроса открыла комод, расшвыривая французское белье, нашла себе по вкусу, отобрала строгое, но, как хозяин отлично знал, самое дорогое платье, перемерила туфли, нужные оставила. Прямо при Алмазе, будто и не мужик он, стянула с себя одежку, швырнула в угол.

— Забери и выброси, ее искать будут! — Она стояла перед Натансоном обнаженная, смотрела в сторону, как на кельнера в ресторане, провела ладонями по животу и бедрам, потянулась. — Устала я, Лева. — И пошла в ванную.

До Алмаза доплыл слух о сходке и возможных неприятностях у Корнея. Может, свершилось уже? У власти ли Корней, в бегах ли — на эту девочку Лева даже глядеть не следует. Знает все отлично Лева-Алмаз, а прилип к косяку, не только глаз отвести не может, мысли перебирает настолько несерьезные, самому над собой смешно. От таких мыслей до церковного хора ближе, чем от уголовки до тюрьмы.

— Рюмку дай и переоденься. — Даша смотрела насмешливо, глаза ее светло-зеленые сливались с водой. — Корней нехороший явится, к чему тебе лишнее?

Алмаз похлопал толстыми ладошками по атласному халату с золотыми драконами, вздохнул тяжело и заторопился. Права девочка, лишнее ему совершенно не требуется.

В новом платье, на высоких каблучках Даша смотрелась дамой. Махнув на жизнь рукой, Алмаз преподнес ей сережки и кольцо с жемчугом. Он переделался — был в строгой тройке, жилет застегивался лишь на две верхние пуговицы, и от этого хозяин выглядел комично и безобидно. Крутанувшись перед трюмо, Алмаз остался доволен: лучше быть комиком в жизни, чем героем-любовником в гробу.

Даша пила чай, ложку держала манерно, оставив мизинец, и Натансону хотелось этот палец прижать, посоветовать гостью откинуться на спинку кресла, чашку со стола забрать, губы не вытягивать. В душе старого мошенника дремали поэты, воспитатели и какие-то личности неизвестные. Хотя Даша отлично знала, что Корней сюда никогда не явится, играла свою роль последовательно, для того и оделась тщательно. Алмаз и догадаться не должен, что Паненка пошла против Корнея, иначе тотчас выгонит или в постель потащит. Ей надо отсидеться сутки, собраться с мыслями, решение принять.

— Если Корней припозднится, не выгонишь? — Даша взглянула на часы.

— К чему слова, королева? — возмутился хозяин столь дурной шутке. — Мой скромный будуар к вашим услугам. Я тут, на диванчике, по-сиротски прикорну.

Даша кивнула, вновь покосилась на часы. Корней из города уже подался. Хан с ним рядышком. Они теперь так и будут скакать, пока один другого не кончит. Если бы они друг дружку порешили — вот сладость. Только бы сюда раньше времени никто из блатных не заскочил, новости не принес...

В дверь властно позвонили. Алмаз засеменил к дверям. Даша оставила чашку, взяла из сахарницы серебряные щипчики, бросила.

— Кто? — Алмаз спросил недовольно и заискивающе одновременно.

— От Корнея.

— Ждем, рады гостям. — Алмаз отодвинул засовы, снял цепочку, распахнул дверь.

Оттолкнув хозяйку тростью, вошел Хан, оглянулся и кивнул:

— Чистенько.

Корней переступил порог, увидел Дашу и сказал:

— Я думал, болтают: мол, земля круглая и вертится, — а оно так и есть.

— Ждем, давно ждем, дорогие гости, — кланяясь, бормотал Алмаз, чувствуя недоброе, просительно заглядывая в твердые лица «дорогих гостей».

После неожиданного финала на воровской сходке дела у Корнея складывались удачно. Он сел в машину в условленном месте, выслушал доклад шофера о действиях Хана и успешном ограблении, однако не удовлетворился этим, велел отвезти к ресторану «Прага», что на углу Арбатской площади. Приказав ждать, Корней переулками отправился к особняку, который два часа назад посетил Хан. На углу Староконюшенного Корней подхватил девочку, сунул ей червонец и сказал:

— За одной дамочкой проследить требуется, с тобой удобнее. Погуляем полчаса, и ты, цыпочка, свободна.

— Я портвейну хочу, — нагло заявила девочка. — Корней глянул, она умолила, затем решила поддерживать светский разговор, и Корней всю дорогу краем уха слышал ее голосок, повествующий об удивительно кошмарной жизни молодой красивой девушки в огромном городе.

Около особняка стояла пролетка, у входа двое с винтовками. Корней прошел, не останавливаясь, хотя спутница заинтересовалась происходящим и потянула его к подъезду.

— Пойдем взглянем, интересно, наверняка убили кого-нибудь...

— Оставь, милочка. — Корней передернул плечами. — Покойники — это такая пошлость.

В конце переулочка затарахтел мотор, подпрыгивая по бульвару, неторопливо проехала машина, оставив у особняка. До Корнея донеслись возбужденные голоса. Он прибавил шагу и свернул в ближайший переулочек.

Примерно через час Корней встретился с Ханом в том же кабинете ресторана «Флора», где они перекусывали днем. Хан ужинал в одиночестве, Корней кивнул, жестом указав на стул, налил вина.

— Как у меня, ты знаешь, а что у тебя?

— Хуже. — Порой Корней предпочитал говорить правду, полагая, что в небольших дозах она действует сильнее.

Корней коротко пересказал события, происшедшие на воровской сходке, опустив лишь наиболее для себя невыгодное. Он верно оценивал психологию Хана и возможную его реакцию.

— Забудь, Корней, бог им простит, а мы при случае вспомним. Воронок — мент как мент, на них ни пуля, ни нож не хватит. — Он налил в бокалы, чокнулся. — За нашу удачу, Корней. Девку свою забудь, она давно с шага сбилась, продала бы не сегодня, так завтра.

Корней выпил. О воровской казне, припрятанной в надежном месте, и о фальшивках, которые он предьявлял вора, а затем бросил, Корней промолчал. «Выплывет все — поделим», — решил он, х.с.я надеялся, до дележа не дойдет, потому что, по его раскладу, жить Хану оставалось до рассвета, а еще точнее, до того момента, как Корней увидит содержимое сейфа, чьи остатки сейчас изучал уголовный розыск.

— Сколько было в жестянке? — спросил Корней небрежно.

— Около пуда, — ответил флегматично Хан, слово каждый день крал примерно столько же. — Стож-то в зале не спал, газетку почитывал.

В суете и неразберихе происходящего Корней забыл, что обещал усыпить сторожа. Спокойствие Хана его не обмануло, и он пошел в открытую:

— Виноват, Хан. Падлу, которая подвела нас, разыщу непременно, ответит, а вина моя.

— Верно.— Хан закурил длинную дорожную папиросу.— Теперь объясни, Корней, на кой черт ты мне нужен? Ни денег у тебя, ни авторитета, пустой ты и совсем для меня не интересный.

Корней из кармана, где лежал пистолет, вынул носовой платок, неторопливо вытер лицо, а когда стал класть платок на место, Хан сказал:

— Денег со мной нет, Корней. Я тебя давно понимал, и ты по карманам не шарь, здесь не проходит. Понял? Так, говоришь, отца Митрия жизни лишил? Зря, покойник вещь тяжелая, гнуть тебя будет, а скинуть его можно только в суде. Ты с повинной не собираешься?

— Ты наглость-то вместе с хрустами из сейфа вытащил? — Корней бросил салфетку и встал.— Я свою долю подарить могу, как бы жалеть позже не стал.— Он шагнул из кабинета, отдернул портьеру.— Был грязь, грязью и остался, хоть я на тебя и смокинг надел.

Корней уходил. Хан понял, что не блефует старый, метнулся наперерез, обнял, усадил. Только что хотел десять процентов ему предложить, теперь заткнулся — действительно, уйдет, вот беда. Но больше всего Хана интересовало: убил Корней отца Митрия или рисует, цену себе набивает?

— Меня на хомут не взять, — уверенно глядя Хану в глаза, сказал Корней.— Для тебя мечта — равное партнерство. Понял? Икнешь против, уйду.— Он твердой рукой налил себе, выпил, не чокнувшись. Корней знал мир ханов — в нем ничего просить нельзя, только отнимать, и чем больше и нахальнее, тем легче отдают и еще благодарят. Слабоват оказался Хан для такого противника, хотя поначалу все козыри на руках имел против пустой карты.— Забудем, — смилостивился Корней.— Уйдем из Москвы и из России уйдем. Отсидимся в Риге, там у меня люди есть, примут. Только вот, — он задумался, оглядел Хана, свой костюм, — красивы мы с тобой излишне. Мое пристрастие к дорогой одежде господину Мелентьеву отлично известно, и тебя ему уже обрисовали. Международный вагон, кожаные чемоданы, дамочка в брильянтах отпадают. Пойдем из златоглавой на возах, лапотниками, обратниками базарными. Только где нам такой вид приобрести? — Он задумался, на самом деле ждал реакции Хана, хотел знать, есть ли у того потайное местечко и где именно деньги спрятаны.

О Риге Корней сказал правду, там и казна воровская в банке лежала. О возах и о переодевании в лапотников — тоже правда, ни слова лжи. Умолчал Корней о пустяке, о том, что Хана в крестьянской одежде собирается забыть в чужой телеге покойником. Зароют незнакомца втихую, не было Хана и не стало — кто всполохнется?

— Привык я.— Хан оглядел великолепно сидевший смокинг, вытянул ноги, любясь лакированными штиблетами.— И от людей уважение. Может, так пойдем, Корней, а?

— Касса твоя два дня пролежит, не сгниет?

— Уверен.— Хан самодовольно усмехнулся.— Она не у людей спрятана. Люди, Корней, — самое ненадежное, что на земле существует...

— Идем, Сенек! — прервал его неожиданные философствования Корней.

...— Значит, круглая и крутится, — довольно повторил Корней, оглядывая Дашу.

Он выбрал квартиру Натансона из противоречия логике Мелентьева. Никак пугливый нэпман, мошенник и чистодел не подходил для временной берло-

ги двух убийц. «Никогда», — решил Мелентьев, и Корней повел Хана именно сюда. И чего от себя самого скрывать, очень он рассчитывал тут Паненку найти, самое подходящее для нее место.

— Нет, что бы про меня людишки ни болтали, — потирая крепкие ладони, сказал Корней, — а умен я незаурядно. Как полагаешь, Паненка? — Он оперся на спинку кресла, нагнулся к Даше и, хотя ожидал пощечины, увернуться не успел. Девушка вскользь, но мазнула по его щеке.

Корней рассмеялся, а Хан, проверив на дверях запоры и швырнув Леву Натансона на диван, сказал: — Свободой клянусь, я в девчонку влюбился.

Даша, как всякая женщина, тонко чувствовала отношение мужчины. Алмаз сейчас о ней забыл, думает только о своей шкуре, Корней еще тянется к ней, но так, самолюбие потешить, не более, а Хан смотрит, как на забавного щенка, который цапнуть норовит. Со щенком можно поиграть, погладить даже, но лучше утопить и не иметь лишней мороки. Хан опасен — не Корней, старика уговорить можно, молодого нельзя, он глухой.

Корней жестом вызвал Натансона в прихожую и оставил Дашу и Хана вдвоем.

— Все играешь, не надоело? — добродушно спросил Хан. Даша не ответила, смотрела подозрительно.— Верно, что ты Воронцова на сходку провела?

— Верно.— Даша решила не злить парня, постараться не выказывать ни страха, ни презрения.— Он один потолковать с людьми хотел, а твой хозяин на него ребят натравил...

На «хозяина» Хан не среагировал, но когда Даша сказала: «Ребят натравил», — вскинулся:

— Ну, там не только савки были, кое-кого знаю... Сипатый, у него своя корысть, а отца Митрия, к примеру, попробуй натрави...

— Убил Корней Дмитрия Степановича...

— Врешь, — убежденно произнес Хан, хотя слышал то же от самого Корнея.— Не станет Корней на себя кровь брать, остережется...

— Выхода не было, только вход. Дмитрий Степанович — его.

— Он двум богам служил, — сказал Корней, слышавший весь разговор.— А крови, Хан, на мне и так предостаточно.— Он помолчал, разглядывая молодых людей.— Больше, меньше, давно без разницы.

Хан поднялся легко, поигрывая тростью — очень она его забавляла, — вышел из комнаты. Хозяин, смешно подвязанный фартуком, выколакивал из чулана различное барахло. Хан помог ему выдернуть плетеную пыльную корзину, отряхнул руки, посмотрел на висевший на стене телефонный аппарат, помедлил, затем заглянул в комнату. Корней, обхватив Дашу за плечи, что-то шептал, девушка упиралась ему в грудь ладонями и отрицательно качала головой.

— Корней, мне позвонить требуется, не возражаешь? — спросил Хан.

— Звони! — оттолкнув Дашу, раздраженно ответил Корней, но тут же спохватился и выскочил в коридор.— Куда? Откуда у тебя друзья с телефонами? — Он держал в руке пистолет.

Хан уже назвал номер, покосился на пистолет и прикрыл трубку ладонью:

— Не бренчи нервами, одной мадаме звоню...

Наверно, ему ответили, потому что Хан сказал в аппарат: — Люси? А тебе может звонить и другой? — Он подмигнул Корнею.— Я задержусь в «Астории», ночевать не приду...

Корней вырвал у Хана трубку, прижал к уху и услышал женский голос:

— Жоржик, ты обещал...

Хан сжал Корнею руку, державшую пистолет, забрал оружие и вернулся в комнату.



— Что это за девка? Зачем звонил? — следуя за ним по пятам, спросил Корней.

Хан подбросил на ладони пистолет, опустил в карман, взглянул на Корнея с интересом. Вдруг лицо молодого человека потеряло окаменелость, он улыбнулся, показав великолепные зубы. Даша вспомнила, что раньше, до убийства Сынка, Хан нравился ей, и даже очень.

— А с ней, — Корней кивнул на Дашу, — как поступим? С собой брать глупо, оставлять еще глупее.

— Обычно, дедовским способом. — В руке Хана сверкнул нож.

Даша метнулась к окну, пытается открыть.

— Брось, Паненка, — шутим. — Корней обвел глазами комнату: мол, не здесь же кончать девчонку, шуму много. — Будем уходить — тебя с собой заберем, а из Москвы выедем — шагай на все стороны.

Даша понимала: лжет Корней, живой не отпустит,

но и сейчас здесь кончить не разрешит. Она открыла окно, села на подоконник, глянула с третьего этажа на булыжную мостовую и сказала:

— На шаг подойдешь — выпрыгну.

— Не стоит, Даша. — Хан поигрывал ножом, улыбался, и глаза у него были ласковые и усталые. — Все кончилось, а может, просто перерыв.

Хан, продолжая смотреть на Дашу, схватил Корнея за плечо, дернул к себе и ударил ножом в грудь. Даша прикусила ладонь, глядела, онемев. Корней издал нечленораздельный звук, качнулся, но Хан держал его крепко за плечи — рукоятка ножа торчала из груди Корнея, по пиджаку и манишке текла кровь, лицо стало бледнее обычного, по щеке прокатилась слеза.

— Страшно? — Хан выдернул нож, вытер о пиджак жертвы, но с лезвия еще капала кровь.

Хан ударил Корнея рукой по лицу, сказал:

— Открой глаза, сука. Тебя спрашиваю: страшно?

Корней приоткрыл глаза, увидел нож, свою грудь в крови, зажмурился. Хан вновь залепил ему пощечину.

— Умрет от страха, так я за него, как за человека, отвечу. Обидно? — Он продолжал держать перед лицом Корнея кровавый нож, подмигнул Даше. — Ишь, как переживает! Жизнь-то, оказывается, не так дешева?

Корней открыл глаза, вцепился взглядом, пытаясь сориентироваться в обстановке. Нож и кровь — какой-то камуфляж, ведь он не ранен... Что же это значит?

— Лизни, Корней. — Хан сунул ему нож в лицо. — Ударю! — И Корней покорно лизнул лезвие. — Соленая? — любопытствовал Хан. — Не краска, кровь настоящая, только что не человеческая...

— Сынок! Колька-Сынок! — неожиданно закричала Даша.

— Какой еще Сынок! — зашелкивая на Корнея наручники, рассмеялся Хан. — Николай? В цирке он, наверно, где же еще? — Он толкнул в грудь так и не пришедшего в себя Корнея, и тот упал в кресло.

— Давно заметил, у трагедии часто комический конец, — вытирая руки платком, философски изрек Хан. Он, сотрудник уголовного розыска Степан Сурмин, не знал, что Константин Николаевич Воронцов умер.

— Возьми на память, Даша. — Хан протянул девушке нож, лезвие которого легко утапливалось в рукоятке, выпуская из нее кровь. — Корней, как же ты голос жены собственной по телефону не узнал? — Напряжение последних дней прорвалось у Сурмина безудержным весельем. — Это же я Анне звонил, она подтвердила, что ты Дмитрия Степановича, сволоочь, убил. Ты в ресторане сказал, а я не верю, думаю: рмсуешься. Даша тут подтвердила — я сомневаюсь. Думаю, возьму тебя, а ты снова чистенький перед законом. Я и позвонил, как было сговорено, ты первую фразу Анны не слышал: «Твоего друга митрополит ждет». Ты сам-то, Корней, не забыл, что на вашем обезьяньем языке митрополитом председателя суда зовут? — веселился Хан.

В прихожей раздался шум, голоса и визгливый вскрик хозяина квартиры:

— Я и шел вас предупредить, Иван Иванович. Позвонить-то нельзя, слышно в комнате. Осторожнее!

Мелентьев быстро вошел в комнату, окинул всех цепким взглядом, кивнул Сурмину, будто виделся недавно, подошел к Даше, обнял за плечи, прижал к себе и вздохнул.

— Вы что? — Даша отстранилась. Сурмин вновь преобразился, смотрел испуганно, с надеждой, сомнением и обидой: мол, как же так, все должно быть отлично.

— Да, Степан. — Мелентьев постучал пальцем по сердцу. — Лучшие всегда погибают первыми.

Сурмин съехался, отошел в сторону, только сейчас почувствовал, как устал и что теперь все ему безразлично, никакой радости нет. Даже безучастно сидевший в кресле Корней не вызывал никаких эмоций. Ну, взяли, наконец, Корнея, еще одним преступником меньше. Ну и что?

Мелентьев рывком поставил Корнея на ноги, взглянул равнодушно. Сбылась мечта его жизни: Корней взят на деле, стоит в наручниках... И неожиданно Ивану Ивановичу Мелентьеву, человеку достаточно образованному, всегда гордившемуся своей выдержкой, захотелось ругаться, вычурно ругаться, кричать и вообще безобразничать. Разве стоило ради этого жить? Он отвернулся и тихо сказал:

— Уберите... в машину.

Два молоденьких милиционера, скрывавшие свое

любопытство, прошли нарочито спокойно, взяли Корнея под руки, излишне крепко, и вывели.

Круглая чаша цирка была пуста, лишь в проходе у арены да в первых рядах виднелись одинокие фигуры.

Жонглер, наблюдая за репетицией, автоматически вертел трость, которая, словно живая змея, обвивала его талию, переползала на шею, падала к ногам и вновь пропеллером появлялась между пальцами.

Пожилой человек с усталым добродушным лицом, одетый в заплатанное трико, сидел на мягком барьере арены, подогнув под себя ноги.

На свободно висевшем над ареной канате работал Коля-Сынок. Под канатом стоял, сверкая полированной головой, некогда знаменитый клоун Эль-бью. Он был и режиссер-постановщик и тренер, сейчас страховал Колю, который работал на четырехметровой высоте без лонжи.

Даша и Сурмин сидели в креслах второго ряда. Сурмин глядел на Сынка с легкой улыбкой — так взрослый наблюдает за любимым ребенком, — были в этой улыбке и гордость и снисхождение.

— Даша, — Сурмин легко дотронулся до плеча Даше, — и такой талант могли залить водкой, марафетом оглушить и сгноить на тюремных нарах.

Даша не ответила, она смотрела на сильные и усталые руки Сурмина, потом осторожно провела пальцами по его твердой ладони.

— И металл не беру, а не проходит, — сказал Сурмин.

«Боже мой, — думала Даша, — как же я раньше не обращала внимания? У него же вековые мозоли. А я хотела его убить. У меня такие мозоли на душе. — И зарделась от стыда за свои мысли. — У Кости Воронцова были шрамы на сердце, и он умер».

С каждым часом, который отдалял Дашу от дня смерти Воронцова, она острее чувствовала несправедливость происшедшего. Тоска и вина накатывали на нее, ей чудилось, что она под водой и светлый мир там, наверху, и уже не вынырнуть, не хватает дыхания и сил, а главное, жажды жизни. «В угол загнанные, и в каждом хорошее есть», — вспомнила Даша. И знал, что на краешке стоит... Даша прикусила губу, и во рту стало солоно.

— Звезданется Колька. — Сурмин коснулся ее пальцев. — И этого костлявого шутика пришибет.

— А! — крикнул Эль и поднял длинные тонкие руки.

Сынок отделился от каната, ласточкой завис в воздухе — казалось, он сейчас грохнется на опилки, — но старый клоун перехватил его в полете, тронул кончиками пальцев, и акробат опустился на ноги, спружинил, сделал сальто и застыл с гордо поднятой головой. Жонглер одобрительно присвистнул и, поигрывая тростью, отправился за кулисы. Клоун, сидевший на барьере, перевернулся через голову и кубарем выкатился к ногам Эля и Сынка.

— Нормальная работа, — сказал он, похлопывая Николая по мокрой спине.

Сынок тяжело дышал и вопросительно смотрел на Эля, который пожимал плечами, беззвучно разговаривал сам с собой, словно советовался, жестикулировал и возмущался. Он брезгливо отряхнул с лица Николая пот и наконец произнес:

— Жиру и водки в тебе еще килограмма три. Работа? Да, да, работа неплохая. Люди сюда, — он широким жестом обвел зал, — приходят не на работу смотреть. Ты артист? Ты шпана, ловко лазающая по канату.

Даше и Сурмину было отлично слышно каждое слово. Степан прикрывал улыбку широкой ладонью,

Даша порывалась выйти в манеж, шептала возмущенно:

— Этот скелет забыли похоронить. Замучил Кольку, тот худющий стал, тени не отбрасывает.

— Ты так надрываешься, Сынок, слезу выжимаешь, публика рыдать станет от жалости.— Эль размахивал руками, призывая пустые стулья в свидетели.— На нас будут писать жалобы, что мы замучили трудовой пролетариат. Это тебя!— Он наклонился и повел длинным носом: — Пиво?

Николай взмолился:

— Маэстро! Стакан, чтобы не скрипели кости.

— Бутылку на двоих,— подтвердил маленький клоун.— Я боялся, он не дойдет до манежа.

— Боги!— Эль воздел руки к куполу.— С кем придется работать? Это канат, веревка? Да, но символ, паренек. Символ! Для кого-то петля, для иного путь из пропасти. За три минуты они,— и вновь указал широким жестом на зал,— должны прожить с тобой жизнь: бороться, отчаяться и умирать, найти силы и победить. Да, ты выжмешь из них слезы, но не сочувствия к твоей тяжелой работе, а слезы радости за человека, которому трудно, порой безысходно, но человек...— Эль подпрыгнул и повис на канате.

Даша увидела старика, хватающегося за последнюю надежду, сейчас он сорвется, сил уже нет, и жизнь кончится. И вдруг ярость родилась в умирающем теле, он бросился вверх, казалось, не касаясь каната, взлетел, парил. Неожиданно канат ожил, захлестнул артиста петлей, второй, третьей... Даша поверила, что случилось непредвиденное, и толстенная веревка действительно удавит старого артиста. Он боролся, разрывая упругие кольца, вытянулся свечой вверх, упал, обессиленный, рванулся в сторону и застыл параллельно земле.

Только Сынок, оценивая талант маэстро, почувствовал мгновение, когда силы Эля были действительно на исходе, и крикнул:

— Ап!— И смягчил падение старого клоуна. Деликатно отводя взгляд от задыхающегося артиста, Сынок сказал: — Меня не приглашают в Вену и Париж, маэстро. Я пытаюсь сделать номер, который без стыда можно работать в провинции.— Он понизил голос и еле слышно прошептал: — Напоминаю, маэстро, мне необходима партнерша.

— Готовить номер для провинции?— Эль взмахнул руками и шагнул к кулисам, но Сынок и второй клоун повисли на нем.

— Маэстро!

— Эль, я умоляю!

— Хорошо.— Эль вернулся, заломил руки и торжественно произнес: — Ты не бездарен, со временем, возможно... Но показывать тебя людям в таком виде? Зачем ты ползешь на эту веревку? Ради чего? Кто поверит в твою борьбу?— Он начал длинным пальцем сверлить свой полированный лоб и вдруг закричал: — Эврика! Тебя может спасти Ева! И она должна быть Евой, а не балаганной подделкой. И Ева встанет здесь! Тогда, о боги, твое жалкое фиглярство люди простят. Любовь! Человек сражался с мельницами, преследовал стадо баранов...— Эль взглянул на хлопающего глазами Сынка, махнул на него рукой.— Шпана. Где ты возьмешь Еву?

— Даша,— позвал Сынок: — Даша! Ты здесь?

— Не ори.— Даша вышла на манеж.

— Здравствуйте,— саркастически произнес Эль, кланяясь.

— Привет,— умышленно грубо ответила Даша, кивнула, повернулась к Сынку.— Чего тебе?

— Понимаешь...— Сынок обещал Мелентьеву устроить Дашу в номер, знал, что Сурмин приедет

ее на репетицию, догосеорился в основном с маэстро, но что сказать Даше и как вести себя дальше, не имел понятия.

— Ты здорово там...— Даша указала наверх.— А вы,— девушка замялась, решительно тряхнула головой,— маэстро! Раньше я злилась, когда слышала это слово. Маэстро,— Даша прислушалась, взглянула на Эль-Бью и рассмеялась.— Эй маэстро.

— Пройдитесь, пожалуйста, до кулис и обратно,— попросил Эль.

— Куда?

— Пожалуйста, дойдите вон до той пыльной занавески,— Эль указал на портьеры,— и вернитесь.

Даша, решив, что над ней подшучивают, хотела ответить резко, но Сынок обнял ее за плечи и шепнул:

— Тебе не трудно? Для меня. Ты говорила, что выполнишь любую мою просьбу.

— Белое платье, узкий лиф, шлсйф, каблуки, корона,— сказал маленький клоун.

— Открытое трико, короткий плащ, каблуки, волосы не трогать,— возразил Эль.

— Вы возьмете Дашу?— Сынок схватил Эля за руку.

Степан Сурмин взглянул последний раз на Дашу, Сынка и клоунов, которые, жестикулируя, спорили, одернул гимнастерку и через служебный ход вышел на улицу.

Субинспектор Мелентьев был, как обычно, одет тщательно, свежесвыбрит и внешне бесстрастен. Он сидел в кабинете за огромным пустым столом и ждал своего нового начальника — Степана Петровича Сурмина.

Костю Воронцова похоронили. Волохов, как и положено начальнику, сказал речь, из которой субинспектору стало ясно, что Костя был душой светел, долг свой перед людьми понимал правильно и молодые должны брать пример с безвременно ушедшего товарища.

Якова Шуршикова, некогда грозного Корнея, ждал суд. Одессита и Ленечку взяли на вокзале, не дали уйти из Москвы. Арестовали несколько жуликов рангом пониже. Шестеро совсем никчемных (кражонки за ними числились — в руки взять нечего) явились в милицию с повинной.

«Цена за жизнь Кости Воронцова», — рассуждал субинспектор и сегодня, как никогда, понимал, что обманывает себя. «Лишить их знамени», — говорил Костя. — Не свободные люди они, а в угол загнанные, вытащить их оттуда, вытащить, заставить верить в доброту человеческую...»

И уже доходили до субинспектора слухи: треснул воровской мир в столице, разваливается.

«Теперь у меня новый начальник», — тоскливо думал Мелентьев, не признаваясь, что не «новый» его волнует, а вина перед Костей, которого нет и уже не будет никогда.

Сурмин вошел стремительно, вздрогнул так, словно очень горькое проглотил, и сказал:

— Вооруженное нападение на Пресне, есть тяжелораненые.

— А вы думали, уважаемый?... — доставая из стола пистолет, спросил Мелентьев, встретился взглядом с Сурминым, замолчал и подумал: «Три месяца назад я его с ложки кормил...»



**ДЖАБИР
НОВРУЗ**

Фотография

Есть фотография
В альбоме, гордости нашего дома,—
Нас трое на фото.
Есть фотография
В альбоме, горести нашего дома,—
Нас трое на фото...
Ничего мы еще
О будущем нашем не знаем,
Где и как завершим свои жизни,
Не знаем, конечно,
Может быть, оттого
Улыбками счастья сияем
И стоим,
Сповно в мире остаться решили
Навечно.

Я на фото гляжу,
Вспоминая ушедшее что-то...
С папиросой Гасан —
На отлете немного рука...
Десять лет.
Папироса Гасана
Дымится на фото,
И, дымясь, пламенеет
В душе моей эта строка...
Вот Энвер, как живой...
Да, мы все его звали Энвером,
Мы любили его,
Он всегда был у нас на устах.
Простоты и добра
Он для всех был при жизни примером,
Хоть и был
На совсем не простых он при жизни
Постах.
Все в нем было естественно,
Все неподдельно,—
Уважение к людям,
Внимание к ним.
Доброта его сердца.
Казалось, была беспредельна,
В простоте своей был он,
Казалось, святым.
Он чужие заботы
В свои превращал незаметно,
Как своими,
Чужими тревогами жил,
О себе забывая,
Он людям служил беззаветно,
Как солдат и поэт.
До последнего вздоха спужил...

Что Гасан
Говорил вдохновенно Энверу!
Десять лет уже что-то
На фото ему говорит,
Десять лет
Свою новую строчку, наверно,
Или чью-то чужую, любимую
Другу дарит.
Да, Гасан...
Был душою он чист,
Как бываю лишь дети,
Словно весь был
Просвечен каким-то лучом.
Он поэт считал
Идеалом на свете,
По профессии был он
На свете врачом.
Он умел пошутить,
Он умел от души посмеяться,
Лучше всяких лекарств
Его шутки лечили людей,
Он умел...
Я зарекся с друзьями сниматься,
Я боюсь, что опять
Лишь на фото увижу друзей.

Фотография есть,
Фотография есть в нашем доме.
Мы так гордо стоим, улыбаясь,—
Навеки друзья!
Ничего мы покуда
Не знаем о собственном доме...
Трое нас, трое нас...

Юность моя

Ты была моей жизни короной,
Черноглазая юность моя.
Ты любви была чистой порою,
Черноглазая юность моя...
Как тогда мое сердце стучало,
Как рвалось в голубые края!..
Много горестей ты повстречала,
Много вынесла, юность моя.
Но, мечтою меня неустанной,
Как напитком целебным, поя,
Ты безбрежным быпа океаном,
Беспокойная юность моя.
Ты цвела всему миру на зависть,
Бушевала ты, сил не тая...
Зажигала сердца у красавиц,
Солнцеликая юность моя.
Ты зарею была полевой,
Серебристою песней ручья,
Ты была озорной, огневою,
Неуемная юность моя.
Ты, как молния а небе, блистала...
Ты была, как хмельная струя...
Ах, как в мире сияла кристально,
Как чиста была юность моя!
Ты самой была песней природы,
Зоревым забытьем соловья...
Ты казалась летящей сквозь годы,
Беспечальная юность моя.
Но исчезла куда-то, пропала,
Улетела в чужие края.
Видно, холодно здесь тебе стало,
Незабвенная юность моя.



**МАРК
ВЕЙЦМАН**

В Донбассе

Донбасса грудь перехлестнули рельсы
узором четким пулеметной ленты.
Красногвардейцы... Молодогвардейцы..
А нынче вот — герои пятилетки.
Рабочий край не уважает слабых,
беспечных и ленивых не прощает,
и вечную суровость скифской бабы
стремительное время не смягчает.
Когда и как мне вдруг необходимо
все это стало, близко, интересно,
и дым мартенов оказался дымом
Отечества, что сладок, как известно!
Родился я в краю полей зеленых,
густых лесов и рек глубоководных.
но чахлый куст в степи полусожженной
дарует мне спокойствие и отдых.
В моих стихах лирического толка
хочу, чтоб было видно, между прочим,
что, гражданин горняцкого поселка,
я дорожу гражданством этим прочным.
От слов пустых и мыслей легковесных,
я говорю, спаси меня, о муза,
когда ночами на припахнутых ветках
составы надрываются от груза...

☆☆☆

Как памятник самой себе —
засохшая ольха.
Но весь пейзаж знаком тебе
до мелкого штриха.
Реки холодное стекло,
и луг, и лес нагой —
все прежний облик сберегло.
И только ты — другой.

☆☆☆

Земля весною бредит вновь
в разгар засушливого лета.
Седой поэт поет любовь,
но нет любимой у поэта.
Смертельно раненный — и тот
все верит: счастье улыбнется.
И мать упрямо сына ждет,
который больше не вернется.
Я жизнь приемлю лишь такой.
В изломах льда — намек на пламень.
И каждый камень под ногой, —
быть может, философский камень.

И если слезы невзначай
боль выдадут мою иль жалость,
ты слез моих не замечай.
Считай, что просто показалось...

Из учительской тетради

1

Доска. Я пишу на ней формулы мелом
и тряпкой стираю их влажной.
Их автор был хитрым, дотошным и смелым,
он гений, но это неважно.
Ребята в тетрадки их спишут поспешно
и станут умнее и старше.
А многие вскоре забудут, конечно,
смешного и лысого старца.
И все же мне грустно,
что он — открыватель,
а я вот всего лишь учитель,
чужих откровений простой толкователь,
чужого богатства рачитель.
А жизни доска то исчеркана густо,
то снова чернеет постыдно.
Но там, где должно быть решение, —
пусто.
И формул пока что не видно.
Мелькают в руке то тряпица сырая,
то мел, говорящий безгласно.
Пишу и стираю. Пишу и стираю.
Кто знает, авось, не напрасно.

2

Коллега мой, гроза лихих лентяев,
вы не в своей тарелке на бапу.
Ах, очень быстро дети вырастают,
и наш черед теперь торчать в углу.
Ну не в углу, так сбоку, так в сторонке,
пока прощально «Школьный вальс» звучит,
и клен в окно стучится веткой тонкой.
И «Беломор» предательски горчит...

Сыновья

Сыновей в сей мир вводить —
отчий долг и право.
Одного учу ходить,
а другого — плавать.
Вряд ли строгий мой присмотр
их обезопасит.
Старший сын воды хлебнет,
младший — нос расквасит.
Чересчур земля тверда,
чересчур бугриста,
холодна в реке вода,
а течение быстро,
ветер свищет и ревет,
дождик птиц шугает.
Ничего.
Один — плывет,
а другой — шагает.



**НИЗОМЖОН
ПАРДА**

☆☆☆

Горы плечом подпирает Сурхан серебристый.
Скатерть с плодами земли руки его разостлали.
Он протянул их к рекам прохладным и чистым.
Вечно стоит, озирая счастливые дали.

Белый хирман¹, словно облако, тучен и легок.
Словно средь лета снегу сугроб навалило.
С хлопком белее снегов золотистый соседствует
хлопок:
Словно бы солнце его изнутри осветило.

Грозы сюда подступают, томя и тревожа.
Тучи уходят. И заново горы светлеют.
Солнце целует плодов золотистую кожу.
Сны безмятежные хлопка небо лелеет.

☆☆☆

Высоко звучат слова поэта.
И высок кузнечный ритм труда.
Высоко ликует над планетой
Спутник — рукотворная звезда.

Ну, а ты! Внимаешь им со вздохом,
В стороне помалкиваешь сэм!..
Голос свой, чтоб вровень стать с эпохой,
Присоедини к тем голосам!

☆☆☆

Жизнь мне дала ты, природа-мать.
Благодарю тебя тысячекратно!
От восхищенья глазам не устать:
Этот простор, эти краски заката!
Благодарю тебя тысячекратно!

Холмы изумрудны, холмы бесконечны.
Переливаются склоны шелками.
В эти цветы за добычей, как в вечность,
Падают ястреб быстрее, чем камень.
Переливаются склоны шелками.

Солнце мне другом и спутником стало.
Ветры бродили со мною, как с братом.
Добрые чувства весна навевала,
Радость дарили ее ароматы.
Ветры бродили со мною, как с братом.

Перевел с узбекского
В. ШАПОШНИКОВ

¹ Собраный в «стог» хлопок.



Поэзия



**НАТАЛЬЯ
ГЕНИНА**

☆☆☆

Оглянись на восток — наплывает
Колхида.
Снова солнца зерно из земли
проросло —
лоднимается луч... Снова полночь
забыта,
и в руках молодых тяжелеет весло.

Оттого и поется, что в небе высоким
отзывается голос, и берег далек,
что земли этой чашу, полную соком,
кто-то выпить пытался — и выпить
не смог.

☆☆☆

Так и жить — ни о чем не жалеть.
Эта клять для того, чтобы петь —
и сегодня, и завтра, и впрямь.

Этот холод — чтоб душу согреть.
Птичий глаз не заметит зерна.
Прорастет оно — будет весна.

☆☆☆

Равнина рождена для воздуха и света,
для ропота ветров, для шепота: живи!
Попробуй, Расскажи про землю,
что воспета
бессмертьем голосов,

Безмолвием любви.
Как видно далеко, чуть ступишь
за порог...

И слову моему еще не вышел срок,
И — некуда уйти от сказанного прежде,
от красоты немой, похожей на упрек,
от пыли вековой исхоженных дорог,
ведущих — день за днем — от памяти
к надежде...

☆☆☆

Не надо жалости. Я большего
достойна.
Ты жив еще, ты молод — я спокойна.
И все ж, судьбы и горла поперек,
встает та боль, что ты во мне берег.

А мы все те же нынче, да не те —
желания доступней суете.
Но дружбы древний труд —
за часом час ---
и создает и защищает нас.



**Виктор ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ,
Алексей ФРОЛОВ**

СЕВЕР, СЕВЕР!..

**Диалог социолога
и журналиста**

Пожалуй, не проходит дня, особенно после XXVI съезда КПСС, чтобы в комитеты комсомола заводов, фабрик, институтов, совхозов не приходили молодые парни и девушки с торопливо написанными заявлениями, с горячей устной просьбой — дать комсомольскую путевку на стройки Сибири и Дальнего Востока, в главные районы освоения придорожных богатств, где строятся новые города, где бурно кипит жизнь.

Молодость воодушевлена размахом сибирских планов, о которых шла речь на съезде. Ее привлекает непочатый край работы.

Возможность проявить себя. Внести весомый вклад в общенародное дело. И опыт девятой и десятой пятилеток показывает, что именно молодежи — осваивать суровые и благодатные сибирские края. Здесь очень нужен ее энтузиазм, неутомимость, ее культура, высокий профессиональный и образовательный уровень.

Но нужно и другое, подчеркивалось на съезде партии, — нормальные условия для жизни и работы, такие условия, которые бы позволили молодежи не только трудиться с полной отдачей, но и еще в процессе большого государственного дела расти и развиваться.

Социолог, кандидат экономических наук Виктор Переведенцев и журналист Алексей Фролов беседуют о проблемах жизнеустройства молодежи в районах освоения. Не все здесь пока гладко. Но ведь интенсивное освоение — в самом начале. Есть время, чтобы утвердить положительный опыт и отказаться от изжившего себя.

Первое слово — Алексею Фролову.

— **С**тарожилы-строители, не первый год осваивающие земли Сибири, называют огромную территорию от восточных склонов Урала до Тихоокеанского побережья по-своему — «северами». Хотя здесь встречаются совершенно разные природно-климатические зоны, не похожие на Заполярье или Арктику, с традиционным Севером их роднят безлюдье, отдаленность от обжитых мест, дикая природа, нелегкие условия для жизни и работы. Но если, скажем, Север — понятие все-таки географическое, то «севера» вполне можно назвать социально-экономическим явлением. Последние десятилетия к Сибири и Дальнему Востоку, этим краям богатейших возможностей, проявляется особый интерес. На северные рубежи выдвинута передовая наука. Здесь используются самая современная техника и самые современные методы труда. И уже не сотням тысяч, как прежде, а миллионам людей, людей в основном молодых, осваивать «севера»...

— Вы правы, — включается в разговор социолог. — Север необъятен. Это половина территории страны. И он чрезвычайно разнообразен. Недаром, как вы верно заметили, о нем часто говорят во множественном числе — «севера»... Есть проблемы общесеверные, есть локальные. Думаю, нам лучше всего говорить о проблемах Севера на примере тех районов, которые об этом лучше известны. И вы и я много занимались Тюменью и зоной БАМа. Проблемы этих регионов во многом схожи. Взять хотя бы заселение этих прежде фактически безлюдных мест. С 1959 по 1980 год население Ханты-Мансийского автономного округа возросло в 5 (пять!) раз. Это — в Среднем Приобье, важном нефтяном районе страны. Здесь за очень короткое время было создано целое созвездие городов и поселков городского типа. В двух из них — Сургуте и Нижневартовске — теперь более ста тысяч жителей в каждом. Столь же стремительно выросло население вдоль трассы БАМа. На «ключевом», Бурятском участке магистрали с 1974 года — в десять раз!

Север осваивает преимущественно молодежь. Общеизвестны здешние природные трудности — длинные зимы, морозы, метели, болота, свирепый «гнус» коротким летом и т. д. К сожалению, нельзя сказать, что вполне благоприятны те условия, которые рукотворны, планомерно создаются в процессе освоения Севера. Хорошо известен город Норильск — прославленный Норильск, который нередко называют маленьким Ленинградом. Там многие условия жизни человека не просто хороши — замечательны, там многое сделано образцово. Жаль, что ни Тюменский север, ни зона БАМа пока ни в какое сравнение с Норильском не идут. И дело тут не только в том, что эти два обширных района стали осваиваться много позже...

— Если уж вы коснулись прошлого, то позвольте вспомнить о людях. Мне в самые первые годы казахстанской целины пришлось работать там, строить узкоколейку. Часто спрашивают: «Каковы характер-

ные черты целинника?» Почти не задумываясь, отвечаешь: молодость, энтузиазм, романтика, огромная работоспособность, готовность к самопожертвованию. Ну, а каков сегодняшний «осваиватель»? Многие склонны считать, что у него поубавилось романтики. Что он не прочь поставить свои материальные интересы во главу угла. Что он стал рациональнее, суше... Интересно, какими данными о наших молодых современниках, работающих в Сибири и на Дальнем Востоке, располагают социологи? Что вы можете об этом сказать, Виктор Иванович?

— Абсолютно уверен, что, как и прежде, для большинства молодых привлекательно участие в трудном и почетном деле освоения. Привлекательно возможностью «развернуться», жить в полную силу, в полный рост. Не последнее дело — романтика первопроходчества... Но манит и другое — повышенная заработная плата (целая система коэффициентов к зарплате). И удлиненные отпуска. И более ранний выход на пенсию (хотя для молодых людей это вроде бы не актуально). И бронирование жилья там, откуда человек едет на Север. И возможность вне очереди приобрести некоторые остродефицитные товары, например, автомашину. Поричать за это человека? Не думаю. Он и романтик и рационалист. И хочет, как бы это сказать, идти в ногу со временем...

Здесь мне хотелось бы несколько укрупнить проблему и попытаться дополнить портрет сегодняшнего осваивателя существенными деталями. Сегодня нетрудно на Север привлечь — трудно удержать, закрепить. И закрепить не сотни человек — сотни тысяч. Многие районы «северов» сильно напоминают проходной двор. Приезжает много людей, уезжает тоже немало. Например, чтобы один человек осел в здешних местах на относительно долгий срок, нужно «пропустить» через Север где трех, а где и пятерых.

Исследования показывают, что приживаемость новоселов невысока. Так, в книге Е. Малинина и А. Ушакова «Население Сибири», изданной в Москве несколько лет назад, сообщается, что среди переселенцев в города Среднего Приобья, которые прибыла сюда не ранее шести лет до момента обследования, только 30 процентов собирались остаться здесь на постоянное жительство...

— Наверное, Виктор Иванович, мы еще подробно поговорим об основных причинах отъезда молодежи с сибирскихстроек. А пока для размышления — небольшая, но, по-моему, типичный эпизод.

Совсем недавно я имел разговор с директором крупного украинского завода. Оттуда на БАМ должна была поехать по комсомольским путевкам группа молодежи. «Ни одного специалиста не отпускаю», — категорически заявил директор. — Что же это получается? Люди при нашем заводе ПТУ заканчивали. Потом лет пять мы растили из них рабочих высокой квалификации. Рассчитывали, что это будет достойная смена нашим ветеранам. А теперь возьми их и отдай! Нет, это не по-хозяйски. Пусть едут новички. Есть у нас молодежь — только-только на завод пришла... И потом подумайте, — продолжал директор, — классный специалист, скажем, токарь-универсал, которого любой завод с руками и ногами возьмет, — у каждой проходной объявление — требуются да требуются... Так вот, этот специалист приезжает на сибирскую стройку, где на первых порах не только токарного станка, лишний гайки не сыщешь. Он и работает там разнорабочим, день за днем теряя квалификацию. А мы здесь маемся...

И все-таки специалисты правдами и неправдами уезжают на «севера». Отчасти их можно понять: люди молодые, тянет их большое дело. А вот тех, кто на местах отбирает людей для стройки, понять труднее.

Несколько лет назад в Нижнеангарск — это на Бурятском участке БАМа — прибыл комсомольский строительный отряд «Ленинский комсомолец», и там среди ребят было немало уникальных специалистов с Ленинградского оптико-механического объединения и других предприятий. Они, как и все, работали на просеке. И надо сказать, у них работа долго не спорилась. И бензопилу и топор для обрубки сучьев многие не то чтобы впервые держали в руках — впервые видели... То есть для БАМа — прав директор! — эти высококвалифицированные в своей области специалисты были такими же «зелеными», как, скажем, и вчерашние выпускники школ. И немудрено, что многие из них вернулись домой, к работе, которая приносила и большее удовлетворение и большую пользу обществу.

— Этот возврат, вероятно, во благо. Хотя накладно гонять людей из конца в конец страны. Да и морально всегда тяжело человеку, который возвращается домой не солоно хлебавши.

Рассказанное вами очень интересно. Думаю, соответствующие организации возьмут этот отрицательный опыт на заметку...

— Теперь, Виктор Иванович, хотелось бы поговорить о главных мотивах отъезда из районов освоения. В начале этого года у нас в редакции произошла встреча с молодыми передовиками подшефной стройки Тюмень—Уренгой. Давний друг «Юности», прославленный транспортный строитель Герой Социалистического труда Виктор Молозин рассказывал, в каких тяжелейших природных условиях его бригада укладывала последние сотни метров дороги на Уренгой. «Все говорят: самоотверженность, героизм, а мои ребята улыбаются, плечами пожимают. Для них работа в суровых условиях — привычные трудовые будни. А вот когда к естественным трудностям примешиваются искусственно созданные — мол, ничего, ребята героические, как-нибудь и с этим справятся! — тут мы на дыбы. Не надо похвал. Похвалами сыт не будешь. Дайте материалы! Обеспечьте нормальными бытовыми условиями!..» Проставила знаменитая бригада на самых подступах к Уренгою, пока шел между ведомствами спор, откуда брать шпалы для последних километров трассы.

Слов нет, нелепо преодолевать героическими усилиями трудности, созданные по чьей-то бесхозяйственности, недомыслию, халатности, а порой даже из соображений некоторой экономии. И тем не менее приходится. «Юность», например, уже не раз писала о проблемах временного жилья для северян. Однако и сегодняшняя «временка» на БАМе заставляет людей «героически преодолевать» элементарное отсутствие удобств — водопровода, канализации, отопления. Люди, как и прежде, дополнительно перегружены неустроенностью. Она отпугивает их от стройки...

— Массовые обследования в нефтяных районах Западной Сибири показали, что среди отъезжающих действительно «первенствует» мотив неудовлетворенности жилищными условиями. Эту причину назвали 46 процентов тех, кто собирался покинуть Север.

На втором месте — неудовлетворенность снабжением продовольственными и промышленными товарами

ми. Эту причину назвали 38 процентов собравшихся уехать. Думаю, что для вас это не неожиданность. С одной стороны, здесь иногда можно приобрести то, что дефицитно в других местах. С другой — здесь часто дефицитно то, чего на Большой земле в избытке. Как вы знаете, особенно плохо обстоит дело со снабжением овощами и фруктами, свежим молоком и молочными продуктами. Особенно страдают от этого женщины — беременные и кормящие матери, а также малые дети. В специфических условиях Севера витамины и многие жизненно важные микроэлементы особенно важны, а основной их источник — именно овощи, фрукты и молоко.

Следующая причина — неудовлетворенность культурно-бытовыми условиями. Ее назвали 35 процентов отъезжающих...

— Очевидно, здесь они имели в виду не только отсутствие клубов, библиотек или, скажем, неважное кинообслуживание? Речь шла о большем?.. Наверное, и вам, Виктор Иванович, приходилось видеть в общежитиях строителей у тумбочки на месте вахтера молодых девчат. И определенно у вас, как и у любого другого, возникал вопрос: «Стоило ли ехать сюда, в глушь, за тысячу верст от родного дома, чтобы сидеть вот так в полудреме, наблюдать, как твои сверстники делают большое, важное для страны дело?» Но вот я как-то разговорился с девушкой-вахтером. И выяснилось, что по образованию она инженер. Приехала к мужу. А поскольку работы по специальности пока не нашлось, «переживает» в вахтерах... Потом и с другой разговаривал. И эта не ради «теплого местечка» пошла в вахтеры. Год сынишке. В садике-яслях мест нет, пришлось оставить работу штукатура-маляра высокого разряда и пристраиваться в общежитии. В заработке, конечно, проигрыш. Зато дитя присмотрено...

Пожалуй, на любой сибирской стройке можно встретить женщин-специалистов, выжидающих, куда на их профессию появится спрос, и чаще того вынужденных — особенно когда ребенок на руках и нет места в садике — бросать работу и уезжать к родителям на Большую землю...

— Да, с детскими учреждениями на Севере дело обстоит неблагоприятно. Детей много, ибо много молодых семей, а яслей и детских садов всего ничего... Но плохие культурно-бытовые условия — это в тяжелые условия быта в узком смысле слова: неоснащенность жилья инженерными сетями, «удобства» во дворе, подвоз воды автоцистернами...

Наверное, заметили, уже по этим трем причинам набирается много желающих уехать. Ничего удивительного. Каждый опрошиваемый имел возможность назвать несколько причин. Поэтому общая сумма мотивов отъезда нашего превышает сотню процентов.

Далее идет недовольство оплатой труда. Этот мотив выдвинули гораздо меньше людей, подумывающих об отъезде, — всего 18 процентов. Почти столько же — 17 процентов — неудовлетворены климатом. Что касается климата, тут дело ясно. Те, кого страшил климат Среднего Приобья, как правило, туда и не поехали. А случайно попавшие быстро сорентировались — и домой. Поэтому недовольных тут мало. Замечу, кстати, что нефтяные районы Среднего Приобья расположены не в каких-то северных широтах, — это примерно шестидесятая параллель, широта Ленинграда. Конечно, здесь климат суровее ленинградского, но это не экстремальные условия Ямала, Якутии или Чукотки...

Одним словом, результаты конкретных исследований наилучшим образом подтверждают то место из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду КПСС, где сказано: «Человек уезжает, скажем, из Сибири чаще всего не потому, что ему не подошел климат или мал заработок, а потому, что там труднее получить жилье, устроить в детский сад ребенка, мало культурных центров».

Мне кажется, что отчасти наши кадровые беды из-за недостаточной информированности. Имей, к примеру, руководитель какого-нибудь северного подразделения постоянно перед глазами тот расклад по отъезжающим, который я здесь приводил, он, я уверен, обратил бы большее внимание на строительство жилья, на лучшую организацию быта. Между прочим, цифры, которыми я тут оперировал, не за семью печатями. Они взяты из деловой статьи Татьяны Гапоновой, которая была опубликована в журнале «Социологические исследования» несколько лет назад...

— Такой журнал. Виктор Иванович, не в каждой московской библиотеке найдешь. Это к вопросу об информированности... Мне хотелось бы заострить внимание вот еще на чем. Вы не хуже меня знаете, что традиционно с руководителя на «северах» главный спрос за физические, так сказать, объемы — готовый к эксплуатации участок дороги, мосты, постоянные поселки и города. Что касается «временки» или таких мелочей, как водопровод или теплые «удобства», — здесь спрос во вторую очередь. В результате — массовые отъезды. А каковы экономические последствия высокой текучести кадров? Что мы на этом термее?.. А может, все так и должно быть? Может, в этом есть какая-то «сермяжная правда»? Человек ведь и не обязывался жить на Севере постоянно. Одни уехали — другие приедут. Поток желающих осваивать новые земли неиссякаем. Загляните в любой райком комсомола...

— Боюсь, что ваши вопросы чисто риторические. Однако они достаточно типичные. Такие вопросы я слышал от многих. Давайте потолкуем.

— Знаете, как старожилы говорят? В Сибири и гвоздь забивается не как на Большой земле. Сказано, думаю, не для красного словца. Даже очень хороший специалист должен привыкнуть к новой ситуации, вжиться в нее. А ведь здесь и климатические неудобства. И изрядная организационная неразбериха на первых порах. И нехватки. Здесь нужно уметь бережно расходовать оборудование, и материалы на строжайшем счету. И поначалу многое доставляется по воздуху. Здесь упор делается на инициативу каждого, никто тебе ничего на блюде не поднесет. И вместе с тем профессиональная адаптация, возможность как можно скорее включиться в дело зависят от того, насколько ты быстро вошел в коллектив, узнал плюсы и минусы товарищей по бригаде. Ведь еще вчера вы были совершенно незнакомы, приехали сюда с разных концов страны, а сегодня живете в одной комнате общежития, работаете бок о бок. Словом, процесс создания работоспособного коллектива из людей «непритерпевшихся» порой растягивается на много месяцев. И в это время деловая отдача, конечно же, неполноценна. Как тут быть?

Очень интересный опыт накопили ленинградцы. Этот опыт, кстати, был использован при подготовке Всесоюзного ударного строительного отряда имени XXVI съезда КПСС. Хочется рассказать о практи-

ке ленинградцев. Перед тем, как послать очередной комсомольский строительный отряд в район освоения, ленинградский обком комсомола устраивал добровольцам своеобразные сборы. В течение нескольких месяцев кандидаты в отряд живут в общежитии в условиях, приближенных, скажем, к бамовским. Живут по очень жесткому расписанию, работают на заводе или стройке, стараясь овладеть специальностью, которая может пригодиться на стройке. Слушают лекции об условиях жизни и работы в Сибири и на Дальнем Востоке, встречаются с посланцами БАМа... Мне приходилось бывать на таких сборах, наблюдать за ребятами. Не все выдерживают тяжесть суровой дисциплины, напряженной работы в условиях, приближенных к бамовским. Не всем удавалось «вписаться» в коллектив. Такие отсеивались, и никто им не пенял. Человек не выдержал испытаний, бывает. И хорошо, что здесь выяснилось, а не там. Но зато там коллектив держался крепко. Припоминается одна суровая зима в Уояне, на Бурятском участке БАМа. Стояли страшные морозы. Не работала техника. Не летали самолеты. Ребята-ленинградцы сидели без дела не одну неделю. Не было заработков. Трудно было с организацией питания. Но никто, как говорится, не пикнул, и, когда трудности остались позади, ни один человек не покинул отряд. К этому опыту еще бы и более продуманную и серьезную подготовку по ходовым бамовским профессиям...

— Ленинградский опыт — дело, безусловно, перспективное, и хотя проблема закрепления человека на «северах» здесь решается в одностороннем порядке, это серьезный заслон и материальным и моральным издержкам... Поговорим о другой стороне. К сожалению, в район освоения в массе своей пока прибывает необкатанная, «зеленая» молодежь. Люди городские. С высоким общим образованием. Часто вовсе не имеющие профессии. Через два-три года они становятся квалифицированными работниками. Хорошо адаптируются к местным природным условиям (первые один-два года переселенец чувствует себя на Севере как бы «не в своей тарелке»: у него сердцебиения, одышка, ощущение слабости, «разбитости»). У этого молодого, здорового, уже квалифицированного человека создается семья, заводятся ребенок, и то, что вполне удовлетворяло его в положении одиночки — общежитие, общепит, бытовая неустроенность — теперь становится совершенно нетерпимым. И вот этот очень нужный народному хозяйству Севера человек уезжает, а на его место приходит очередной молодой энтузиаст, которому опять потребуются два-три года, пока он полноценно заменит того, который ушел. На этом постоянном замещении народное хозяйство Севера теряет очень много. Но эти потери никак не учитываются. О них ни строчки ни в какой отчетности. А зря. Эта бесконечная замена существенно сказывается на производительности труда и качестве работы.

— Вспоминается, когда строительство БАМа только начиналось и десятки тысяч молодых энтузиастов двинулись из родных мест в Сибирь, в районы и горкомы комсомола нередко наотрез отказывали в комсомольских путевках семейным. Отказ звучал основательно. Трасса БАМа пройдет по местам необжитым, вдалеке от традиционных центров. Доставка туда лишнего гвоздя обходится в копейчку, что говорить о дополнительных стройматериалах для жилья семейных... Кроме того, в первых таежных десантах не было ни малейшей нужды в женских

руках. Работа тяжелая, «топорная» — валка леса, строительство временных поселков... Однако такая нужда появилась, как только десант начал «обращаться бытом». Понадобились магазины, столовые, пекарни, бани, прачечные, школы, медпункты, а значит, и продавцы, пекари, повара, врачи, учителя. Словом, на стройку потянулись остро необходимые для сферы обслуживания женщины-специалисты. Вслед за ними прибыли семьи кадровых транспортных строителей. И, наконец, когда на запрет махнули рукой — потока женского все равно не сдержишь, — стали приезжать жены добровольцев. Тех самых добровольцев, которые когда-то скрыли свое семейное положение, лишь бы получить желанную комсомольскую путевку на БАМ.

Словом, жизнь внесла коррективы, казалось бы, в самые непогрешимые расчеты. А по-иному, видно, и быть не могло. Стройка-то — уже не раз об этом говорили — молодежная. Люди здесь в том возрасте, когда в пору создавать семьи, обзаводиться детьми... А тут еще одно немаловажное наблюдение. Семейные здесь, на стройке, приживаются основательнее. У них серьезный материальный стимул. Две зарплаты — не одна. Семейные быстрее, чем холостяки, скапливают сумму, необходимую для приобретения машины, ковров, холодильников. И никаких бесконтрольных трат!

Уже в 1975 году выяснилось, что среди строителей шестнадцать процентов — семейные. И обнаружили негативные последствия ориентации на холостяков. Вспомнить хотя бы пресловутые «нахаловки» — поселочки из балков, кое-как сколоченные из разного строительного хлама. Так, с помощью «самостроя» семейные не первый год решают острые жилищные проблемы на сибирских стройках...

— Словом, получается замкнутый круг. И разорвать его можно только, организовав в новых городах и поселках такие условия жизни, которые бы компенсировали неизбежные трудности, создаваемые природой, отдаленностью от развитых районов, малонаселенностью. Конкретные показатели разных условий должны быть установлены научными исследованиями и проверены на практике. Однако кое-что известно уже давно. Хорошо, например, известно, что на севере нужен особый рацион питания. Он должен быть белково-жировым, в отличие от углеводно-белкового рациона жителей средних широт. Он должен быть более калорийным и более витаминным. С достаточным содержанием микроэлементов, которые часто отсутствуют в местных водах и местных растительных продуктах. Хочется повторить, что чрезвычайно важно на Севере свежее молоко. Хорошо известно также, что жилье северянина должно быть более просторным, по сравнению с жильем в средних широтах. Ведь северянину приходится значительно больше времени проводить в жилых помещениях. Особенности климата!

— Не хуже меня знаете, Виктор Иванович, — все это непросто учесть, когда начинаешь «с нуля», где-то вдалеке от Большой земли, на таежном пятачке. Первопроходцам так или иначе приходится испытывать перегрузки. Не сразу город строится. Жизни в вагончике не минуешь. По-моему, тут важно, чтобы первостроительский период не затягивался. Чтобы люди, которые строят города, не были обделены ни нормальным бытом, ни нормальным культурным обслуживанием, ни современным уютным жильем. Пока получается так: строим красавицу города, ютясь в убогой «временке»...

— Да, если считать, то давайте считать все. Многие временные поселки перерастают в постоянные или более того — становятся частью города. Представьте, в какую копеечку влетает реконструкция «временки», не говоря уже о ее непоправимом внешнем виде, который отнюдь не украшает городской пейзаж... Вообще города рождаются трудно и получаются, на удивление, одинаковыми. Исключение — уже упоминавшийся Норильск и Надым. Они показывают, что и северные города все же могут быть отличными. При единственном, правда, условии — отсутствии ведомственности в застройке. В Норильске действует горно-металлургический комбинат, который всем в городе распоряжается. Все сводит в единый комплекс. Единый заказчик и у Надыма...

— А мне при разговоре о ведомственной застройке вспоминаются первые годы нового Сургута. Длинной, многокилометровой цепочкой встали вдоль Оби поселки: нефтяников, геологов, геофизиков, строителей, речников, рыбаков... Каждое ведомство строило свой отдельный поселок, со своими котельными, электростанциями, магазинами, столовыми, банями, клубами... Все это маленькое, убогое, плохо удовлетворяющее потребности быстро растущего населения. Очень малопроизводительное, дополнительно требующее немалых затрат и большого обслуживающего персонала...

Всегда думаешь: каков «механизм» возникновения этих диспропорций? Как сделать, чтобы они не воспроизводились впредь на новых территориях? Освоение продолжается.

— Некоторые диспропорции заложены уже в проектировании. Так, насколько я знаю, до сих пор число мест в детских дошкольных учреждениях рассчитывается на 1000 средних жителей, а не на 1000 детей, которые должны эти учреждения посещать. Как вы знаете, малых детей на Севере много — здесь значительная доля молодежи. То есть на «северах» не «рождаемость высока», как обычно пишут, а велика доля родителей в населении. Создается много новых молодых семей. Они заводят первых детей, вот и весь секрет. И это легко учесть при проектировании. Трудно понять: почему это не делается.

Далее, во многих случаях на жилищное и культурно-бытовое строительство выделяется, как мне представляется, недостаточно средств. Но это вопрос сложный, и едва ли его стоит сейчас обсуждать.

А вот что совершенно несомненно, и вы этого отчасти уже касались, планы жилищного и культурно-бытового строительства в районах освоения обычно не выполняются даже тогда, когда планы строительства производственных объектов перевыполняются. Здесь-то и возникают главные диспропорции.

Почему это происходит?

Как правило, и производственное, и жилищное, и культурно-бытовое строительство ведут одни и те же строительные организации. Обычно их мощности недостаточны, то есть, говоря другими словами, им в план включают больше объектов, чем они могут построить, дают большую строительную программу, чем они могут выполнить. Тем самым строительные организации неизбежно должны выбирать, что строить, а что «погодить». Как уже говорилось, спрос за производственные объекты и соцкультбыт разный. А кроме того, производственное строительство часто куда выгоднее строительным организациям, чем вся эта культурно-бытовая «мелочёвка». Отсюда понятно, что строится в первую очередь, а что — во вторую, в

третью и т. д. Думаю, что для исправления положения, здесь надо возложить на одну организацию промышленное, на другую — социально-бытовое строительство. Чтобы положить конец практике, когда непостроенные жилые дома, детские сады и клубы с избытком перекрываются, скажем, закладкой фундамента еще одного цеха, в котором со временем будет трудно с рабочей силой — люди-то разбегутся.

Как было сказано в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии, есть еще у нас хозяйственные руководители, которые к улучшению условий быта относятся как к чему-то второстепенному...

«Надо обеспечить жесткий контроль за тем, чтобы средства на социальное развитие предприятий, городов и сел использовались точно по назначению, полностью и в установленные сроки. В рапортах с мест о вводе новых промышленных объектов обычно не указывается, что сделано для тех, кто здесь будет работать, сколько построено жилья, детских садов, библиотек и профилакториев. Давайте условимся — считать такие рапорты действительными лишь в том случае, если выполняется также и предусмотренная планом программа жилищного и культурно-бытового строительства на объекте».

Для исправления положения на Севере это указание имеет громадное значение.

Не раз приходилось слышать: строительство Байкало-Амурской магистрали задает темп освоению Сибири и Дальнего Востока. Вот так быстро, энергично, самоотверженно работать и дальше — осваивать богатейшие земли, через которые пройдет магистраль. Но, на мой взгляд, на БАМе, кроме темпа, закладывается еще и образ освоения. Какими будут дороги, мосты, тоннели в новых перспективных районах, можно понять, увидев БАМ. Как нужно относиться к суровой, уникальной и очень ранимой природе края? И на это может сегодня ответить БАМ. Как будут жить люди на новых территориях? Опять-таки можно получить ответ на БАМе. Впрочем, он дает немало примеров и тому, как не должен жить человек в районах освоения...

— Что еще немаловажно: освоение придется вести более экономно, в том числе и с демографической точки зрения. Теперь на Севере живет около восьми миллионов человек. Ежегодный прирост в отдельные годы прошлого десятилетия превышал 200 тысяч человек, главным образом за счет приезжих. В 80-е годы выделить для Севера такое количество дополнительного населения страна не сможет — трудовых ресурсов сейчас очень недостает.

Таким образом, создание для Севера нормальных условий быта становится еще более важным, ибо это один из решающих стимулов повышения производительности труда. Здесь нельзя терять темпов. Наступление на «севера» продолжается.



ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ

☆☆☆

Небо южное необозримо,
жизнь и смерть у него на виду...
Я, малыш, на руках у родимой
снят фотографом в летнем саду.

Этот мальчкн не понимает
ничего еще в жизни земной,
просто мать его ввысь поднимает
над кустом,
над цветком,
над травой...

Разве это не главная участь,
что за дни свои вызнала мать,—
прозревая, надеясь и мучась,
сына ввысь
поднимать,
поднимать!

Все я принял: любовь и раздоры.
В дом входили мой
честь и беда.
Если б вспомнилось, что за просторы
мне с той выси открылись тогда!

☆☆☆

Живу в тепле, в окно гляжу,
товарищей перевожу
с казахского на русский,
с болгарского на русский...

А было время: с толмачом
скакал в Орду боярин,
и толмачу все нипочем —
такой уж ухарь-парень.

И речь достойную держал
боярин непреклонно...
Толмач нисколько не дрожал,
переводил синхронно.

Махнул озлобившийся хан,
и отвели их за курган,
и пали под одним мечом
боярин с верным толмачом.

Ах, мне бы эти страсть и пыл,
жизнь с круговертью,
чтоб друга я переводил,
как перед смертью!

☆☆☆

Перевернем еще одну страницу
не просто жизни — книги бытия.
Не ведаю, что мне еще приснится,
не ведаю, чем очаруюсь я.

Но то, что было,
было так прекрасно,
мучительно,
негаданно,
светло,
я создавал твой облик ежечасно,
лепил твой милый образ набело.

Дай бог тебе всего.
Пусть не обидит
тебя судьба, а мне отрада в том:
никто тебя на свете не увидит
мною сотворенной в воздухе ночном.

☆☆☆

Пишешь мне:
«Замуж меня позвали».
Повторяешь:
«Я замуж пойду».
Я не то чтоб забылся в печали,
не приму те слова, как беду,

но я чувствую так, если б кто-то
доказал, разрушая мечты,
что фальшива зари позолота
и что крашены краской цветы.

☆☆☆

Он был человек невеликий,
точнее — поэт никакой,
но критики вдруг его книги
прославили, тешась игрой.

Он с этим успехом обвыкся,
так лстившим душе и уму...

А я, ему чуждый, проникся
вдруг жалостью странной к нему.

☆☆☆

Как старых писем строки,
забытые друзья,
но их с твоей дороги
уж отвести нельзя.

Задумайся по сути
о них ты, хоть чуть-чуть —
не кто-то, а те люди
с тобою вышли в путь;

вы — молодыми — вместе
мечтали в давний миг
о той высокой чести,
что ты один достиг.



ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

В парке

На карусели, на чертовом копесе
ну все от меня упетели, все!

Один в этом парке,
как в сорок пятом году —
в тех желтых ботинках на картонном ходу.

Еще разруха. И хлеб еще сыроват.
В Нескучном глухо. В Нескучном шапят.

Зепеный профиль растет на газоне. Жара.
Сырые доски купапен скрипят с утра.

Буянит гвардеец. Встали не с той ноги
от европейской пыли отчищивны сапоги.

И явственный запах счастья,
сдобренного нищетой,
витают в сквозных аппеях
над москворецкой водой.

И ничего еще неизвестно:
ни план на ближайшие полчаса,
ни кто ко мне выскочит
лет через тридцать
из чертова колеса

...и потащит меня в сырую путаницу
песен, весел, листвы и светил,
как будто можно уйти откуда-нибудь,
где ты когда-то был...

Дом испанских детей

К особняку вьетнамского посольства
ползут машины. Хочется понять
московских лиц ведьмаческое свойство —
влюблять пюдей и времена менять.

Повеет с веток, и взойдет бупыжник
через асфальт, и мы — в тридцать шестом.
Еще поют старьевщик и барышник.
Уже бедой отмечен этот дом.

Уже веселых листьев перебранка
не заглушает странных голосов.
Худы и смуглы беглецы от Франко —
они уже остались без отцов.

Когда, ревнитель Интербатальона,
в испанке с желтой кисточкой иду,
они кричат мне дико: — Эспаньола!.. —
и кормят тульским пряником в меду.

И сердце пятилетнее разбито
из-за косынки с желтой попойкой.
И песенка по имени Челита
меня щекочет жесткою косой...

Сегодня провожу тебя вдоль сквера.
Не сбросив гнет привычных передраг,
под скучным взором мипиционера
пойдем с тобой, минуя особняк.

И запах, как невидимая птица,
спетит неслышно с липы угловой.
Люблю тебя!.. Скажи мне, что спучится
с моей бпажной садовой головой!

Далекий тот день. Далекий. И мы с ним квиты...
И разве дасть счастливее, чем близь!..
«Для нашей Чепиты
все двери открыты,
она так мипа...»
Не сердись.

☆☆☆

Вечерней птице над Нескучным
дай помолюсь: ее круги
пока видны за камнем душным —
все живы: друзья и враги.

Закат над влагой москворецкой —
источник радости простой,
такой короткой и недетской,
что смерть — как выстрел хопостой.

Забот сыновних и дочерних
вам, горожане! Жизнь груба.
Но есть в Хамовниках вечерних
своя догадка и судьба.

И птица над Нескучным садом —
в крыпатои образе покой.
И перед близким звездопадом
суров и счастлив взор пюдской.

Ворона

Спушай, старая бабушка,
спушай, сварпивая Роми,
я хочу рассказать
о живущей над нами вороне.

Вон, над нашим окном,
всем окрестным открыта квартирам,
вновь сидит эта птица
с загадочным внутренним миром.

Я не верю,
что правят вороной простые инстинкты,
и дружку-орнитопугу я говорю:
— А иди ты!..

[Эта строчка, положим,
совсем из стихов Евтушенко...]
О ворона!
Не скряга, не сплетница, не иждивенка!

И заступница голубю!
Кошке кровавой острастка!
Как прекрасны воронье лицо
и воронья окраска!

Мне все кажется,
есть в ней старинное очарование.
Я подспудно в ней чую
глубокое образование.

Так вот голову набок склонив
над худыми плечами,
смотрят те, кто любил и страдал,
и познал, и печален.

Но и юмора в этой вороне
немапо осталось,
потому что последней смеется
не юность, а старость.

Мне, ей-ей, повезло, оттого,
что мы с нею — соседи.
Я ворону люблю.
Я боюсь, что ей трудно на свете.

Словно хпилкая шлюпка,
качается утлая ветка.
Почему-то достоинство в мире
встречается редко.

Бедный снегирь

«Что ты заводишь песню военну...
Г. ДЕРЖАВИН

Мне страшно это молвить вам,
но детям надо помнить это:
не верь поступкам — верь словам,
когда они — слова поэта.

Кому он руку подавал!
Каким беспутствам был потатчик!
И полон был его подвал
каких позорнейших подачек!

Его оправдываю? Нет.
Его жалею? Лишь отчасти.
Кто знает, из чего поэт
соткал для нас вот это счастье:

«Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снегирь!»

Ранняя зима

Фонтанки каменная просека.
Сквозного ветра слабый ток.
Вода у Чернышова мостика
таит игольчатый педок.

К утру он, видимо, проявится
и матереть начнет... Эхма,
та неприметная красавица —
у пьвов — она была Зима!

А мы-то к ней и с комплиментами
и с разговором. Ну, дела!

Она — как с шалыми студентами:
взглянула молча и... прищипа!

Так из-за шалости, безделицы,
из-за беспечных наших ртов
теперь суровой жди метелицы,
больших и трезвых хоподов.

☆☆☆

Помнишь ли, мама,
лошадку Челиту киргизской породы!..
Рядом, в Европе,
в кровавой толкучке столпились народы.

Здесь, на козыльном, польном
степном оренбургском раздолье,
песни твои — это плач о друзьях,
о вселенском раздоре.

Кабы не верила детской земле своей
верой дикарской,
так и не знать бы мне
нищей станицы —
казацкой, татарской...

Руки твои пререкаются тихо
с кривыми вожжами.
Встала телега:
одно колесо скособочилось в яме.

Пристальный коршун угрюмо стоит
посреди небосклона.
С белой оглобли
за нами следит коготок скорпиона.

Пылью верблюжьей и дымом кизячным
чуть веет с востока.
Жарко.

И страшно,
что немцы за лето пробьются далеко.

Набожный суслик возносит мольбу
за меня, иноверца...
Только не пой
этих страшных романсов
про бедное сердце!..

Проповедь

Слушайся родного языка.
Мало, не насилуй — не перечь.
Чувствуешь, как легкая рука
на плечо легла: родная речь!

Что ты упираешься, чудак,
что ты ей не веришь, как Фома!
Подтолкнет в овраг — ступай в овраг,
заведет во тьму — благая тьма!

А твоя забота об ином:
помни, что во облацех темно,
и в суровом шестивии земном
разум и рассудок не одно.

Впрочем, эта проповедь глупа.
Как в ней разделить добро и зло!
Ремесло еще ведь не судьба.
А судьба уже не ремесло.

ПЕТР
ВЕГИН

Формула Весны

Ты шла, как формула Весны,
и все тебя решапи,
и, оборачиваясь,
выдыхапи свой ответ.
Но даже еспи вместе взять
хопсты, стихи, скрижали,
не вытанцовывается
ответ на бепый свет.
Чему равны твои глаза,
чему равна улыбка?
Смешно, чтоб тайна рук и ног
была как дважды два!
Стал гением, кто допустил,
ища тебя, ошибку —
решив, что он решил тебя.
А тайна все жива.
Я знаю двух учеников,
приблизившихся к цепи.
Их гениальные хопсты —
как бы черновики
решений формулы Весны.
Вопшебен Боттичеппи,
он бы решил, да стал плести
антихристу венки.
А в Петрограде голодал
всемирно неизвестный
Фипонов Павел — комиссар,
сменивший пистолет
на кисть. Он формулу Весны
решительно, но трезво
решил. А чем точней ответ,
тем сказочней секрет.
Фпоренция и Петроград
хранят нам две шпаргапки.
Но я им предпочту тебя,
а формулу Весны
решить и будущей зимой
не будет нереальным,
раз гениальнее любви
нет в мире новизны!

☆☆☆

Любуюсь мускупатурой,
когда моподой народ
вязанки макулатуры,
посмеиваясь, несет.

Читатель — губа не дура —
давно уяснил структуру:
развитие питературы
зависит от макулатуры.

Приемщик посмотрит хмуро
и скажет, что оценен

поптонной макулатуры
Ппатонова том.

Правда сильнее кривды.
Пусть критики варят крышон,
но макулатурный период
пока что не завершен.

И все же из дальнего будущего,
все чаще приходит на свет:
закрыты приемные пункты —
макулатуры нет!

Стихи о собаке

1

Здравствуй, собака!
Расскажи мне о жизни Паруйра Севака.

Четвероногий черный глаз,
как сахарком ни подкупаем,
ты видишь все, на что подчас
глаза мы сами закрываем.

На свете нет плохих собак.
Люблю и сеттера и бигли.
Но нет правдивее дворняг,
как утверждает Уленшпигель.

Хранят овчарки гаражи,
и колпи сторожат музеев.
Дог охраняет барыши,
от коих люди оборзели.

И только уличный бастард
где хочет лапу поднимает,
изваляя в наших новостях,
о людях все на свете знает.

С того и воет на луну,
что видит он, пугливо горбясь:
как из Герасима — Муму,
торчит из чеповека Совесть!

Однажды весь базар скуплю,
на площади поставлю плошки,
и всех припудных накормлю,
отдам все до последней крошки,

и пусть тогда заговорит
о нас вся стая разом,
и пусть тогда народ стоит
пред их шекспировским рассказом.

2

Собачья смерть не легче чеповечьей.

Смерть ходит не в тряпье, а в подвенечном.
Для чеповека, пса или стрижа
она неотразимая невеста.
Я помню, как взлетала в поднебесье
его четвероногая душа...

И я за ней однажды приударю,
приворожу игрою на гитаре
невесту вечную, войду в ее чертог.
Там будет все не так, как в мире этом:
я буду лсом и будет пес поэтом.

Не позабыть бы только поводок.



Выпуск 8

ПАМЯТЬ

**ТАК
НАЧИНАЛАСЬ
ВОЙНА**

**«...ВСЕ СИЛЫ
ОТДАМ
ЗА СВОЮ СТРАНУ...»**

ПОГРАНИЧНИК ЕВГЕНИЙ ГАГАРИН:

23 августа 1941 года

Этот выпуск «Памяти» мы посвящаем
сорокалетию со дня начала
Великой Отечественной войны.
Курсант Евгений Гагарин,
капитан Алексей Рогов,
капитан-лейтенант Борис Челюбеев —
трое из сотен тысяч бойцов
и командиров, которые приняли на себя
первый удар
в памятные дни июня сорок первого года.
Пограничник Евгений Гагарин
ушел на фронт прямо из аудитории
военно-политического училища
и в качестве помощника командира взвода
защищал подступы к Ленинграду.
Командир эскадрильи Алексей Рогов
начал войну в небе Латвии.
Потом воевал под Москвой.
Инженер-механик Борис Челюбеев
бил фашистов в северных морях
на легендарной подлодке «Красногвардеец».
Евгений, Алексей, Борис не пришли с войны.
Остались письма,
которые они писали своим родным и близким.
В этих письмах —
обстановка суровых военных будней.
Ненависть к вероломному врагу.
Беспокойство о судьбе Родины.
Грусть по недавним мирным дням.
Твердая решимость выстоять
в сражениях и победить.
Так начиналась война.

«Мои дорогие!»

Пишу очень кратко, т. к. обстановка не благоприятствует сочинению долгих писаний. Вот уже более недели я нахожусь со всеми своими товарищами в частях действующей армии на фронте.

Наконец и нам удалось участвовать в непосредственной схватке с фашистами. Их натиск будет окончательно сломен, и эти профессиональные убийцы не продвинутся вперед к городу Ленина ни на один шаг.

Настроение бодрое, т. к. мы все имеем твердую уверенность в своей победе. Уже мне пришлось действовать в разведке по тылам противника. Применяем партизанскую тактику и для ослабления его напа-
ра из фронте тревожим его в тылу.

Ваш Женя.

Письма пишите пока на старый адрес. Нам их доставят».

28 августа 1941 года

«Милые папа и мама!»

Обо мне не беспокойтесь. Я по-прежнему здоров, бодр, весел и часто-часто вспоминаю вас, мои хорошие. От вас я получил груды писем и бесчисленное множество телеграмм (многие из них с оплаченным ответом), но ответить на них не имею возможности. Точно так же не могу получить деньги, переведенные вами по почте и телеграфу. Я уже писал вам, что нахожусь в частях действующей армии, а следовательно, — в другом месте, чем то, на адрес которого вы пишете взши письма.

После того как я прослужил два года в армии, сегодняшний период является для меня экзаменом, который хотя и очень серьезен, но вполне преодолим.

Не беспокойтесь, если не будете в течение некоторого времени получать от меня писем. Всякие неожиданности в перерыве связи возможны. Но это вовсе не означает моей гибели.

Я все силы отдам за свою страну, да и за себя постою до конца, а уж если избежать гибели будет нельзя, то дорого буду брать за свою жизнь.

Крепко целую вас. Ваш Женя».

Евгений Гагарин погиб в сорок первом году в одном из сентябрьских боев под деревней Гостилицы Ленинградской области.

«ЛОВЧИТЬ В БОЮ Я НЕ УМЕЮ...»

ЛЕТЧИК АЛЕКСЕЙ РОГОВ:

12 июля 1941 года

«Здравствуй, дорогая Верочка!

...я жив и здоров и не имею даже царапины. Хотя за это время пережил много бомбардировок немцами и обстрелян. Пока вражеская пуля проходит мимо, но зато я это время много поработал. Думаю, что немалый урон нанес немцам.

Береги сыночка и себя.

...Целую вас, Алексей».

21 июля 1941 года

«Здравствуйте, мои дорогие дети — Верочка и Эдик! Я, дорогая Верочка, чувствую себя хорошо. Обо мне не беспокойтесь.

Немецкие стервятники сначала имели некоторый успех. Но сейчас их так пришибли, что их полеты вреда приносят мало.

...Из моих подчиненных все живы и здоровы. Сумел сохранить их. Все благодаря Рязани. Сейчас летчики и штурманы выражают благодарность за прошлогоднюю учебу в Рязани. Очень довольны. И я, конечно, тоже. Видел Смыкова на вокзале в Воронеже. Также не знает, где его семья. От тебя мне трудно получить письмо в связи с частыми переездами.

Любящий вас Алексей».

23 июля 1941 года

«Здравствуйте, мои дорогие и любимые дети — Верочка и Эдик!

Встретил здесь Вольфа и Кудряшова. Тебе от них привет. Привет также фронтовой от Лозичного. Кого только не встретишь на войне! То они у нас гости, то мы у них. Как меняет облик человек за короткое время. Насколько серьезней и деловитей становится хороший человек, а трус и шкурник — подлее к себе и товарищам.

Мои воспитанники держатся стойко и дерутся крепко. Многие представлены к орденам за отвагу и доблесть. Я доволен своей работой в мирное время, которая дает свои плоды сейчас...»

11 августа 1941 года

«...Несмотря на напряженную летную работу, тоска по вас не проходит. Может, немцев отгоним к па-



Курсант-пограничник Евгений Гагарин. (Из архива Центрального музея погранвойск СССР.)

шим границам, тогда можно будет поехать в Тулу к мамаше. Сейчас время работает на нас. Прелестная моя девочка! Приготовь себя к разлуке на весь 1942 год. Ранее разбить Гитлера вряд ли сумеем. Он сейчас силен и имеет опыт.

...Готовься на зимовку в Лукьянове. Постарайся купить сыночку овощей и швей ему обыкновенную овчинную шубу. Не печалься. Живи надеждой на скорое свидание. Расти сыночка...»

25 августа 1941 года

«...Не мучай себя страданиями обо мне. Старайся особенно не напрягать нервы. Так тебя не хватит на всю войну, а она будет еще два года. Пиши чаще. Твои письма служат лучшей наградой в моей тяжелой жизни. Писал полусидя, поэтому плохо получилось.

Целую. Любящий вас Алексей».

19 сентября 1941 года

«...Сейчас вся жизнь направлена к тому, чтобы как можно лучше и больше уничтожать немцев. ...Очень тяжело стало работать. Стоит дождливая погода, которая отнимает много сил и внимания. Морщины прибавляются...»

22 сентября 1941 года

«...У меня сегодня выходной день. Сейчас вернулся из бани. Закончу с посылкой — пойду обедать, потом отдых, затем ужин. ...А завтра опять работать. Позавчера крепко с Форносовым поработали: всех гансов, адольфов и густавов на автомобиль не уложишь. Правда, я тоже привез пробоины, но самочувствие и настроение хорошее. Я вспоминал, как они нас



Командир эскадрильи Герой Советского Союза капитан А. Г. Рогов.

гоняли в начале войны, но теперь они драпали смелее, видно, жить хотят крепко. Поработал как никогда!

Ну, все! Крепко целую. Адрес старый. Ваш Алексей».

29 сентября 1941 года

«...Три дня назад получил твое письмо от 19.9. 41 г. и телеграмму от 26.9. Твои письма для меня являются праздником, и я их жду с нетерпением.

Все трудности теперешней жизни... неизбежны. Надо чаще посещать Совет и райвоенкомат. Должны помогать всемерно эти две большие организации.

Трудности послевоенного времени переживем, лишь бы скорее война закончилась и уцелеть бы. Ловчить в бою я не умею и не хочу. Всегда иду в бой с готовностью умереть. Эта готовность воодушевляет, создает бесстрашие на уничтожение как можно больше этой коричневой сволочи. Без этого война сейчас бессмысленна...»

3 октября 1941 года

«...Позавчера был в Туле. Видел мать, Марию, Рачку, Танюру, Мамашу. Случай помог мне быть дома. Шестопалов с Поповым после боевого задания вышли на Тулу, их здорово обстреляли, и они немедленно сели в Мясново и сделали поломку. Я поехал со Степановым расследовать и всех объехал. Аничка уехала на фронт добровольцем и сейчас где-то под Ленинградом. От Сергея и Николая с начала войны писем нет. Наверно, погибли.

Верусенька! Прости, что обрываю писать письмо на полумысли. Сейчас вылетаю по особому заданию

ВВС. После прилета еще напишу письмо. Пиши чаще. Сейчас прилетел Мннин. Пропадал без вести 5—6 дней. Считался погибшим. Сидел около Выгладовки, прямо на моей родине.

Целую. Алексей».

5 октября 1941 года

«...Я здоров и немного поправился. ...Вчера сопровождал заседавшую у нас комиссию от США и Англии. Нагляделся генералов, полпредов и других чинов. Интересно это было бы рассказать устно, так как в письме все не опишешь... Одним словом, напомни после войны, расскажу...»¹.

Эта выдержка — из последнего письма Алексея Рогова. 8 октября 1941 года командир эскадрильи направил свой горящий бомбардировщик на скопление вражеских войск под городом Юхнове...

23 октября 1941 года в «Правде» был опубликован Указ о посмертном присвоении капитану Рогову звания Героя Советского Союза.

Пять лет назад в Юхнове был открыт памятник бесстрашному летчику.

¹ Письма Алексея Рогова передал в общесоюзное хранилище фронтовых писем москвич Ю. С. Лурье.



Североморец, инженер-механик гвардейской Краснознаменной подводной лодки «Д-3» капитан-лейтенант Борис Челюбеев.

«...ВПЕРЕДИ ЕЩЕ РЕШАЮЩИЕ БОИ...»

ПОДВОДНИК БОРИС ЧЕЛЮБЕЕВ

Май 1942 года

«Здравствуй, дорогая моя Милушка! Здравствуйте, мои сыночки!»

Милушка, уже год, как мы расстались. Так долго в разлуке мы еще никогда не были... Помнишь, год тому назад, 3 мая, я провожал тебя с детишками. В поезде Валуша на прощание так горячо меня обнял, как будто чувствовал, что надолго расстанемся. Теперь оба сына выросли. Хотелось бы одним глазком посмотреть, какие они стали.

Я жив, здоров, все в море и в море. Наша лодка стала гвардейской. Это очень большая честь — быть гвардейцем.

Впереди еще беспощадная, суровая война, впереди еще решающие бои...

Июль 1941 года

«Здравствуйте, дорогие мои Милушка, Валушка и Женечка.

Поздравляю Женечку с днем рождения и желаю от всего своего отцовского сердца счастливой и красивой жизни.

В суровое время растут наши дети, суровые они должны выдержать испытания, но зато постараемся их воспитать сильными, смелыми и бесстрашными. Чувствую, Милушка, что тебе очень тяжело придется. Сердце мое обливается кровью за тебя и детей, и растет ненависть к фашистским собакам. Ну, ничего, придет день, когда мы их сотрем с лица земли, уничтожим, как самую мерзкую падаль.

...Получил только одно письмо от мамы, ответил ей, но больше писем не получал. Мама писала, что мужа Леля — Пети — нет уже в живых. Да, тяжелые времена...»

Ноябрь 1941 года

«Мои дорогие, я жив и здоров, очень скучаю без вас. Как плохо, что так долго идут письма!»

Из Харькова вот уже два месяца нет писем, не знаю, что с мамой, папой, сестрами... Я очень беспокоюсь за родных: ведь они старики, выехать никуда не смогут.

...Сообщаю тебе неприятную вест: Нина Тыжненко с детьми погибла во время эвакуации из Таллина. Фашистские бандиты разбомбили поезд, а всех бегущих из вагонов расстреляли из пулеметов. Женя Тыжненко тоже погиб — на фронте. Погиб и Тильзо Мартин — лучшие мои друзья.

Милушка, сейчас надо быть мужественным и сильным для того, чтобы победить...»

Январь 1942 года

«Милые мои, как я скучаю без вас, как я хотел бы хоть на мгновение увидеть вас всех! Милушка, сообщай тебе радостную вест, да, наверное, ты уже знаешь, если слушала радио. Моя лодка награждена орденом Красного Знамени.

...Милые мои мальчики, какие вы, наверное, взрослые стали, особенно Валентин. Мой дорогой Валуша, ты слушайся маму и кушай все, что тебе дают, тогда будешь здоровым и тогда папа скорее приведет...»

Февраль 1942 года

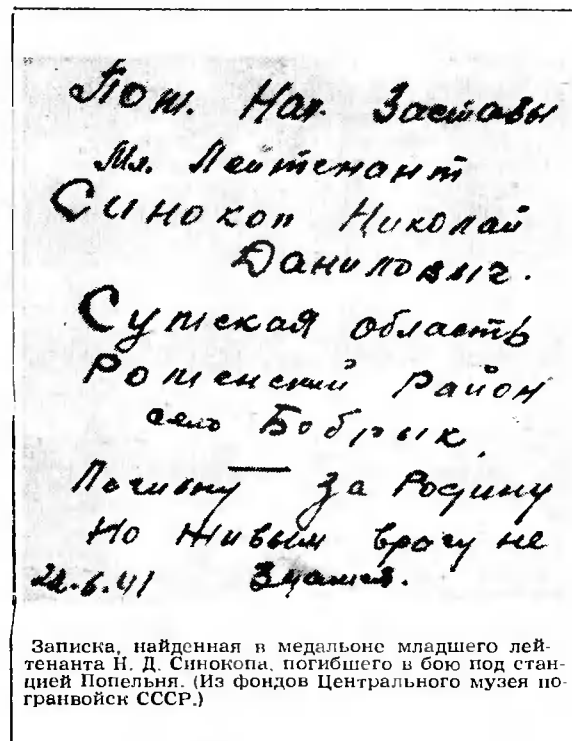
«...Ваш папка жив и здоров, чего и вам, дорогие мои, желаю от всей души. Я очень скучаю о вас и только и мечтаю о нашей будущей встрече.

...Вчера зашел домой, нашел на столе счет за свет — как он попал в запертую квартиру, не могу понять. Я все убрал, подмел. Впечатление такое, как будто вы все ушли погулять, а я остался дома. Но, увы, вы так далеко от меня... Посидел немного в комнате и пошел на корабль. Новостей у меня нет никаких, все по-старому.

Все воюем и воюем.»

Месяц спустя, в июне, лучшая североморская лодка «Красногвардеец» «Д-3», потопившая десять транспортов и сторожевой корабль фашистов, не вернулась из боевого похода...

По существующей на флоте традиции в наши дни именем «Красногвардеец» названа новая атомная ракетная подводная лодка.



Записка, найденная в медальоне младшего лейтенанта Н. Д. Синокова, погибшего в бою под станцией Попельня. (Из фондов Центрального музея подводной флотии СССР.)



САВВА
БРОДСКИЙ

ЧИСТОТА ИСТИННОЙ ВЕРЫ

Большим событием в культурной жизни Советского Союза и Испании стал обмен выставками из коллекций музеев Прадо и Эрмитажа. Любители живописи обеих стран смогли познакомиться с шедеврами искусства из двух знаменитых музеев мира. Интерес, который проявляют советские люди к испанскому искусству и литературе, объясняется не только тем, что испанская культура занимает значительное и почетное место в системе мировой культуры, но еще и традиционной симпатией к талантливому и трудолюбивому народу Испании. Особенно сейчас, после многолетнего периода отчуждения, и в Советском Союзе и в Испании велико стремление как можно больше узнать друг о друге и глубже понять друг друга. Нам кажется, что этой благородной цели может послужить публикуемая ниже статья.

По пути в Толедо меня все еще преследовали «видения» Эскориала, где я побывал накануне.
...Тысячи, десятки тысяч человек, закованных в броню, с яростью колющие, режущие, убивающие друг друга.

Я долго всматривался в детали этого глобального сражения. В нем участвуют целые армии в доспехах, конница, отряды с пиками, алебардами, аркебузами, арбалетами... Стену огромного сводчатого зала — метров сто в длину и десять в высоту — украшает единый гобелен, воспевающий сражение при Хигуэруэле. Одну из бесчисленных битв, в которых испанская империя утверждала на планете «чистоту истинной веры». Я поинтересовался: сколько же рук и сколько лет потребовалось, чтобы создать этот гигантский шедевр? «...Мне трудно сказать, точно, сеньор, — ответил гид, — но один квадратный метр гобелена ткали год...»

Одни называли Эскориал «восьмым чудом света», другие «ненасытимым детищем коронованного произвола». Но для многих испанцев — это символ безупречности национального стиля и духа. Здесь нет примесей иноплеменных мотивов. Ни в убранстве, ни в архитектуре. Суровый, аскетический силуэт Эскориала мощно выражает идею грозного величия нации.

Как странно себе сейчас представить, что в этом огромном, как скала, бастионе империи когда-то затерялась изъеденная болезнями и страстями тщедушная фигурка мрачного властелина. В хилом, уже тронутом тлением коронованном теле Филиппа II пылала неукротимая страсть к абсолютному. Безумное стремление достичь недостижимого, на грани величия и сумасшествия. Он считал, что просто обязан еще при жизни обратить мир в свою веру. И он возносил свой крест и меч там, где, по его мнению, бесчинствовал еретический дух. Еще один материк, еще архипелаг, еще одна держава, и он, наконец, преподнесет всевышнему эту грешную землю, обращенную в кристально чистую католическую веру. Ради этого он обескровил свою страну и вверх своих подданных в безысходную нищету. Ради этого, изнывая от зноя, закованные в железо своих лат и убеждений, во всех частях Старого и Нового света кололи, резали, убивали те, кто послужил моделью для героев этого гигантского гобелена.

Его фанатически-восторженное честолюбие стремилось лишь к одному — к всемирному торжеству священной догмы.

Люди всегда становились наиболее беспощадны друг к другу на почве разного толкования истины — воображаемой или действительной, религиозной или философской. И всегда лучшим способом убеждения оппонента являлось его физическое уничтожение — на эшафоте, под топором, на костре или на поле боя.

Моря крови проливались за чистоту веры — мусульманской или католической, протестантской или англиканской — это не важно. Злая ирония судьбы заключается в том, что чем беспощадней, чем свирепее велась эта борьба, тем сильнее было взаимо-

проникновению национальных традиций, философских идей и искусств у противоборствующих сторон.

Маниакально-панический страх за чистоту своей крови и религия, как ни странно, часто порождал истинный интернационализм культуры у насмерть враждующих наций.

Войны в Испании были окрашены особым фанатизмом в этом отношении.

И именно в огне этих кровопролитнейших войн возник необычайный сплав — не смешение, а сплав стилей, который и стал... неповторимо испанским.

В древней Кастилии этот драгоценный сплав принял форму чудо-города, который носит знакомое всему миру название — Толедо.

«КОРОНА ИСПАНИИ И СВЕТ ВСЕГО МИРА»¹

Расступились Кастилии горы, под безоблачным куполом неба, как мираж, предо мною Толедо — древний, столичный, испанский город...

Вот он стоит, величественный и эпичный, на высокой скале. Сросшийся с монолитом скалы, как изваянный из одного куска огромного камня.

Город-скульптура — монументальная и филигранная. В оправе лазурной ленты реки Тахо.

Когда-то я там гарцевал на взмыленном коне, и цокот копыт гулко отдавался в крепостных стенах. В детстве Толедо был городом моих игр. Он был населен сверкающими рыцарями и гордыми дамами. Звон мечей, замки, гербы, звуки «романсеро» и рогов, зовущих на королевскую охоту...

Я его «узнал» не сразу. Под слоем сувенирного лоска не сразу стала обнажаться летописная первозданность.

Я остановил свои часы и настроил себя на «волну вечности», чтобы внутренняя связь с прошлым не развеялась в прах.

Неугасимый двадцатый век бурливо растекался по узким средневековым улочкам. Шумя транзисторами, в дымчатых очках и джинсах, этот разноязычный бесперомонно-любопытный поток, пенясь, омывает все закоулки и святые места, не давая остановиться и задуматься.

И в этом тысячеголосом гомоне то там, то здесь можно расслышать ритмичные постукивания молотков по металлу. Этот мерный стук раздавался в Толедо всегда. Сегодня, вчера и много, много веков назад. Это ремесленники зачеканивают тончайшую золотую нить в вороненую сталь ювелирных украшений. Эта очень тонкая нить — волосок соединяет наш громяхающий ракетный век с далеким, далеким, навсегда упущенным прошлым и тянется через всю Испанию, Средиземное море в эмираты восточных владык...

Триста семьдесят два года Толедо был под арабами и назывался Толантола.

Триста семьдесят два года на узких улочках звучала гортанная речь, храмы яростно переделывались в мечети, колокольни оборачивались минаретами. Повсеместно попирался гордый, рыцарский дух толедцев. Униженная нация вынашивала идею мщения, и каждый час приближал заветную цель — реконкисту.

Я пристально всматриваюсь в проклятые звоны и войнами, выперленные ядрами и временем толедские камни. Ищу следы пламенных событий... и не нахожу их.

Что же осталось от полыхавшей веками ненависти?

Вот они, немые свидетели этих трагических и бурных лет. Они хорошо сохранились. Церковь Эль Трансито де Нуэстра Сеньора. В какой идиллической гармонии здесь соединились романтическая геометрия арабских орнаментов с вязью текстов иудейских псалмов, скрепленных строгим ритмом... кастильских королевских гербов!

Строгие арки монастыря Санта Исабель покрыли «мавританские сталактиты» — и «томные восточные папеы» обволакивают суровые стены Сантьяго дель Аррабал...

Как мирно и органично слились в них гений и труд разных народов, свидетельствуя не о кровной вражде, а скорее о братстве. Напрасно идеологическая машина католицизма стремилась вытравить из душ и сердец своей паствы «мусульманскую ересь ислама». Живая жизнь, как всегда, оказалась сильнее догм и анафем. И все устремилось в общий поток радости человеческого творчества. Он вбирает в себя все расы и нации. Все новое и древнее. Все стили и моды. Всю горячую полнокровную радость бытия!

СОБОР

Я был вырван из времени в ту минуту, когда переступил порог толедского собора. И сразу был подхвачен и унесен вспененным потоком бурного романтизма, который с какой-то истощенностью и щедростью извергал на меня свою поэтическую фантазию.

Наш скудный набор слов бесценен, да эквивалент этому захватывающему феерическому зрелищу. Все разом обрушивается на входящего в этот нереальный сверкающий мир! Каждый неф, каждая капелла — все переполнено тысячами бесценных произведений искусства, и каждое из помещений могло бы стать музеем любого европейского города.

Все здесь невообразимо перемешано: сатирические сценки из монашеской жизни и сюжеты «ветхого завета», сирены, птицы, львы и единороги, греческие мифы и события недавней истории, готические арки и купола мавританских капелл.

Готика, ренессанс, барокко — все заплелось в каком-то вихре стилей. И в этих немислимых сопряжениях повсюду мавританская нарядность, живописность и изящество.

Но где же традиционный испанско-романский аскетизм? Где суровость и отрешенность готики?

Может быть, в те времена испанцы испытывали на себе не только гнет мавров? Ведь у них было время еще и хорошо присмотреться к нравам, обычаям, к искусству своих заклятых врагов.

Оказывается, суровых потомков вестготов заволаживал мавританский Восток. Их пленяла поэтическая сказочность искусства и ласкающая грация архитектуры. Ласкала слух звучность языка и лиричная нежность поэзии. Вызывала зависть утонченная изнеженность и рафинированная роскошь быта.

Парадоксально, что именно в Толедо — в этом средоточии смертельной вражды — произошло полное и гармоничное слияние арабской и испанской культуры: в архитектуре и искусстве, в языке и нравах.

Я стою посреди собора и пытаюсь найти аналогии этим вызывающим диссонансам, полным пламенной

¹ Так в старину называли Толедо.

экспрессию. Может быть, образы кентавра и сирены создала та же дерзкая и неуемная фантазия?

Через цветные витражи лиловых, пурпурных и золотистых тонов льется волшебный свет. Мощные органические аккорды заполняют до краев высоченные своды... Я погружаюсь в какое-то оцепенение — непереносимая доза воздействия на слабое человеческое существо. Здесь все потрясает душу подлинной и высокой поэзией, рожденной не деспотизмом моды, а свободным проявлением таланта и мастерства.

Стоя под могучими, парящими сводами, невозможно представить себе, что это — дело рук человеческих, которые обратили тысячи тысяч бесконечно меняющихся форм жизни в ступок могучей овеществленной энергии, олицетворяющей единство мироздания.

Какого Олимпа достойна эта армия тружеников вдохновенного ремесла? Эти рядовые музыканты великого оркестра виртуозов?

В наше время тщеславие людское стремится оставить след своего «я» на любой скороспелой поделке. Каждый едва прикоснувшийся к искусству стремится утвердить свою личную оригинальность и неповторимость, если даже для этого нужно выставить разбитый унитаз в раме...

Каким чистым родником творчества предстает перед нами труд «радоистия творящих», равнодушных к славе!

Давно уж нет этих испанских и арабских Кола Брюньонес, но их творения глубоко волнуют и сейчас своим бескорыстным стремлением к совершенству и вечности.

Разве существенно сейчас: какой геометрический знак — крест или полумесяц — увлекал их мистическое воображение? Искусство растворило их вражду и объединило их в единстве своего бесконечного многообразия.

Их вера была чистой и истинной — беззаветная вера в призвание, в ремесло, в искусство.

«КРИТ ДАЛ ГРЕКО ЖИЗНЬ, А ТОЛЕДО — КИСТЬ...»¹

Вспоминаю картину Эль Греко — грозное, свинцовое небо, клочья туч над притихшим Толедо. Над безлюдной испанской Меккой...

Его звали просто «Грек» — по-испански Эль Греко, — потому что он и был греком с острова Крит. Он пришел в Толедо и поселился там. Навсегда. Навечно. И стали неотделимы эти два слова — Толедо и Греко.

Когда сталкиваешься с бытом великих людей, всегда испытываешь не то чтобы разочарование, но ощущаешь некое несоответствие между масштабом обитателя и обычностью обихода.

В «Доме Греко» меня это чувство не оставляло. Странно представить, что в этих белых, простых стенах витал мятежный дух гениального художника.

Все здесь чисто, пристойно и буднично. Лишь темные прямоугольники картин, развешанные на стенах, ломают скорлупу обыденности и уносятся в галактику его грез. В том месте, где свершался подвиг жизни Греко, кажется, что должны быть другие стены и другой воздух...

Сейчас «Дом Греко» всемирно известен. К нему проложена действительно незарастающая «народная

тропа». Бесконечен поток людей под синим южным небом. Многие из них пересекают океаны и континенты ради того, чтобы прикоснуться к творчеству гениального мастера, подышать атмосферой, в которой он жил и работал...

...И снова бесконечный людской поток. Но небо уже другое. Серое, осеннее. Моросит мелкий, московский дождик. Зонтики, зонтики... Дом с колоннадой из мрамора на Волхонке стал на некоторое время кусочком Испании. В нем на полтора месяца поселились величайшие испанские мастера живописи¹.

Я всматриваюсь в лица людей, стоящих около полотен Эль Греко, лица взволнованных людей. Эти полотна написаны около четырех веков назад в далекой южной стране. Кажется невероятным, что они приковывают внимание и глубоко волнуют нас, живущих в конце XX века. Живущих другими интересами, в другом ритме, с другим отношением к жизни, к религии, к философии, к искусству.

Было ли это так на протяжении всех четырех веков? Нет.

Трудно себе представить, что Греко был внове «открыт» лишь в начале XX века.

Но случайно ли это?

Греко «возродился» тогда, когда новые поколения художников начали противопоставлять искусству «рассудочности» и «правил» живое, эмоционально-страстное восприятие мира, преломленное через мозг, глаза и душу художника.

Он вззошел на всемирном небосводе как звезда первой величины, когда эстетика Ренессанса и античности решительно ниспровергалась.

Во времена Греко живопись исповедовала созерцательность. Картина, говорили великие и мудрые мастера, есть зеркало мира и совершеннейшее подобие мироздания.

Живопись Греко, может быть, впервые, стремилась излиться в новых формах творческого духа. И может быть, Греко впервые ощутил, что вся предшествующая живопись была лишь ступенью к новым, неизвестным доселе формам необозримого океана искусства.

Тесен и мал стал для него мир канонизированных образов и приемов. Для новых идей нужно создать свою форму, свою традицию, свою истину и свой идеал.

Пусть мудрецы-созерцатели фиксируют неизблемость мира. Для своих живописных мистерий он возвел собственную сцену, где образы мертвые, холодные, застывшие обрели у него жар современного экспрессионизма. Он хочет впускать грядущим поколениям свои собственные радости и печали, боли и восторги, рвущиеся из сердца художника.

Страстной, одаренной душой преодолены сухие теологические схемы.

Говорят, что испанский католицизм дал миру живописца Греко. Это так. И в этом исторический парадокс.

Действительно пришедший грек создал католическую картину вселенского царства гораздо полнее, чем вся испанская живопись.

Тогда нации почти всегда были проникнуты враждебным предубеждением друг к другу. Очевидно, потому, что они острее чувствовали то, что их разье-

¹ Осенью 1980 года в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве экспонировалась выставка картин из Музея Прадо в Мадриде. Среди других шедевров здесь были девять полотен Эль Греко.

¹ Выражение художника Фра Ортенсио Парависино.

диняет. Особенно там, где свирепствовала «чума национального высокомерия».

Однако, поселившись в Толедо, Греко все же не оказался в разреженном пространстве полного одиночества. Сам город, где рядом с «испанскими романсеро» звучали томные восточные напевы, а минареты «братались» с колокольнями, был созвучен византийской душе Греко.

Его заметили и оценили те, кто мудрым оком видит общность наций и вероисповеданий, кто понимал, что истина и высшие идеалы одинаковы для всех. Это были наиболее умные и образованные жители Толедо.

Они сразу поняли, что живопись Греко хоть и существовала вне привычных жанров и даже ломала установленные национальные традиции, но в то же время была мощнейшим их проявлением и рождалась из недр своей эпохи и своей страны.

Произошло чудо полного духовного слияния. Грек ощутил судьбу испанской нации как свою собственную и стал одним из самых «испанских» живописцев.

У меня живопись Греко ассоциируется с музыкой, с какими-то мистическими хорами, плывущими из вечности в вечность. И как музыка, живопись Греко не открывает мне до конца своих тайн...

В небольшом «патио» дома Греко уютно и прохладно — можно передохнуть и подумать. Хочется распутать неисповедимый «клубок биографии» художника.

Но никакие логические схемы мне ничего не объясняют.

Значит, нужно было судьбе, чтобы он родился на острове Крит и двадцатилетним юношей оказался в Венеции на Бри Гранде учеником великого Тициана.

Так, наверно, нужно было, чтобы Филипп II отверг картину «Мученичество св. Маврикия», выполненную по его заказу для Эскориала. И нужно было, чтобы Толедо, где пылали костры аутодафе и звучали стихи лучших поэтов Испании, стал его духовной родиной.

Значит, все это нужно было, чтобы тончайший человеческий механизм по имени Доменико Теотокопули создал то, что он создал.

ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ

Эта церковь была когда-то перестроена из мечети на средства графа Оргаса. Она и сейчас возвышается, как минарет, — эта маленькая, ничем особенно не приметная церковь Санто Томе.

Что же ее сделало жемчужиной Толедо? Прикосновение кисти великого художника — Доменико Теотокопули по прозвищу Эль Греко. Тема алтарной росписи Санто Томе — «заупокойная месса», как принято ее называть, «Погребение графа Оргаса».

Сюжетом композиции стала легенда о чудесном пришествии на похороны (реально существовавшего) рыцаря Руйса Гонсало де Толедо — святого юноши по имени Стефан и блаженного старца по имени Августин.

Греко писал предание седой старинны, но почему же при погребении присутствуют его современники? Целая блистательная портретная галерея умных, образованных людей, в которых можно узнать многих друзей Греко.

Может быть, впервые в истории католичества алтарное пространство вместо иконостаса украсила кар-

тина на... светский сюжет! Какое дерзкое нарушение исконных, святых традиций церкви! Может быть, потому, что Испания в то время перестала быть маленькой католической страной? Она тогда вышла на большие просторы, и масштабом империи стал весь мир. Корабли имперского флота приносили вольные ветры дальних континентов, и искусство начало воспевать пути компромисса. Конечно, старые, затхлые каноны трещали под напором новых веяний. Все это так.

Но, может быть, разгадка этой «заупокойной мессы» в другом?

Живопись прошлых эпох в значительной мере обращалась к библейским сюжетам. Но, кроме Эль Греко, кажется, никто не выбрал одну из самых острофилософских тем Апокалипсиса — «Снятие пятой печати». Когда смотришь на религиозные полотна Греко — на мятущиеся сонмы не людей — теней, на души смятенные, грешные и мятежные, где во всем дыхание космоса и свободных стихий мира, кажется, что все у него пронизано темой «пятой печати».

...Порочен круг земных стихий — нескупленные грехи, неотомщенное злодейство, безверие, ложь и фарисейство... Вся горечь и вся боль земли в мольбе принявших смерть за веру: когда ж придет иная эра? Доколе мир в слезах, в крови? Доколе жить и умирать в трясине дней кровавой тризны? Как трудно верить, трудно ждать. Страницы веры в книге Жизни скрепила пятая печать...

В каждой картине тревожное ожидание: скоро, скоро придет «день великого гнева». Скоро увидит праведный мир «новое небо и новую землю».

В «Погребении» звучит та же тема. Ждите. Еще не все жертвы принесены. Вот еще один «убиенный за слово божие»... И те, кто скоро «дополнит число». В небесных высях их ждут «сотрудники их я братья».

В картине, как и в «пророчествах», совмещено настоящее, прошедшее и будущее в едином моменте созерцания.

Мир здешний и мир иной, легенда и реальность, пространство и время — все в форме вневременного искусства, преображенного верой.

Когда-то житейская философия оборачивалась философией религии. В те времена в основном религия решала проблемы нравственности и давала ответ на вопрос о смысле жизни, решала все загадки мироздания. И многие художники через религию стремились «привести душу в созвучие со всем истинным». Может быть, сейчас интересно задуматься о подлинном источнике религиозности Греко? Не была ли для него религия некоей иллюзией, которая рождала сферу религиозных фантазий или ощущение чего-то беспредельного, вечного? Ведь человек, который верит (не только в религиозном смысле этого слова), возносит все аспекты своего бытия (свои радости, страдания) за пределы ограниченного сознания и как бы обретает ощущение своей вечной сущности.

Может быть, эта сфера фантазии определяла для него степень независимости от внешнего мира. В какой-то мере стирала грань между мистическим и реальным?

Может быть, и то и другое дало ему возможность создать зримое воплощение «Откровения святого Иоанна». «Наполнить кровью образов» философскую суть Апокалипсиса, которые продолжают жить в его картинах как поэзия, как музыка. Поэтому живо-

пись Греко не чужда пафос современной жизни и нашим чувствам.

В живописи Греко вечна не религиозно-философская ткань, а то, что вливалось в нее жизнь, — творческая вера.

Искусство Греко — это исповедание веры, веры чистой и истинной.

ПЛАСА СОКОДОВЕР¹

Век турниров и рыцарских лат, век священных резни, век победы, ты оставил на камнях Толедо след кровавых испанских баллад...

Мне слышится топот копыт горячих коней, покрытых попонами. Красиво колышутся перья на шлемах всадников. Какое нарядное рыцарство съехало сюда со всех концов Европы! Прекрасные дамы венчают храбрейших из храбрых. Гербы, знамена, доспехи — все сверкает на солнце и переливается драгоценными красками. Грозно отливает знаменитая толедская сталь...

Запахом гари и паленого мяса потянуло позднее, когда святейшая инквизиция запалила свои костры. Пастыри бдительно опекали человечество. Слишком ярко был свет истин великих прозрений и открытий. Темная паства еще не подготовлена к этому и может ослепнуть. Жесткая и примитивная схема представлений о мире могла обрушиться под напором разума...

Вечерело. Я слышу гулкие шаги одинокого путника. Он идет в гостиницу «Де ла Сангре». В ту, что за аркой. Затравленный, обессиленный усталостью, безвестный человек по имени Сервантес.

Он идет туда, где сейчас белеет под окном среднего этажа небольшой мраморный бюстик — его бюстик. Потомки элегантно отметили эту грязную дыру, набитую тогда отбросами города — бродягами, проститутками, ворами и сутенерами. Он привык ютиться «на дне» Испании с тех пор, как сменил одно рабство на другое.

Вера в жизнь, в призвание, в родину постоянно оборачивалась для него обманом. Но он упрямо верил.

Красно-желтое знамя испанской империи уже развевалось на разных материках. Несметными сокровищами владела необозримая мировая сверхдержава. Но для героя Лепанто² в ней не находилось ни чистого угла, ни куска насущного хлеба. Он пришел сюда из глухого ламаанского селения Эскивиас, обורвав цепь безликих дней без потрясений и радостей, где ни горе, ни восторг «не осмеливаются вскрикнуть».

Когда в Эскивиасе я присел за его стол, я ощутил священный трепет: здесь сидел Сервантес! Но что мог ощутить он, глядя в жесткий квадрат «окна идадьо», ограничивающий глухую стену и бурую черепичную кровлю.

Великая патетическая скука погнала его вновь странствовать по нищей и суровой родине, среди мнимо родных стен, которые его не грели, но без которых он не мог жить.

В этом жестком квадрате окна
Виден неба кусок да стена,
И палящий полуденный зной
Обжигает щемящей тоской.
Но сквозь сонную одурь видна

Где-то там за квадратом окна
Пыль бескрайних тернистых дорог.
Цепь скитаний, надежд и тревог...
День за днем в летаргическом сне,
В беспробудной, глухой тишине,
Только гулко стучатся в висок
Все слова ненаписанных строк.
И набатом звенит тишина
В этом жестком квадрате окна.



Легендарный город Толедо — древняя столица Испании. Время его мало тронуло. Наверно, потому, что он был надежно защищен рекой Тахо, или потому, что покоится на монолите скалы. Но скорее всего от того, что перестал быть столицей...

Когда-то этот город пестрел толпой горожан в ярких, экзотических костюмах.

Все в нем бурлило и клокотало, как в пьесах Лопе де Вега, — стук молотков о толедскую сталь, крики торговцев и глашатаев, уличные балаганы, публичные казни под топором и на костре — все это сливалось с колоритной декорацией архитектурных ансамблей в единый, органичный спектакль, называемый жизнью.

Кому же принадлежали главные роли в этом жестоком спектакле?

Когда-то здесь блистали имена королей и рыцарей, суровых кардиналов и придворных бардов. Но бесшумное время, как пыль, стяхнуло всю мишуру истории. Уже неважно, чем были украшены их одежды, в чем их возили и какой титул предшествовал их именам.

Сейчас, когда произносится слово «Толедо», сразу возникают два суровых человека с запавшими глазами, устремленными в себя. Две трагические маски, чем-то похожие друг на друга, — один испанец, другой грек.

Их имена теперь принадлежат всему Человечеству.

Многим ли сейчас известно, какой Филипп правил при Сервантесе и Греко и какова была при них технология власти?

Я иду по узкой толедской улочке и думаю о том, что здесь они могли встретиться и... не узнать друг друга. Два человека, отмеченные «искрой вечной жизни». Оба распятые на кресте заурядной повседневности. Оба страдающие и верящие.

В каждой эпохе своя мера трагедий и радостей, предрассудков и надежд. Своя схема «вины, греха и кары». Каждое новое поколение создает свой идеал, свою правду и свою ложь. И каждое новое поколение увлекают миражи новых иллюзий...

Вера Сервантеса была вечной, всечеловеческой, негасимой верой в Разум, в Человека, в Добро — верой самой чистой и самой истинной. Верой, которую выразил его бессмертный Дон Кихот — плод глубочайшего духовного одиночества.

...Ныне ересь не тащат на плаху. Страх костров Торквемады неведом. И по каменным плитам Толедо кровь не льется в расщелину Тахо. И не рвутся на штурм Алькасара, защищая в огне свое кредо, в раскаленном бою Толедо храбрых интербригад комиссары. Его исповедь чем-то близка мне, мне близки его праздники, беды — все, что видели стены Толедо, что хранит эта летопись в камне...

¹ Площадь Ратуши в Толедо.

² Сервантес был участником битвы при Лепанто, в которой он потерял руку.



Святое семейство.

Из произведений испанского живописца ЭЛЬ ГРЕКО (1541—1614)



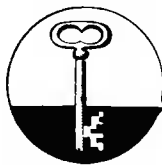
Похороны графа Оргаса.



Портрет молодого человека.



Толедо в грозу.



3. ШЕЙНИС

БЕРЛИН, МАРТ, 1920

ТОВАРИЩ СЕРГЕЙ

НАПОМИНАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ

В журнале «Юность» № 11 за 1978 год было опубликовано мое документальное повествование «Франческо Мизиано ведет бой...», посвященное одному из создателей Итальянской коммунистической партии, большому другу нашей страны. В 1918 году Мизиано во главе отряда интернационалистов сражался на баррикадах Ноябрьской революции в Германии. С итальянцами, немцами, венграми и другими бойцами отряда действовал и один русский революционер. Кто он? Этого я тогда не знал, а потому закончил повествование словами: «Что же касается русского революционера, сражавшегося вместе с Мизиано и спартаковцами на баррикадах Берлина, то имя и судьба его еще требуют выяснения». Было известно лишь, что Мизиано и его соратники, в том числе и русский революционер, были под расстрелом и что спас их тогда случай. Теперь, дорогой читатель, я предлагаю твоему вниманию рассказ об этом человеке.

Его застрелили поздно вечером, в половине двенадцатого. Она на всю жизнь запомнила это время, гулкий удар старинных часов. Один удар. А через минуту тревожно захлебнулся звонок над дверью. Кто-то резко дернул ручку, потом еще и еще раз.

Путаясь в пелерине, она быстро открыла дверь. В проеме показалось лицо привратника. Старик был бледен и тяжело дышал. Голос его срывался.

— Гнедиге фрау! Гнедиге фрау! — выдохнул старик.

— Что с вами? Что случилось? — испуганно спросила она.

— Несчастье! Большое несчастье, гнедиге фрау.

— С кем? Да говорите же, ради бога.

— Его убили.

— Кого убили? Слышите, кого убили? — Она застыла в ожидании ответа.

Старик не сразу решился сообщить ей страшную весть. Соболезнуя и не зная, как начать, он еще несколько раз повторил:

— Ах, гнедиге фрау! Ах, гнедиге фрау!.. Они убили... вашего мужа, господина Гутенберга.

Она подавила готовый вырваться крик и, схватившись за горло, сведенное спазмой, почти шепотом спросила:

— Где это произошло? Где он?

— Он лежит здесь, на улице, недалеко от дома... возле фонарного столба, прямо у стешки... Ах, гнедиге фрау...

Только теперь ее пронзила мысль, что несколько минут назад с улицы донеслись выстрелы. Сухой треск проиик в лифт, когда она поднималась к себе в квартиру. В Берлине часто стреляли. Почти каждый день газеты сообщали об убийствах. К этому почти привыкли.

Она бросилась к ночному столику, схватила ридикюль, не глядя выпула оттуда купюру и сунула ее привратнику:

— Ни слова никому. Слышите, ни слова.

Старик еще раз, соболезнуя, произнес: «Ах, гнедиге фрау!» — привычным жестом опустил ассигнацию в карман, кланяясь, спросил:

— Вам помочь?

— Не надо. Идите домой, — бросила она на ходу и, перепрыгивая через ступеньки, выбежала на улицу.

Моросил холодный мартовский дождь. Она опустила вуалетку. Никто не должен ее видеть — ведь здесь ее знает каждый. Она сама выпьет горькую чашу до дна. Можно себе представить, какой вой поднимут газеты. Завтра они будут полны кричащих заголовков: «Загадочное убийство мужа примадонны Венского, Берлинского и Лейпцигского оперных театров, партнерши знаменитого Энрико Карузо». Они забудут, что все эти годы награждали ее эпитетами «несравненная», «наша звезда», «обворожительная»! Завтра они начнут копаться в грязном белье, лгать.

Она сразу увидела его в мерцающем свете газово-

¹ Гнедиге фрау — милостивая госпожа (нем.).



С. Александровский,
боец Московского
народного ополчения.
1941 год.

го фонаря. Правая рука была подвернута, остеклевшие глаза обращены к небу. Дождевые капли стекали с лица и западали в полуоткрытый рот.

Опустившись на колени, она прижалась губами к его лбу. Потом, озираясь, вскочила и подхватила его под руки, потащила к подъезду.

— Я должна... У меня хватит сил,— шептала она, задышавшись. Пелерина и подол длинного платья намочили в луже, путались под ногами. Невероятными усилиями она добралась до подъезда. Только бы ее никто не увидел!

— Боже милостивый! — шептала она. — Дай мне силы, помоги!

Еще одно усилие, и она втащила тело в подъезд. Вот и лифт. Она нажала кнопку. Этаж! Еще этаж! Еще. Автоматический выключатель сработал точно. Дверь в квартиру была открыта — ведь она ее не закрыла. Оттуда струилась слабая полоска света. Толкнув дверь ногой, она втащила свою ношу в комнату и, обессиленная, рухнула на пол. Потом целовала, повторяя имя: Сергуния!

Часы пробили двенадцать. Наступил новый день. Девятнадцатое марта 1920 года.

Фронау, фешенебельный район Берлина, в котором происходили описываемые события, как и вся германская столица, был окутан серой пеленой дождя. Откуда-то издали доносились редкие выстрелы.

КТО ТАКОЙ ГУТЕНБЕРГ!

Седьмого ноября 1918 года в Киле, что находится на северном побережье Германии, восстали матросы. Они потребовали свержения кайзера Вильгельма II и прекращения войны. В стране началась революция.

Восставшие захватили военно-морскую базу, в городе разгорелись бои. Киль оказался в руках у восставших. Но матросы одного отряда решили идти на Берлин, веря, что их приход явится той искрой, которая еще больше разожжет пламя революции в германской столице.

Отряд матросов вел на Берлин человек могучего телосложения. На его открытом добром лице сверкали глаза поразительной голубизны, излучавшие необычайную энергию и решимость. В отряде его называли «камад Гутенберг». А еще к нему обращались попросту «Ганс». Он прибыл в Киль накануне важных событий. 31 октября в Киль возвратилась с просторов Атлантики 3-я эскадра. Еще перед заходом в порт на кораблях произошли волнения. Командующий эскадрой адмирал Крафт приказал арестовать мятежных матросов. Это вызвало бурные протесты на кораблях и на военно-морской базе в Киле. Опасаясь, что брожение перекинется на воинские части и на заводы, военные власти запретили солдатам гарнизона оставлять казармы. Морским пехотинцам был отдан приказ выступить против матросов, потребовавших освобождения арестованных товарищей. Но 1-й батальон морской пехоты отказался это сделать.

Вот в это время в гуще матросской массы и оказался Гутенберг. Кто он и откуда появился? Об этом не задумывались. Поговаривали, что он был списан с корабля на берег за какое-то дисциплинарное нарушение. Ему грозил кайзеровский трибунал, но тут начались волнения, и властям уже было не до крамольного матроса.

Камад Гутенберг сразу же сошелся с матросами. Вюртембержцы сочли его своим земляком — им понравились его юмор, а они считали, что юмором в Германии обладают только вюртембержцы. Северяне, гордившиеся своим, лучшим, как они в том были убеждены, немецким языком, который куда красивее языка певучих саксонцев, тоже считали его своим земляком. И даже медлительные и грубоватые баварцы, говорящие на своем причудливом наречии, которое не всякий берлинец поймет, решили, что Гутенберг родом если не из самого Мюнхена, то уж наверняка из Верхней Франконии, что почти Бавария.

Отряд кильских моряков прибыл в Берлин, когда там шли ожесточенные бои, и начал действовать в районе Александрплац, в центре столицы. Потом их видели в Потсдаме, где они штурмовали казармы кайзеровской гвардии. Кайзер Вильгельм II бежал в Голландию.

К январю 1919 года революция в Германии вступила в сложный период. Правые социал-демократы испугались победы народных масс. Правительство возглавляли ярые шовинисты Шейдеман и Носке. Против восставших были двинуты войска.

Шестого января ожесточенные сражения развернулись в центре Берлина — на Ливденштрассе. Революционные отряды взяли штурмом здание, в котором находился орган социал-демократической партии газета «Форвертс». Отряд, овладевший зданием «Форвертс», состоял из немцев-спартаковцев, итальянской группы Мизано, нескольких швейцарских социалистов, молодой венгерки и одного русского революционера, о котором я писал в очерке «Франческо Мизано ведет бой...». После Октября он не смог выехать в Россию и теперь решил, что дело русской революции будет защищать в Берлине.

Судьба русского революционера оставалась для меня тайной. В архивах Москвы и Берлина я пытался найти следы этого человека, но безуспешно.

И все же одна деталь меня насторожила и подала надежду, что удастся выяснить, кто был этот человек. Распутывая клубок событий, происшедших в марте 1920 года во Фронау, где был застрелен человек по имени Гутенберг, я обратил внимание на имя «Сергуния», мелькавшее в некоторых документах и письмах. Это явно ласкательное от «Сергей». Не это ли человека застрелили 19 марта 1920 года в Берлине?

Сергуня, Сергей — значит, русский. Но ведь его фамилия Гутенберг? Выходит, он немец? Рядом с его именем появлялось имя знаменитой актрисы Венского и других оперных театров. Нет, мне не удастся распутать этот клубок.

Однако мне точно было известно, что отряд Гутенберга, сильно поредевший в боях, в те январские дни 1919 года появился на Линденштрассе, и произошло это перед самым наступлением правительственных войск на здание газеты «Форвертс», где сражались революционеры во главе с Франческо Мизиано. Пополнение, присланное палачом Носке, потеснило кильских матросов с Линденштрассе. Но когда матросы отступили, Гутенберга среди них уже не было.

И вдруг вновь появилась надежда, что поиск мой не совсем обречен и, может быть, когда-нибудь увеичается успехом. После опубликования документального повествования «Франческо Мизиано ведет бой...» в моей квартире раздался телефонный звонок. На другом конце провода я услышал глуховатый, несколько взволнованный голос. Человек назвал себя, сказал, что хотел бы со мной встретиться, рассказать о жизни своего отца. Может быть, его судьба заинтересует меня.

Больше он мне по телефону ничего не сказал. Я записал его адрес и телефон, мы договорились о встрече в ближайшее время, однако другие неотложные дела не дали мне тогда увидеться с этим человеком.

Но новое обстоятельство заставило меня немедленно разыскать его.

В 1978 году минуло сорок лет одному из самых трагических событий в истории Европы. Сорок лет назад гитлеровская Германия растоптала свободу Чехословакии. Лидеры Англии и Франции Чемберлен и Даладье в Мюнхене пали на колени перед нацистским палачом, Вторая мировая война стала неизбежной.

Я рылся в архивах и книгохранилищах в надежде найти новые материалы, разоблачающие политику мюнхенцев. В Ленинской библиотеке внимание привлекла книга, вышедшая в Москве в 1938 году и озаглавленная «Угроза Чехословакии — угроза всеобщему миру». Автор с глубоким знанием и страстной убедительностью разоблачал роль фашизма, угрожающего ввергнуть мир в кровавую бойню. На обложке значилось имя автора: С. Сергунов.

Вероятно, подсознательно в моей памяти всплыло почти забытое имя «Сергуня». Вероятно, по ассоциации. Но я его повторил несколько раз: «Сергуня! Сергуня! Сергунов!»

Кто он?

В тот же день и позвонил старому знакомому, активно работавшему в нашей международной публицистике в тридцатые годы.

— Сергунов? Конечно, знаю. Ведь это литературный псевдоним известного нашего дипломата тридцатых годов.

Мой знакомый назвал мне его настоящую фамилию. Это была фамилия человека, который год назад звонил мне по телефону и просил о встрече.

— Вы не ошибаетесь? — спросил я.

— Нет. Я его хорошо знал. Имя его и сейчас часто фигурирует в наших официальных изданиях. Он оставил по себе очень хорошую память... И знаете что, — добавил мой знакомый. — Это был человек необычайно интересной биографии. О нем ходили прямо-таки легенды. Я его никогда не расспрашивал о прошлом. Но едно знаю точно: до Октябрьской революции он находился в Германии...

Волнуясь, и набрав помер телефона, записанного мною несколько месяцев назад. Тот же чуть глухо-

ватый голос ответил мне. Я напомнил о нашем давнишнем разговоре, попросил разрешения приехать сейчас же.

Через полчаса я сидел в небольшой двухкомнатной квартире в новом районе Москвы.

Первая встреча с незнакомым человеком, да еще с его доме, обязывает по традиции к обмену обычными, дежурными фразами. Но в ту встречу все условности были отброшены, и я сразу же стал задавать ему вопросы.

— Как звали вашего отца?

— Сергей Сергеевич.

— Он жил до Октября в Германии?

— Да. Он бежал туда от царского произвола.

— Ваш отец был членом большевистской партии?

— Да. С 1906 года.

— В Германии он жил под псевдонимом?

— Да. Его партийная кличка была «Гутенберг».

— Гутенберг? — переспросил я.

— Да. Гутенберг.

Я не сразу был в состоянии задать следующий вопрос:

— Кем была ваша мама?

— Мама?... Мой новый знакомый сиял с полки толстый альбом, перевернул несколько тяжелых картонных страниц с фотографиями и, подав мне альбом, сказал: — Вот она.

Со старой фотографии на меня смотрела удивительной красоты женщина. На ее чуть лукавом, улыбающемся лице светились огромные черные глаза.

— Вы спросили, кто была моя мама. Она была актрисой Венского оперного театра... А вот ее партнер, с которым она часто выступала. — И, перевернув еще несколько страниц, он сказал: — Вот Эприко Карузо. Это его портрет с дарственной надписью моей маме.

— Простите, но еще один вопрос: Гутенберга застрелили, так ведь?

— И это верно. В марте 1920 года произошел путч, который возглавил помещик Вольфганг Капп, монархист, главарь шовинистической организации. Они долго охотились за моим отцом и в ночь на девятнадцатое марта 1920 года застрелили его в районе Фронау.

— Простите... Книга о фашистской угрозе Чехословакии написана вашим отцом?

— Да.

— Но ведь она вышла в свет в Москве в 1938 году.

— Совершенно верно.

— Кем был ваш отец?

— Сергей Сергеевич Александровский, мой отец, большевик с 1906 года, был партийным деятелем и дипломатом.

В тот вечер мы долго говорили с гостеприимным Александром Сергеевичем Александровским. Начало клуба было распутано. Теперь предстояло восстановить во всей последовательности жизнь, гибель и воскресение из мертвых человека удивительной судьбы.

ИСТОКИ

Начало этой истории восходит к восьмидесятым годам прошлого века и ведет нас в сибирский город Томск.

На Еланской улице, в доме 47, по соседству с политическими ссыльными и студентами жил Сергей Васильевич Александровский, следователь царской прокуратуры.

Если дотошный историк составит когда-нибудь список верных трудовому народу, честных русских дворян от Радищева до князя Кугушева, которого Яков Михайлович Свердлов назвал «беспартийным большевиком», — то список этот получится длиннющий, и возникнет весьма яркая картина их славных деяний.

Сергей Васильевич Александровский тоже был русским дворянином. Волею судьбы и в силу юридического образования ему суждено было стать следователем прокуратуры, защищать царские устои.

Как человек интеллигентный, а стало быть, думающий, Александровский пришел к выводу, что революционеры, которых по царским законам полагалось вешать, сажать в казематы, гнать в тюрьмах, — не зло для России, а ее честь, и что будущее принадлежит обществу, за которое они ратуют. И он принял решение, подсказанное совестью. Последним толчком для этого была революция 1905 года в России. Именно тогда член Томского окружного суда С. В. Александровский отказывается от должности, дававшей ему более чем обеспеченную жизнь, и принимается за адвокатскую практику. Эта практика приносила ему массу неприятностей, и в глазах властей он отныне был личностью неблагонадежной: дело в том, что Александровский стал адвокатом преследуемых революционеров. В 1906 году бывший следователь царской прокуратуры защищал на процессе Томской организации РСДРП молодого революционера Валерия Куйбышева.

Первая русская революция вывела и сына Сергея Васильевича Александровского на отцовскую дорогу. Впрочем, сын раньше отца понял свое назначение в жизни: пятнадцатилетним гимназистом он вступил в группу содействия социал-демократической партии.

Так начинали тогда многие молодые люди. Их объединяла горячая заинтересованность в судьбе России. В каждом из них сидел декабрист, и у каждого была своя «Сенатская площадь».

Для молодого Сергея Александровского такой «Сенатской площадью» стали улицы Томска, где он с отрядом самообороны сражался против черносотенцев. Это была его первая ступень, став на которую он до конца жизни поднимался к высотам нравственности. Сохранилась запись о тех годах, сделанная рукой Александровского. Тут ни прибавить, ни убавить, и потому привожу отрывок из нее, соблюдая написание того времени:

«Десяти лет поступил в томскую губернскую классическую гимназию, где учился до 1907 г. В 1904 г. в связи с патриотическими манифестациями учащихся по случаю японской войны впервые столкнулся со «старшеклассниками», связанными со студентами, участвующими в революционном движении. Впервые услышал о «пораженчестве» и постепенно втянулся в кружковую работу. Революцию 1905 г. встретил уже сознательно, состоя членом ученической организации (группы) РСДРП. Томск известен своим октябрьским погромом в 1905 году. Я был в «Бесплатной библиотеке» на митинге учащихся средних школ, который был окружен казаками и долго держался в осаде, пока родители и общественные деятели вели переговоры с генерал-губернатором о нашем освобождении. В эти дни закрепилась моя связь с партийной организацией, и я в самом начале 1906 г. был уже членом партийной организации, состоя в фракции большевиков. Позже я вошел в бюро Портновского района. Гимназию окончить не удалось — я был исключен за революционную работу среди учащихся (уже по поручению парторганизации). Из 8-го класса я ушел без аттестата зрелости. В организации я еще до исключения из гимназии начал

работать, как «техник», организовал нелегальную типографию, которая одно время находилась в доме моего отца. Работал я и в качестве пропагандиста в железнодорожном депо станции Межениновка, продолжая заниматься самообразованием. Получить политическую благонадежность не мог, испытания на зрелость в университет отодвигались. Во второй половине 1908 г. был арестован при провале всей организации. В нашей среде оказался провокатор Мишка Голод, столяр, прибывший к нам из России по явке за несколько месяцев до провала, им организованного. В полицейском участке он был с нами в качестве арестованного, но в тюрьму его не перевели, а скоро стало известно, что он и был провокатором. В нашей среде оказался и еще один предатель по слабости, слесарь депо Томск-1 Алексей, который поддавался жандармским угрозам, выдал, а потом в тюрьме облил себя керосином ночью и поджег, оставив на дверях надпись «Иуда умер». Он умер от ожогов только через три дня, и его показания перед смертью фигурировали потом на суде. Я сидел в одном коридоре с Алексеем, и его самосожжение было одним из сильнейших впечатлений из этого периода моей жизни. Суд состоялся в конце 1909 года. Обвинение было предъявлено нам, 27 человекам... Я получил полтора года крепости, да по несовершеннолетию $\frac{1}{3}$ мне скостили. В тюрьме я познакомился более основательно с классиками политической экономии и марксизма. Вышел я на рождество 1910 года».

После выхода из тюрьмы Сергей ведет подпольную работу в Новониколаевске (ныне Новосибирск), откуда партия большевиков направляет его в Курск. На этом первый этап его партийной деятельности закончился. В 1911 году Сергей Александровский, спасаясь от царской полиции, эмигрирует в Германию и поселяется в городе Маннгейме на Штамитштрассе, в дешевом пансионе.

МАННГЕЙМСКАЯ ГРУППА. ВСТРЕЧА В ВЕНЕ

После северного Томска с его деревянными домами, лютыми морозами и долгими зимними ночами Маннгейм казался курортом. Раскинувшийся на берегу причудливого Неккара, у впадения этой реки в Рейн, окруженный холмами, увитыми виноградниками, город и впрямь выглядел как курорт.

В Маннгейме, как и в некоторых других городах Германии, в ту пору обосновались русские революционные эмигранты: была создана группа РСДРП. Сергей Александровский вошел в русскую колонию, поступил в Торговую академию, стал слушателем двух факультетов — экономического и юридического, — решил, что после возвращения в Россию будет выступать на процессах революционеров.

Маннгеймская группа организовалась за несколько лет до приезда Александровского. Входили в русскую колонию такие же молодые революционеры, как Сергей. Многие из них стали студентами, решив набраться на чужбине знаний и отдать их будущей новой России. Часто они все вместе отправлялись в Гейдельберг, до которого рукой подать, в библиотеку «Пироговку», названную так в честь знаменитого земляка. Там можно было почитать газеты, приходившие из России, Парижа, Лондона, Цюриха и других центров российской эмиграции, обмениваться мнениями, поспорить до хрипоты.

Вскоре после приезда Александровского избрали секретарем группы РСДРП. И вот его письмо, отправленное из Манигейма в Париж на Рю де л'Онест, 26, в Бюро заграничных групп партии:

«Число членов нашей организации в настоящее время выражается цифрой десять...

В колонии имеется беспартийная организация «Землячество». При ней недурная читальня и небольшая библиотека... Группа, особенно в последнее время, когда количественно она почти удвоилась, оказывает свое влияние на читальню и библиотеку, входя почти целым составом своим в члены «Землячества», она проводит там свою линию...

Вечера обыкновенно устраивает «Землячество», и еще в прошлом году группе удавалось материально использовать эти вечера. В этом году этого не удалось; впрочем, 25 марок в пользу депутатов II Думы получили и передали бывшему здесь недавно одному из редакторов «Правды».

Эмигрантской кассы у нас нет. Если бывает проездом нуждающийся, ему оказывают поддержку, просто собирая необходимую ему сумму...

Рефераты посещаются сравнительно недурно... Группа просит извещать ее каждый раз о том или другом референте и об имеющихся в их распоряжении темах.

Как нам передали частным образом, вскоре отправляется с рефератом т. Ленин. Если Вам это известно, сообщите время и темы».

К рефератам публика в Манигейме относилась строго. Сергей Александровский в своих письмах в Париж все просил: «Тема желательна злободневная или литературная... Больше всего подходит «Искусство и социализм» — «Искусство и революция».

Не удалось установить, приезжал ли в Манигейм Владимир Ильич, но Александра Михайловна Коллонтай и Анатолий Васильевич Луначарский бывали там.

Когда секретарь Манигеймской группы настойчиво попросил прислать лектора-литератора, в Париже решили послать Илью Эренбурга, которому тогда было двадцать лет.

Эренбург приехал в Манигейм. На нем были обтрепанные штаны с бахромой внизу, какая-то несуровая кофта. Был он бледен, худ и голоден. «Манигеймцы» повели его в локаль, накормили гуляшом, напоили пивом. В читальне Эренбург выступил с лекцией, которую, правда, никто не понял, читал свои стихи. «Манигеймцы» пустили шапку по кругу, собрали марки и пфениги; купили Эренбургу железнодорожный билет обратно в Париж.

В конце 1911 года Манигеймская колония после летних каникул выросла. Из России приехало много революционных эмигрантов. Александровский стал чаще устраивать рефераты. Приезжие рассказывали о положении в России, о национальном вопросе.

Вести из России приходили все более тревожные. Вечером 4 апреля 1912 года газеты сообщили о событиях в далекой Сибири: на золотых приисках расстреляли сотни людей.

Члены русской колонии собрались в читальне. Потом, не сговариваясь, отправились на берег Неккара. Сквозь темную листву сверкали огни города. Стояли молча, думая о тех, кто был далеко, за тысячами верст.

Шли дни и недели, заполненные будничными делами, неизменной тревогой и болью за судьбу России, в которую они стремились вернуться как можно скорее. Впереди была вся жизнь. И секретарь революционной группы, двадцатитрехлетний парень из Томска, все строил планы на будущее. Он еще не

знал, что в его жизнь ворвется любовь и придаст ему еще больше сил для борьбы за дело, которому Сергей решил посвятить себя.

Впервые он увидел ее в Вене, куда поехал во время каникул. Шел 1912 год. В Европе пахло гарью: уже гремела война на Балканах — прелюдия первой мировой войны. Вена жила своей жизнью, заряженная, казалось, навеки весельем вальсов Иоганна Штрауса. В Оперном театре давали «Фауста». Она пела партию Маргариты. После каждой арии зал бушевал. Сопрано Маргариты вызвало восторг венцев.

Каникулы кончались, но Сергей не уехал из Вены: афиши сообщали, что «несравненная Маргарита» осталась в австрийской столице еще на целую неделю, будет петь в концертном исполнении партию Сусанны из «Свадьбы Фигаро», партию Царницы Ночи из «Волшебной флейты» и во вновь поставленной опере «Севильский цирюльник» исполнит партию Розины.

Из дешевой гостиницы пришлось съехать. Сергей заложил в ломбарде золотые часы, подарок деда, переехал в мансарду на окраине Вены и подсчитал, что денег хватит на эту мансарду, цветы для певицы и на две порции сосисок в день, а также на обратный путь до Манигейма.

Билет на «Севильского цирюльника» он с трудом достал. На галерку. Но к последнему акту все же сумел пробраться в зал к сцене и, расталкивая темпераментных венцев, бросил к ногам певицы букет роз. Она улыбнулась. Но ведь она улыбалась всем.

В последний день ее гастролей в Вене газеты сообщали, что она подписала контракт с Берлинским оперным театром и уезжает туда на целый месяц.

Сергей возвратился в Манигейм. Студенты из русской секции уже начали съезжаться.

Товарищ, замещавший Сергея, сказал, что из Мюнхена пришло предложение организовать диспут на тему: «Экономизм, как препятствие на пути к нашим идеалам».

— Тебе, товарищ Сергей, поручено подготовить реферат на эту тему. Возможно, к нам приедут товарищи из Штуттартской секции РСДРП. Так что готовься,— заключил он свое сообщение Александровскому.

— Очень сожалею, что не могу принять участия в диспуте. Я попрошу тебя подготовить этот реферат, а сам выступлю в следующий раз. Я должен уехать.

— Куда ты уезжаешь, товарищ Сергей?

— В Берлин.

— Зачем, что случилось? Поручение Заграничного бюро нашей партии?

— Нет.

— Так в чем же дело?

— Понимаешь... я влюбился.

— Что?

— Влюбился.

— А как же революция?..

— Революция и любовь совместимы. Любовь помогает революции.

— Извини, но это скороспелый вывод. Вопрос еще подлежит обсуждению... Пожалуй, на эту тему можно будет тоже как-нибудь подготовить реферат.

— Согласен,— ответил Сергей,— но этот вопрос мы обсудим позже. А сейчас очень прошу: выступи вместо меня. Идет?

— Идет... но я не узнаю тебя, товарищ Сергей... Ты... и любовь...

На фронтоне Берлинского оперного театра на Унтер-ден-Линдсхисе висел аншлаг: билеты были распроданы за две недели до приезда певицы. Сергей на-



Клара Спиваковская, солистка Венской оперы.

шел выход — нажался рабочим сцены. Теперь можно было стоять у задника декораций и видеть ее то Виолеттой Валери в «Травиате», то Леонорой в «Трубадуре». Газеты сообщали о ее триумфальном успехе, не скупилась на эпитеты: «несравненная», «звезда», «обворожительная».

Сергей жадно следил за ее успехом и понимал, что его мечты несбыточны. Даже если ему удастся обратить на себя ее внимание, это ничего не даст. Кто он для нее? Бедный студент-эмигрант из чужой, неведомой ей страны.

Гастроли в Берлинской опере приближались к концу. Газеты уже сообщили, что «звезда оперы» уезжает в Лейпциг, ее партнером будет великий Эрико Карузо, который лично пригласил ее туда. Сообщали также, что певица училась в Лейпцигской консерватории у знаменитой Корелли и блестяще закончила ее класс.

Накануне отъезда из Берлина, после того как огрели аплодисменты и она удалилась в свою артистическую уборную, чтобы снять грим и отдохнуть хотя бы несколько минут, а затем тайком уехать, избегая восторженных поклонников, какая-то неведомая сила понесла Сергея к двери, за которой скрывалась певица.

Он постучался, но ответ последовал не сразу. Она все еще была во власти своей героини, в безбрежной дали, где шла борьба между добром и злом. Наконец дослышалось мягкое:

— Herein!¹.

Несвойственная ему робость сковала его. Она сама открыла дверь и, увидев Сергея, слегка отпрянула, молча ожидая, что он скажет.

Растерянность, волнение — он сам потом не мог ответить себе, почему он так сделал. Он обратился к ней по-русски:

— Извините мое вторжение.

Он хотел сказать что-то еще. По-немецки. Но язык не поворачивался, онемел. Сергей хотел уйти, бежать, но и этого он не мог сделать.

Она с возрастающим интересом, улыбаясь, смотрела на него. Спросила. Не по-немецки. По-русски, с легким немецким акцентом:

— Вы русский? Вы из России?

— Сибиряк я, — ответил Сергей. И, совершенно потеряв способность понимать, что происходит, он спросил у нее: — А вы?

ИЗ РОДА ПЛАКСИДИ

Семейный альбом Александровских открывается портретом смуглой цыганки, повязанной платком, как это делали в старину. У женщины задумчивый, почти суровый взгляд, нос с горбинкой, скулы туго обтянуты кожей. Это портрет Плаксиды. Имя ее не установлено. Трудно сказать, какие ветры занесли ее на Украину. Может быть, табор перекочевал из Греции в Бессарабию, и о ее предках Александр Сергеевич Пушкин написал поэму об Алеко и Земфире.

На Украине Плаксиды появились в середине прошлого века и там пустили корни, поковчив с кочевой жизнью. Женщина, с портрета которой начинается альбом Александровских, вышла замуж за Лазаря Спивака, человека из тех, кого во время оно называли «безродными».

Сын Спивака и цыганки Плаксиды, Давид, поселился в местечке Смела, что на Киевщине, там женился на красавице Раисе, подарившей ему девятерых детей. Давид был талантливым музыкантом. Но кому в Смеле была нужна его музыка — разве что на свадьбах и похоровах. Подрастали дети, будущее казалось мрачным. Надо было что-то придумать. И в начале нынешнего века Спиваки уехали в Германию, поселились в Лейпциге. Здесь была знаменитая консерватория с еще более знаменитой профессором Корелли. Давид Спивак привел Клару к Корелли. Та прослушала девочку и взяла ее в свой класс. В 1910 году Клара блестяще окончила консерваторию, а через год Венская опера пригласила ее на ведущие партии.

Молодая актриса неизменно находилась в атмосфере преклонения. Окружавших ее мужчин в ней привлекало все — и талант, и внешность, и манера держаться, и удивительная мягкость. Ее ждало блестящее замужество. Претендентов на ее руку было много. Оставалось только выбрать достойного. И вдруг на ее жизненном пути появляется бедный российский эмигрант, в сущности, полуинициальный студент.

...Натянутость, присущая первым минутам знакомства, исчезла. Тут, наверно, сыграло роль то, что Россия когда-то была и ее родной. Это был тот счастливый случай, когда она сердцем и разумом почуяла в невысоком, крепко сбитом парне с открытым лицом и подкупающей улыбкой личность, ум и, может быть, ту внутреннюю могучую силу, которая за-

¹ Войдите (нем.).

ставляет покоряться даже неприступные женские сердца.

В тот вечер они недолго пробыли вместе, говорил о музыке, о России, о его будущем, которое было весьма туманным.

Прощаясь, Клара спросила: будет ли он в Лейпциге? Это звучало как приглашение к продолжению знакомства.

Сергей возвратился в Мангейм. Стояла осень 1912 года. Газеты печатали тревожные вести из Берлина, Лондона, Петербурга, Парижа о напряженной обстановке в Европе. Англия, Франция, Россия вооружались. Германия строила большой флот. Изодня в день в немецких газетах появлялись воинственные статьи с требованием перекроить карту мира, так как, дескать, «бедная Германия» осталась без колоний. В Мангейме, как и повсюду в Германии, резервистов призывали на учения.

Партия российских социал-демократов (большевиков) первой забила тревогу. Ленин, находившийся в эмиграции, с беспокойством наблюдал за растущими военными приготовлениями великих держав. По его настоянию в Базеле готовился чрезвычайный международный конгресс социалистов, чтобы предотвратить войну, а если она разразится, то добиваться свержения капиталистических правительств.

Мангеймская большевистская колония в конце лета начала готовиться к Базельскому конгрессу. Сергей делил свое время между учебой в Торговой академии и сбором материалов о настроениях рабочего класса в Баден-Вюртемберге. Этот материал был переслан в Заграничное бюро ЦК РСДРП (большевиков).

С возрастающим напряжением Сергей прислушивался к вестям из России. Письма из Томска, а нередко и денежные переводы приходили от Сергея Васильевича. Старший Александровский сетовал по поводу роста шовинизма.

Сергей помнил о своих боях с черносотенцами в Томске и понимал, сколько труда и времени понадобится передовой России, чтобы разделаться с грузом царизма. Каждый раз, погружаясь в размышления о будущем России, о своем призвании в этом тревожном мире, Сергей с радостным волнением ощущал в себе неизбывную силу и уверенность в правоте дела, которому он посвятил свою жизнь. С того навсегда памятного для него дня встречи с Кларой силы его умножились... Он поехал за Кларой в Лейпциг. Для нее появление Сергея у рампы после первого спектакля было полной неожиданностью. Когда он бросил к ее ногам букет белых гвоздик, она как-то особенно тепло улыбнулась.

Весной 1913 года их встречи становятся все более частыми. Весь сезон этого года Клара выступала вместе со знаменитым итальянским певцом Энрико Карузо. В знак признательности и почтения к ее таланту Карузо подарил ей свою фотографию с дружеским посвящением и кольцо с рубином.

Когда гастроль подходила к концу, Энрико спросил Клару:

— Кто окажется вашим избранником? Кто будет этот счастливец?

Она обещала ответить. По обычаю, после каждой гастроль артисты устраивали товарищескую вечеринку. Клара сказала, что представит своего друга.

С нескрываемым любопытством разглядывали артисты статного человека с фигурой борца, приветствовавшего всех легким поклоном.

— Знакомьтесь, — представила Клара. — Это Сергей,



Энрико Карузо. Портрет с дарственной надписью Кларе Спиваковской, подаренный ей знаменитым певцом в 1913 году, когда они вместе выступали в Берлинской опере.

— Серж? Француз? — спросил Карузо.
— Нет, не Серж. Сергей. Он русский, — уточнила Клара.
— О! Bravo! Это выбор! — сказал Эрико.
...Учеба в Мангеймской торговой академии подходила к концу, и было решено, что к лету 1914 года Сергей переедет в Берлин.

ВОЙНА

Первого августа 1914 года Европа взорвалась мировой войной. В Германии и других странах шла всеобщая мобилизация. Истерические толпы кричали «Хох» кайзеру и его генералам. По городам и селам России солдаты, припадая к плечу уходящего на войну мужа, истово крестили его и себя и желали скорейшей победы над супостатом. В Париже генерал Галиени носился с планом мобилизации всех парижских такси, чтобы перебросить войска на Марну. В Лондоне репетировала первые затемнения.

Но и в эти первые трагические дни августа 1914 года машина мирного времени еще делала свои обороты, и ее эхо отозвалось в Мангейме: там должен был состояться международный шахматный турнир.

Русская колония ждала этого события с интересом. В Мангейм приехали Александр Ахелин — восходящая звезда на мировом шахматном небосклоне — и русская шахматная делегация — Боголюбов, Вайштейн, Рабинович, Селезнев, Романовский и другие. Людей «оттуда», из России, русские политические эмигранты всегда ждали с нетерпением и интересом. Правда, здесь не было большой надежды на получение важной информации о жизни и настроениях в России, но встреча с земляками всегда волиуща.

Турнир длился недолго, всего несколько дней. Александровский, еще с юношеских лет увлекавшийся шахматами, не пропустил ни одной партии Ахелина, который сражался с корифеями тогдашнего шахматного мира — Дурасом, Флямбергом, Таррашем, Мизесом, Карльсоном, Фарри, выигрывая одну партию за другой.

Но тут вмешалась война, и турнир был прекращен. Ахелин по количеству очков стал победителем турнира и получил первый приз. Но герр полицейский начальник закрыл турнир.

Теперь битву вели другие короли.

В августе германская полиция приказала всем русским эмигрантам, где бы они ни находились на территории кайзеровского рейха, явиться на регистрационные пункты. Сергей Александровский, как и все русские революционные эмигранты, был отправлен в лагерь за колючую проволоку. На четыре года.

Военный каток утишил Европу. Впереди был марш германских армий на Париж, взаимное истребление немцев и французов под Верденом. Впереди были Мазурские болота, где погибли сотни тысяч русских солдат, прорыв армий генерала Брусилова и разгром австрийских армий. Впереди были газы, примененные на реке Ипр, валет «Цепелинов» из Лондон, разрушение сотен европейских городов, уничтожение тучных нив, садов и виноградников. И как итог безумия — гибель миллионов человеческих жизней.

Впереди были Февраль и Октябрь 1917 года в России и Ноябрь 1918 года в Германии.

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Лагерь для интернированных в Данауэшингене, где оказался Сергей Александровский, стал местом сбора русских из Мангейма, Гейдельберга и Карлсруэ.

Начальник лагеря, отставной майор, призванный из резерва, созвал заключенных на аппельплатц — площадь для переключек в центре лагеря — и объявил, что отныне он здесь бог, кайзер, высший судья. Питание обычное, лагерное, а у кого есть деньги, тот может покупать сведь в кантине — лагерьной столовке.

Началась лагерная жизнь: серая, однообразная, барачная. Русские создали антивоенный комитет. Об этом строки из сохранившейся записи Александровского:

«Скоро в лагере образовалась группа РСДРП, в которой было 4 большевика. За попытки организационной и агитационной работы ряд интернированных, в том числе и я, был переведен в половине 1915 года в штрафной лагерь Роштадт. Когда началась нужда в рабочих руках, немцы постепенно начали выпускать из Роштадта на работу. Я попал в 1916 году в Наугейм на фабрику искусственных зубов гравировщиком по металлу, потом работал у гладильной машины в паровой прачечной. Здесь я связался с нелегальной организацией военнопленных и дальше двумя путями — через эту организацию и прямо на фабрике, где работал, — с союзом «Спартак». Таким образом в марте 1917 года, вскоре после получения известий о революции в России, я мог бросить Наугейм и поехал в Берлин, будучи уже прочно связан с этими организациями».

Записи Александровского, сделанные через много лет после описываемых событий, очень скупы по многим причинам и не в последнюю очередь из-за его скромности. К счастью, сведения, сообщенные жене, а затем переданные сыну, отдельные заметки и фотодокументы позволили по крупицам восстановить удивительные и важные события той поры, в частности его деятельность в Германии уже после интернирования.

Под Новый, 1915 год Александровского вызвал комендант. Был почти приветлив, сказал, что для заключенного есть приятная новость. И, разумеется, не сказал, сколько он получил за свою «доброту».

— Ваша невеста, фройляйн Спиваковски¹, добилась для вас разрешения на краткосрочный отпуск. На три дня поездом можете выехать в Берлин. Там сразу же зарегистрируйтесь в полиция-президиуме.

Клара ждала Сергея на своей квартире во Фронау. Молча обняла его, радостно улыбаясь, сказала:

— Три дня ты мой. Обо всем остальном забудь.

И Клара и Сергей только теперь поняли: отныне, что бы ни случилось, они навсегда останутся вместе.

Три дня промелькнули как одно мгновение. Накануне отъезда Сергея оба долго гуляли по Аллее победы, увенчанной обелиском, шли мимо памятников фельдмаршалам и генералам, где вся прусская история была изваяна в бронзе и камне.

Весной 1915 года Сергей снова приехал на трехдневную «побывку» в Берлин. На этот раз столица выглядела сумрачно. Громы победных лавров приумолкли после провала немецкого наступления на Париж. На улицах появилось много калек, магазины потускнели, а на окраинах выстраивались очереди у продовольственных лавчонок.

Клара по-прежнему жила на старой квартире во

¹ Так произносится эта фамилия немцами.

Фронау, и Сергей с вокзала приехал туда. Уже по дороге он замечал те неуловимые перемены в Берлине, какие не каждому были понятны с первого взгляда. На улицах и у ворот больших доходных домов собирались группы молодых парней и девушек. Шудманы настороженно смотрели на них, готовые в любую минуту разогнать, избить их резиновыми дубинками, а в случае необходимости призвать на помощь конную полицию.

Клара сказала Сергею, что в Берлине создан и начал действовать какой-то нелегальный Интернационал молодежи и организатором этого Интернационала является Карл Либкнехт. Может быть, Сергей слышал о нем?

За все время знакомства с Кларой Сергей старался не говорить с ней о политических проблемах. Для нее он был все же студентом Торговой академии. И если они поженятся, то Сергей, вероятней всего, останется в Германии и впоследствии получит место в крупной фирме. А может быть, она поедет с ним на его родину, в Россию, Петербург. Эприко Карузо, выступая в Мариниском оперном театре, с похвалой отзывался о тамошних талантах. Почему бы ей в самом деле не поехать в Россию? Ведь это и ее бывшая родина.

Сергей сказал, что он хорошо знает, кто такой Карл Либкнехт, хотя лично с ним не знаком и ни разу не видел его. А то, что Карл Либкнехт — единственный депутат рейхстага, голосовавший против войны и предоставления военных кредитов кайзеру, характеризует его с лучшей стороны.

— Вот и прекрасно. Тогда я тебя с ним познакомлю, — сказала Клара. — Ведь мы близкие подруги с его женой Солей. Кстати, я завтра обязательно должна быть у нее. Мой отец подарил мне и Соле две русские золотые десятирублевые монетки. Мы заказали у ювелира одинаковые кольца с аквамаринами. Соля вчера забрала кольца у ювелира, и мы договорились, что я навещу ее.

ВСТРЕЧА С ЛИБКНЕХТОМ

На следующий день вечером Клара привела Сергея Александровского на квартиру к своей подруге.

Соля открыла дверь гостям и, тепло приветствуя их, расцеловав Клару, подала руку Сергею и на чистом русском языке, с мягким акцентом, присущим южанам России, сказала:

— Очень рада, дорогой земляк. Клара мне рассказывала о вас, теперь будем знакомы. — И, заметив недоумение Александровского, продолжала: — Не удивляйтесь. Я же из Ростова. Проходите, пожалуйста. — И, взяв Клару и Сергея под руки, повела их в комнаты.

Софья Рысс впервые услышала о Карле Либкнехте вскоре после того, как она, 19-летняя девочка, приехала в Германию, в Гейдельберг, изучать искусство. Двенадцать третьего июля 1904 года в Кенигсберге начался процесс девяти немецких социал-демократов. Их судили по указанию кайзера Вильгельма II за то, что они помогали русским революционерам печатать и переправлять в Россию пеленгальную литературу. В защиту подсудимых выступил тогда еще сравнительно мало известный адвокат Карл Либкнехт. Русский юрист, профессор Рейснер, отец будущей писательницы Ларисы Рейснер, принимавший участие в Кенигсбергском процессе в ка-

честве эксперта, писал, что «защита сумела превратить процесс в обвинение политического строя России». И в этом, сказал Рейснер, была заслуга Карла Либкнехта.

Имя Карла Либкнехта было тогда на устах молодежи, и Соля читала его речи, опубликованные в газетах. А через два года встретилась с ним в Гейдельберге, куда доктор Либкнехт, блистательный знаток искусств, приехал прочитать курс лекций.

В августе 1911 года первая жена Либкнехта, Юлия Парадиз, скончалась под ножом хирурга во время операции, оставив мужу троих детей: Вильгельма, которого родные и друзья ласково называли Гельми, Роберта и крошечную Веру.

В октябре 1912 года Софья Рысс стала женой Карла Либкнехта. Они мечтали поехать вместе на ее родину — в Ростов, в Москву, Петербург, Одессу, Киев. Мечте этой не было суждено осуществиться.

...Итак, весна 1915 года. Карл пришел домой и сказал Софье, что его вызывал окружной военный начальник и вручил предписание завтра же выехать на фронт.

В тот вечер, проведенный с Александровским, Карл все расспрашивал его о России. Узнав, что Сергей сибиряк, Либкнехт сказал ему:

— Вот как, значит: вы, как и моя жена, из того великого и печального края. Ведь на памяти трех поколений Сибирь удобряется кровью благороднейших русских людей. У вас в России того, кто хочет остаться человеком, ждет Сибирь или Шлиссельбургская крепость.

В этот день, когда депутату рейхстага Либкнехту по приказу военного начальства было запрещено «принимать участие в публичных и закрытых собраниях, вести какую бы то ни было политическую агитацию устно и печатно в пределах империи и за границей», Карл допоздна проговорил с Сергеем Александровским о будущем России и Германии.

А утром солдат Либкнехт был отправлен в окопы на русский фронт. Сергей же возвратился в лагерь для интернированных.

В РОССИИ — ПЕРЕМЕНЫ...

Медленно и тоскливо тянулись дни в лагере. Окольными путями и через русских, вновь прибывших в лагерь, поступали сообщения о событиях в «большом мире». Скудные вести просачивались из России. Лишь изредка Сергей узнавал последние новости. Все реже приходили письма через Швейцарию из Томска от Сергея Васильевича. Отец писал, что Россия все больше и больше увязает в войне, что настроение повсюду мрачное.

В начале ноября 1915 года Сергею снова удалось приехать в Берлин. Клара сразу же повела его к Либкнехтам. За последнее время Карл часто писал с фронта, и Гельми, получивший письмо от отца, прочитал его друзьям. Карл писал:

«История этой войны, мой мальчик, будет проще, чем история многих прежних войн, — ее побудительные мотивы ясны, очевидны во всей их грубости. Вспомни о крестовых походах: они считались походом во имя культуры и были окутаны религиозным покровом, насквозь фанатичным, но скрывающим под собой стремления экономического характера — это были широко задуманные торговые экспедиции.

Чудовищные размеры нынешней войны, ее средства и цели не только ничем не прикрыты, а, наоборот, раскрыты...»

Пришел 1916 год. Война бушевала на всех фронтах — в России, Франции, Австро-Венгрии, на Балканах, в Атлантике, где немецкие подводные лодки беспощадно топили военные и торговые корабли. Казалось, армии так же беспрекословно, как и в первые месяцы шовинистического угара, выполняли свой долг. Но уже давала себя знать трещина в сознании верноподданных. Все чаще свирепствовали военно-полевые суды, и жандармские заставы прочесывали в поисках дезертиров не только прифронтовые полосы, но и дальние тылы. За отказ воевать Карл Либкихт был предан военно-полевому суду и заточен в Северную военную тюрьму в городе Луккау. Пресса травила бывшего адвоката. Но над его поступком задумались многие, да и не только в Германии. На русско-германском фронте были случаи братания солдат.

Еще в 1915 году Маннгеймская группа русских социал-демократов (большевиков), оказавшаяся в одном лагере для интернированных, разработала программу действий. Антивоенная пропаганда среди населения не сулила успеха. Немецкие бюргеры в большинстве своем еще свято верили в кайзера и его генералов. После назначения фельдмаршала Гинденбурга на пост начальника генерального штаба из дерева был вырезан его монумент, и верноподданные, фанатично поверившие в солдафона, собирали средства и обивали этот монумент золотыми гвоздями. Но в германской армии уже усиливалось брожение, и Маннгеймская группа решила действовать на военно-морской базе в Киле. Это важное и опасное задание было поручено Сергею Александровскому.

Добившись у лагерного начальства недельного отпуска для поездки к невесте, Александровский выехал в Киль. В кармане у него был паспорт на имя Ганса Гутенберга и солдатская книжка, в которой была отметка «Унабкемлих» — «Незаменимый», что означало освобождение от военной службы. На полицейские власти это действовало магически. Сергей поселился в дешевом пансионе фрау Кройцгер на Лютерштрассе, зарегистрировался в полицию. Хозяйка пансиона была довольна веселым, общительным гостем и снисходительно относилась к его отлучкам. Он занят важным делом — поставками для военного флота. Слегка кокетничала с ним — ведь у него такие красивые голубые глаза.

Возвратившись в лагерь, Александровский сообщил руководству большевистской группы, что установил надежную связь в Кильском морском гарнизоне.

В Берлин все чаще поступали сведения о волнениях в русской армии, о том, что в России бастуют рабочие, что в Петрограде происходят демонстрации голодных женщин, что полиция и казаки разгоняют недовольных.

Слухи эти то усиливались, то ослабевали. Русские в лагере понимали, что вот-вот должен произойти революционный взрыв, который изменит положение в России, изменит их жизнь, и все они, застрявшие на чужбине, возвратятся на родину, чтобы там участвовать в великой очистительной борьбе.

Мартовским вечером немецкие газеты вышли с чрезвычайными сообщениями на первых полосах: русский царь низложен.

Александровского это событие застало в лагере. Весть из Петрограда по радио и телефону облетела весь мир. В Германии и повсюду, где война застала русских политэмигрантов — в Англии, Америке, Франции, Австралии, — эта весть была встречена радостными криками «Ура!», пением «Варшавянки». От радости люди плясали, обнимались друг с другом и незнакомыми прохожими на улицах. Стали создаваться Комитеты возвращения на Родину.

У кайзера и его правительства русская революция породила двоякое чувство: она была опасным примером для немецкой армии и народа, страдавшего от войны. Но, с другой стороны, Россия теперь, по всем расчетам, выходила из игры, а это сулило успех наступлению германских армий на Западном фронте.

Режим в лагере русских ослабили, и Александровский снова получил разрешение выехать в Берлин. О России пока не могло быть и речи: германское правительство не собиралось выпустить русских политэмигрантов. Александровский поступил на работу. Диплом об окончании Маннгеймской торговой академии открыл двери в контору Берлинского банка.

СИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ...

Еще до войны Клара все собиралась сообщить родителям, что решила связать свою жизнь с Александровским. Война ворвалась в их жизнь. Теперь Клара отправилась в родительский дом на Фридрихштрассе — угол Кроненштрассе, чтобы поговорить с отцом и матерью, сказать им, что выходит замуж.

Давид Спивак кое-что знал о планах дочери, кое о чем догадывался. Считал ее увлечение причудой, свойственной всем актрисам, и видел свою любимицу замужем за солидным, богатым человеком, который введет ее в высшее общество, куда даже выдающимся артистам не всегда открыт доступ.

Оставшись наедине с отцом, Клара сказала ему о решении связать свою жизнь с Сергеем Александровским. Наступила тягостная тишина. Давид Спивак, не глядя на дочь, вышагивая по комнате, спросил глухим голосом:

— Так, значит, этот твой жених — русский и к тому еще каторжник из лагеря. Значит, ты с ним уедешь в Россию, откуда я бежал и привез тебя сюда ребенком. А что будет с твоей карьерой? Вся жизнь будешь тянуть жалкую нищенскую ямку. Там ты никому не нужна. А он мне здесь не пужен...

Разговор с отцом кончился размовкой. Клара сказала, что ее решение твердо и неизменно: она выходит замуж за Сергея.

Клара ушла. За стеной, окаменев от горя, ждала мать. В тот вечер траур был в доме Давида Спивака.

ВЫПИСКА ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

«Магистрат района Берлин-Шарлоттенбург, 1918 год, 26 августа. Сим удостоверяется, что сего числа, 26 августа 1918 года, зарегистрирован брак Клары Спиваковской, рождения 1893 года, родившейся в местечке Смела Киевской губернии, Российской империи, и Сергея Александровского, рождения 1889 года, родившегося в деревне Геруссы, Закавказье, Российская империя. Свидетели: А. Зубок и П. Ковалев».

В октябре 1918 года господин Гутенберг снова приехал в Киль и поселился в облюбованном им пансионе фрау Кройцгер на Лютерштрассе. Штамп «Унабкемлях», представленный в солдатской книжке, по-прежнему избавлял от назойливости полицейских властей.

В Киле Гутенберг провел весь октябрь, часто появлялся на военно-морской базе по поручению фирмы, которую Гутенберг представлял, вел переговоры с заместителем командира базы по боепитанию, весьма любезным корветтен-капитаном.

С морского театра в Киль приходили тревожные сведения. Беспощадная подводная война, которую вела Германия, приносила все больше жертв не только странам Антанты, но и немцам. Атлантика похоронила десятки тысяч немецких моряков. Молох войны требовал все новых и новых жертв. В матросских кубриках, на вспомогательных судах у причалов зрела сила, готовые вот-вот выйти из повиновения.

Тридцать первого октября Гутенберг последний раз появился в пансионе, расплатился с любезной хозяйкой, сказал, что уезжает из Киля.

Мы уже знаем, что в разгар боев на Линденштрассе Гутенберг был там с отрядом матросов из Киля. В те недели с ноября 1918 года до января 1919 года Сергей не появлялся во Фронау. Клара почти все время проводила дома, так как оперный театр не работал. Иногда она забегала к Либкнехтам в надежде увидеть там Сергея. Но Соя ничего не могла ей сообщить. В середине ноября Карл выпел на волю из военной тюрьмы, вместе с Розой Люксембург стал во главе революции и тоже почти не появлялся дома. Все дни он проводил в Центральном Комитете только что созданной Коммунистической партии Германии или в редакции газеты «Роте фане» — центрального органа КПГ.

В начале января положение в центре Берлина, особенно на Линденштрассе, осложнилось. Началось наступление правительственных войск. Оценив обстановку, Александровский намеревался помочь восставшим — бросить туда своих матросов, но правительственные войска потеснили революционеров. Александровский сумел пробраться в здание ЦК Коммунистической партии: узнав там, что отряд интернационалистов под командованием Франческо Мизиаго овладел зданием газеты «Форвертс», он решил любой ценой пробиться туда. Первым, кого он увидел на верхнем этаже здания, где закрепилась интернационалистка, был семнадцатилетний Гельм. Тот бросился к Сергею на шею с радостным криком: — Русский тоже с нами!

Теперь уже не было никакого смысла называть себя Гутенбергом. Сергея подвели к единственному пулемету, который имелся в отряде Мизиаго. Он поднял его, как игрушку, почистил, придвинул коробку с лентами и, улыбающийся окружавшим его итальянцам, по-русски сказал сам себе: — Ну что ж, друзья, повоюем!

О событиях, происходящих в центре столицы, ходили по городу самые разноречивые слухи. Район Линденштрассе с газетным кварталом, где происходили бои между правительственными войсками и интернационалистами, оцепила полиция. Правительственные газеты выходили с перебоями, и, как всегда в таких случаях, перепуганный обыватель кормился слухами, которые распускали и подогревали берлинские «версальцы», развязавшие террор против

«красных». Утверждали, что «красные» намеревались взорвать банки, открыть шлюзы канала и затопить город, уничтожить электростанцию.

Первую неделю января рабочие и отряд Мизиаго успешно обороняли здание «Форвертс». Одинадцатого января правительственные войска подвели орудия и начали штурм здания. В тот день пал последний оплот восставших. Александровский вместе с другими интернационалистами был заточен в тюрьму Моабит.

С воли доходили печальные вести, одна страшнее другой. Карла и Розы уже не было. Солдаты Носке схватили их на Маннгеймштрассе в Вильмерсдорфе. Вместе с ними арестовали Вильгельма Пика, но ему удалось бежать. Карла растерзали в Тиргартене, а Розу, оглушенную прикладом винтовки, окровавленную, еще живую, бросили в Ландверканал...

Целые дни напролет Сергей сидел, скорбившись, в камере. Перед глазами вереницей проходили встречи с Карлом; казалось, он слышит его голос... Где Гельм? Может быть, он где-нибудь рядом, в соседней камере? Что с Соией, с Робертом и Верой? Мысли не давали покоя. От Клары не было никаких вестей с тех пор, как он уехал в Киль.

25 января в камеры Моабита донеслись отзвуки мощной демонстрации. Берлин хоронил Карла Либкнехта. Много позже Сергей прочитает последнюю статью Карла, опубликованную в «Роте фане» пятнадцатого января 1919 года и написанную за несколько часов до гибели.

«Те, кто потерпел поражение сегодня, будут победителями завтра, ибо поражение — урок для них... Не знаю, будем ли мы жить, когда победа будет достигнута. Но жить будет наша программа борьбы, и она завоеует большинство человечества. Несмотря на это!»

Александровский тогда, разумеется, не знал и не мог знать, что через четырнадцать лет некий ефрейтор Адольф Гитлер-Шикльгрубер станет рейхсканцлером Германии, страна выбросит за борт и растопчет все моральные ценности, накопленные и сохраненные ее лучшими умами, а затем ввергнет весь мир в катастрофу новой мировой войны. Он, разумеется, не знал и не мог знать, что убийство Розы и Карла было прологом к фашизму, приход которого к власти он сам через четырнадцать лет будет наблюдать в Берлине, исходясь там на высоком дипломатическом посту.

В январе 1920 года после многократных и трудных переговоров, по настоянию советского полпреда в Берлине, Александровский был выпущен из тюрьмы и назначен при посредстве секретарем Бюро РСФСР по эвакуации русских военнопленных из Германии.

Но впереди еще были новые испытания. Прежде чем рассказать о них, дорогой читатель, нам придется вернуться несколько назад, к событиям, предшествовавшим контрреволюционному путчу в Германии в марте 1920 года.

КТО СРЕЛЯЛ В АЛЕКСАНДРОВСКОГО!

Летом 1919 года к пансиону на Бютерштрассе в Киле подъехала машина с двумя пассажирами. Один из них, сидевший за рулем, был в форме морского офицера, но без знаков различия.



Другой, вышедший из автомобиля, высокий, сухопарый, беспокойно вертя в правой руке стек, решительным шагом направился к двери, ведущей в пансион.

— Припугни старуху как следует, она быстро развяжет язык, — бросил ему вдогонку человек, оставшийся в автомобиле.

Это был не кто иной, как Герман Эрхардт, тридцативосьмилетний морской офицер, возглавивший в Мюнхене террористическую организацию «Консул», охотившуюся за немецкими революционерами, и в первую очередь за активными борцами Ноябрьской революции в Германии.

Организация «Консул» была предшественницей гитлеровской нацистской партии. Она развязала террор против коммунистов и буржуазных деятелей либерального толка, а главным образом против тех, кто выступал за нормальные отношения с Советской Россией.

Националисты из «Консула» убили Маттиаса Эрцбергерера, немецкого политического деятеля, лидера католической партии Центра. С Эрцбергером у Эрхардта были свои особые счеты: еще в 1917 году Эрцбергер выступил против беспощадной подводной войны, которую вела кайзеровская Германия. Он считал, что послевоенный мир должен быть построен без аннексий и контрибуций. От имени Германской республики Эрцбергер подписал перемирие с Англией и Францией, а затем выступил сторонником Версальского мирного договора.

По приказу Эрхардта Маттиаса Эрцбергерера застрелили в упор. Это произошло в 1921 году.

Летом 1922 года бандиты из «Консула» совершили другой крупный террористический акт — убили министра иностранных дел Германии Вальтера Ратенау за то, что в апреле 1922 года тот подписал с паролным комиссаром иностранных дел Георгием Васильевичем Чичериным Рапальский договор, позволявший Советской России прорвать внешнеполитическую блокаду и установить с Германией нормальные отношения.

После этого убийства Эрхардт был арестован. Его хотели судить, но националисты организовали ему побег. Оказавшись на свободе, он продолжал террор и убийства из-за угла, создал шайку, кото-

рая подделывала советские червонцы — десятирублевые купюры, первую советскую устойчивую валюту на международном финансовом рынке.

Сразу же после разгрома Ноябрьской революции Эрхардт и его единомышленники разъехались по городам Германии, чтобы собрать сведения об участниках восстания, в первую очередь коммунистах: кто, как и что делал, говорил, писал в ноябрьские дни. В проскрипционные списки заносили не только взрослых, но и немецких гаврошей. Записывали номера домов и квартир, выясняли родственные связи. Против фамилий в списках фиксировали приговор, вынесенный контрреволюционными «тройками»: расстрелять, повесить, утопить. В лесах, на окраинах городов, в каналах и на чердаках зданий находили трупы людей. Вот официальная цифра, опубликованная полицейскими органами: десять тысяч жертв бандитского террора.

За некоторыми особо важными участниками революции Эрхардт и его ближайшие друзья охотились сами. С этой целью они и приехали в Киль, чтобы подробнее разузнать о Гутенберге, который оставался в пансионе на Лютерштрассе.

Хозяйка пансиона фрау Кройцгер приветливо встретила гостя. Из окна заметила, что он подъехал на автомобиле — значит, какая-то важная птица, наверняка уж состоятельный господин. Лыстиво улыбаясь, спросила:

— Вам комнату, надолго? С питанием, без питания? Плата — умеренная. Но сейчас, извините, уважаемый господин, начинается инфляция. Трудные времена, не знаешь, как дальше будет падать наша марка. Ах, при кайзере.. извините, вы не социал-демократ? Нет? Прекрасно! При кайзере мы жили лучше. Ах, эта война. Так вам одну комнату или апартаменты?

Гость не очень вежливо прервал фрау Кройцгер: — У вас в пансионе жил некий Гутенберг? Опишите его личность.

— Ах, господин Гутенберг. Простите, вы не из полиции?

— Неважно. Отвечайте на вопросы: рост, телосложение, цвет глаз, волос. Он не оставил каких-

Писатели
А. Безыменский,
И. Сельвинский,
С. Кирсанов,
В. Луговской
в гостях
у С. Александровского
Прага. 1935 год.



Сергей
Александровский.
Прага. 1939 год.

нибуть бумаги? Не вздумайте скрывать. Он опасный преступник.

Испуганию заморгав глазами, всплеснув руками, фрау Кройцигер пролепетала:

— Подумать только, преступник! А такой милый человек. Вы знаете, за все время он сюда не привел ни одной дамы... Простите, что я об этом говорю.

Нервно перебирая рукой стек, гость рывкнул:

— Приметы?

— Ах да, приметы... Приметы: чуть выше среднего роста. Очень крепкого телосложения... Я бы сказала — атлет. Глаза — чудо... Вы знаете, я в него влюбилась...

— Черт возьми, — снова рывкнул гость. — Я же вам сказал: ближе к делу!

— Да, да, извините. Глаза — чудо... Рыжеватый, почти золотистый оттенок волос... Это очень идет ему. Знаете, контраст с глазами. Прелестно.

— Он оставил бумаги, книги? Нас все интересует. Понятно?

— Поняла... Разве что вот — запись данных паспорта и солдатской книжки. Ведь у него был штамп «незаменимый». Есть роспись в книге гостей.

— Тащите книгу.

Фрау Кройцигер вышла из комнаты, сразу же вернулась и, перевернув несколько страниц, подала книгу «господину полицейскому инспектору», как она его уже мысленно окрестила. Тот вписал глазами в почерк Гутенберга, приложил к ней стеклянную пластинку с тонким слоем эмульсии и, пробормотав нечто среднее между «ауфвидерзеен» и «альте хексе», что значит «старая ведьма», — вылетел из паниона.

Садясь в автомобиль, он сказал нетерпеливо ожидавшему его Эрхардту:

— Все совпадает: Гутенберг и Александровский — это одно и то же лицо.

В начале марта 1920 года в военном лагере Дебериц, что недалеко от Берлина, не спали несколько ночей. Войска, стянутые в Дебериц, были приведены в боевую готовность номер один. Это значило, что в любую минуту они могут получить приказ выступить. Но куда и когда? Это знали только трое: ге-

нерал Людендорф, начальник генерального штаба германской армии в мировую войну, а впоследствии друг Адольфа Гитлера и участник Мюнхенского фашистского путча в 1923 году; адмирал Тирпиц и помещик Вильгельм Капп. Они готовили военный переворот и полагали, что в ближайшие дни свергнут правительство президента Эберта. Их не устраивал даже этот правый социал-демократ.

План военного путча был разработан до деталей: Эберту предъявляют ультиматум; он уходит в отставку; под руководством военных в Германии проводят новые выборы в рейхстаг, а затем создают новое правительство. Помещик Вильгельм Капп становится рейхсканцлером.

Ультиматум был предъявлен. Эберт тянул с ответом. Двенадцатого марта был предъявлен новый ультиматум. Ответа не последовало. И вот тогда генерал Людендорф отдал приказ Герману Эрхардту приступить к незамедлительным действиям. Так называемая «бригада Эрхардта», сформированная из бывших кайзеровских офицеров и стянутая в лагерь Дебериц, совершила марш-бросок на Берлин. Правительство бежало в Штутгарт. Германская столица оказалась во власти военных заговорщиков, озверевшей кайзеровской солдатни.

В ту ночь Александровский был в Берлине арестован и отправлен в штаб генерала Лютцов, одного из главарей путча. Александровский знал намерения убийц из «Консула». Если не удастся бежать, то гибель неизбежна.

В первую ночь бежать не удалось. Вторая ночь. На рассвете часовой заснул. Теперь Александровский рассчитывал на свою могучую силу. Он выжимает железную решетку вместе с рамой и бежит.

На воспоминания о тех трагических днях капповского путча и его ареста Александровский удивительно скуп. Об этом лишь несколько слов из оставленных записей: «Я бежал из лагеря генерала Лютцов...»

И вот он снова в Берлине, на своем посту в Советском полпредстве...

Людендорф, Тирпиц и Капп не учли настроения берлинского пролетариата. Столица ответила на путч всеобщей забастовкой и баррикадами. Началась

бои. «Правительство» Каппа продержалось лишь три дня. Бригада Эрхардта, отстреливаясь, отступала на запад. Эрхардт на автомобиле ехал впереди отступающих. Оставляя Берлин, направил трех офицеров в район Фронау, где, как предполагал, после бегства из лагеря появится Александровский. Приказ Эрхардта был ясным и кратким: сегодня ночью Гутенберг-Александровский должен быть убит.

Все эти тревожные дни Советское полпредство жило очень напряженно, делая свое трудное дело, каждую минуту ожидая провокаций и диверсий. К тому же Москва торопила с отправкой в Советскую Россию вызволяемых русских военнопленных. Дело в том, что незадолго до описываемых событий прибывший по поручению В. И. Ленина в датскую столицу Максим Максимович Литвинов после многотрудных переговоров с английским представителем О. Треди подписал в Копенгагене соглашение об обмене военнопленными. Советская Россия сразу же отправила в Портсмут англичан, взятых в плен под Архангельском, где они участвовали в интервенции. Теперь надо было торопить английские власти с отправкой русских военнопленных. Первая партия уже вышла из Гарделегена в Копенгаген. Но больше тысячи русских еще томились там в бараках. Многие были ослаблены из-за болезней и плохого питания. Советская комиссия по репатриации наскребла кое-какие средства, закупила продовольствие. Александровский нанял в частной фирме грузовики, отправил туда все это добро. И вот завтра утром он должен был выехать в Гарделеген, чтобы вывезти в Копенгаген последнюю партию русских солдат.

Накануне этого дня, девятнадцатого марта, Александровский на автомобиле уехал из Фронау в полпредство. Обезжая кварталы с еще не разобранными баррикадами, шофер добрался до Бранденбургских ворот и вырулил на Унтер-ден-Линден к зданию полпредства.

Латышские стрелки, охранявшие здание, сказали, что полпред Иоффе уже у себя и ждет его.

Полпред с посеревшим от бессонных ночей лицом расхаживал по кабинету, держа в руках какую-то бумагу.

— Вот это для вас, — сказал он, протягивая Сергею листок. — Телеграмма из Копенгагена, от Литвинова. Максим Максимович сообщает, что первый пароход с нашими военнопленными уже прибыл из сборного лагеря и отправлен в гавань. В ближайшие дни пароход отплывает в Петроград. Литвинов просит поторопиться с последней партией военнопленных. Отправитесь на полпредском автомобиле. С вами поедет латышский стрелок. На всякий случай. Как только вернетесь, прошу ко мне. Буду ждать.

Последние дни Берлинская опера была закрыта, но после бегства «трехдневного правительства» репетиции возобновлялись, и театр продолжал подготовку «Травиаты» в новой редакции.

Клара днем собралась в театр на Унтер-ден-Линден, и Александровский сказал, что постарается захватить за ней вечером, чтобы вместе отправиться домой. Клара просила его не беспокоиться — театральный автобус после репетиции вечером развезет артистов по домам, но она, конечно, будет рада, если Сергей за ней заедет.

Сразу же после беседы с полпредом Александровскому пришлось захватить еще в несколько мест. Освободился он только к вечеру и во Фронау выбрался на стареньком трехколесном автомобиле для

перевозки продуктов, который ему любезно предоставил хозяин одной из посещенных им фирм.

До станции надземной железной дороги, откуда рукой подать до Фронау, он добрался довольно быстро. Но тут мотор трехколески неожиданно зачихал, зафыркал и заглох. Шофер, как все шоферы на свете, выругался, покопался в моторе и печальным голосом сообщил, что «эта рухлядь, которую давно пора сдать на свалку», дальше не пойдет. До Фронау оставалось не больше двух километров, и Александровский быстрым шагом направился домой.

Издали он увидел свет в окнах. Значит, Клара уже дома. Он прибавил шаг, почти бегом пересек наискосок улицу и только успел ступить на тротуар...

Выстрелы раздались почти одновременно: один, два, три. Он рухнул на землю.

Где-то быстро отворили двери и тут же со стуком закрыли. Кто-то открыл окно, вскрикнул и мгновенно захлопнул его.

Моросил дождь. Холодный мартовский дождь. Сергей лежал на земле, глядя остекленевшими глазами в небо, и дождевые капли, стекая с лица, западали в полуоткрытый рот.

Убийцы, подосланные Эрхардтом, метили в сердце Александровского. Пуля прошла чуть левее. Две другие нанесли легкие ранения. Тяжелое внутреннее кровоизлияние поставило Сергея на грань смерти. Спас могучий организм.

Когда Клара на рассвете примчалась домой с сотрудником полпредства, она услышала легкий стон. Страшно закричав, она потеряла сознание...

Через месяц Александровский вышел из больницы. Вскоре из Москвы сообщила, что он назначен секретарем Миссии РСФСР в Вене по делам военнопленных.

В июле 1920 года Александровские приехали в австрийскую столицу.

Через несколько дней после приезда, на Пратере, в центре Вены, Александровские встретили Эрико Карузо. Он изумленно посмотрел на Клару, с чисто итальянским темпераментом воскликнул:

— Боже мой, Клариссимо, вы вся седая... Что случилось? — И, галантно поправившись, добавил: — О, Клариссимо, вам это к лицу. Вы по-прежнему обворожительны.

Клара грустно улыбнулась. Александровский учтиво ответил:

— Благодарю вас, Эрико, за комплимент. Моя жена действительно самая обворожительная женщина в мире. И самый верный друг.

И он поцеловал руку жены.

Вперед у Сергея Александровского была партийная работа на Украине, дипломатическая деятельность в Финляндии, Литве, Германии, Чехословакии. Вперед была вся жизнь, без остатка отданная партии, Родине, народу.

ТВОРЧЕСТВО — РАДОСТЬ И ДОЛГ

Седьмой Всесоюзный съезд советских писателей... Он открывается в плодотворной творческой атмосфере, когда дальнейшее развитие культуры нашего общества определено решениями XXVI съезда КПСС. Литература — могучая сила, формирующая человека завтрашнего дня. Потому ее ответственность возрастает по мере нашего продвижения к коммунизму.

Обычно имя писателя связывается с его уже известными произведениями. Справедливо, но все-таки недостаточно. Мы это особенно чувствуем в дни, когда представители многонациональной советской литературы собираются на свой съезд. Мы думаем не только об уже опубликованных книгах, но и о тех произведениях, которые будут написаны, о тех обещаниях, которые звучат в каждом писательском имени. Об этом главная наша забота. А обещают больше всего и прежде всего те, которые в начале пути, те, чьи имена появились в нашей литературе в последние годы.

Участникам нашего небольшого «круглого стола» редакция предложила следующие вопросы:

1. Говорят, теперь вступать в литературу легче и трудней. Легче, потому что больше внимания и заботы уделяется молодым, трудней — потому что в литературе с каждым поколением все больше сделано. Каков Ваш опыт в этом отношении?

2. Как Вы считаете, в каком смысле надо помогать талантливому человеку, ведь талант — это прежде всего самостоятельность?

3. Каждый писатель в начале пути ставит перед собой определенные творческие цели. Конечно, не обо всем можно поведать наперед, но что бы Вы могли сказать о Вашем заветном, желаемом? Чего Вы добиваетесь от себя и ждете от Вашего читателя?



**СЕРГЕЙ
ЕСИН**

ПОСТИЖЕНИЕ СЕГОД- НЯШНЕГО ДНЯ

Если пользоваться терминологией, предложенной анкетой, я бы поостерегся говорить о вступлении в литературу... В литературу вступили Бондарев и Быков, Айтматов и Федор Абрамов, Распутин и Трифонов. Они неотделимы от литературы, потому что каждый из них создал свой неповторимый мир героев, которые вошли в сознание народа, мысли которых, поступки, манера думать и воспринимать мир стали нашими, вошли в обиход интеллектуальной работы современников. Полагаю, что и я и многие мои товарищи, которых редакция объединила на этих страницах, в литературу еще не вошли. Мы лишь напечатали одно-два-три произведения. История литературы знает молниеносные «вхождения» — «Руслан и Людмила» Пушкина, «Севастопольские рассказы» Л. Толстого, «Бедные люди» До-

стоевского, «Как закалялась сталь» Н. Островского, — и, кстати, все эти произведения были написаны по-настоящему молодыми людьми: Пушкину в то время был 21 год, Л. Толстому — 27, Достоевскому — 25, Н. Островскому — 28, но ни я, ни мои сверстники не имеем права говорить о создании в своих произведениях характеров, даже приближающихся по правдивости и яркости к тому, что сделали знаменитые предшественники. Интересно то, что три последних из перечисленных произведений создавались практически без временной дистанции, то есть были остро современны. И если за точку отсчета взять эти параметры, то, конечно, сегодня в литературу войти легче, потому что действительно много внимания и заботы уделяется молодым.

Забота эта существенна, ибо посит глубинный характер. Не мелочная опека, не снисходительность, а настоящая заинтересованность в душе писателя, в его мировоззренческой и житейской глубине. В этом смысле огромное влияние на меня оказал семинар Ю. В. Бондарева на одном из совещаний молодых писателей. Дней пять мы слушали его разбор наших рукописей. Разве за пять дней можно научить человека писать? Нет. Но можно крепко подействовать на молодую душу. Здесь важен уровень учителя. Кстати, из семинара Бондарева вышли Юрий Додолев, Руслан Киреев.

Под трудностями вхождения в литературу в последнее время стали пониматься трудности с печатанием. Среди своих товарищей я часто слышу мнение, что сложно пробиться в толстый журнал. Эти трудности чаще всего относят к нелитературным причинам. Но я доподлинно знаю, сколь часто эти толстые журналы отказывают самым авторитетным,

иногда обремененным административной ответственностью авторов. И с другой стороны — «Как закалялась сталь» пришла по почте, «А зори здесь тихие» Б. Васильева была извлечена из редакционного самотека. Мой собственный опыт подсказывает, что почтовая марка — самый надежный ходатай литературных дел. Свою первую повесть я разослал в пять или шесть толстых журналов. Напечатала ее саратовская «Волга». И я навсегда сохранил признательность к тогдашнему ее главному редактору, писателю Н. Е. Шундику, заведующему отделом прозы В. И. Кочеткову и, конечно, к О. В. Авдеевой, нашедшей рукопись в «грудке», как писала она мне позже, — редакционной почты». Так что, «вступая» в литературу, надо больше надеяться не на борцовские качества, не на силу знакомств, а на внутреннюю уверенность и силу своей рукописи.

Здесь тоже есть своя закономерность. Талантливому человеку «масть всегда идет в руку». Обязательства всегда работают на него. Двадцатилетний Сергей Есенин приехал из Москвы в Петроград к уже знаменитому Блоку. И был принят уже тогда великим поэтом, снабжен рекомендательным письмом к издателю. И началась судьба. Незадолго до своей смерти Константин Симонов пишет предисловие к повести В. Кондратьева «Сашка». И вот почти через сорок лет после войны началась судьба одного из самых интересных наших военных писателей. Думаю, тут нет случайности, предопределившей путь, она здесь выступает как неизбежная закономерность, а одновременно и как ответ на вопрос: «надо ли помогать талантливому человеку?»

Второй помощник талантливому человеку — это его читатель. Ошибиться и обмануться может редакция, издательство, но очень редко — читатель. За последнее время читатель получил много разнообразных комплиментов, но совершенно определенно одно — его стремительный духовный рост, и отсюда все большая интеграция его оценок.

Общественное мнение все упорнее вырабатывается в самой гуще читателей, и при таком положении молодого писателя, да и писателя других возрастных категорий, не спасает ни обилие публикаций, ни свойское отношение к критикой.

Мои надежды связаны с читателем.

Во взаимоотношениях писателя и читателя счастливо действует отвратительный во всех других областях жизни закон: «ты мне, я тебе». Ты мне труд своей души, я тебе — свою признательность и поддержку. В этом смысле читатель не предубежден, он как ребенок, идет навстречу с открытым сердцем. Вопрос, следовательно, в том, что ты несешь читателю. Насколько удовлетворяешь уровень его требований.

Мне часто доводится слышать: «Я, дескать, прожил такую жизнь и такие мог бы написать романы и повести!». Мне кажется это не совсем верным. Конечно, как считал М. Горький, каждый человек мог бы написать талантливую книгу о себе, но писатель начинает работать не тогда, когда он набредает на некое приключение. Вся его жизнь — предопределенность его писательского долга. Не суммарное количество встреченного на жизненных дорогах типажа, — это лишь необожженный кирпич, — а выработка в себе, в своей душе того пламени, которое сделает прочной и звонкой жизненную массу. Писательская душа обязана трудиться, как каторжная. И этот постоянный духовный труд — утомительный и не всегда приятный, писатель вынужден нести всю жизнь. Думаю, и я и мои товарищи по литературе желаем себе единого: добротной привычки к этой бескомпромиссной работе, ведь в конечном счете в ней зерно нашего будущего.

С жадностью я наблюдаю за работой своих стар-

ших товарищей. Появление за последнее время таких масштабных произведений, как «И дольше века длится день» Ч. Айтматова, «Выбор» Ю. Бондарева, «Век грядущему» Г. Маркова, — одно из свидетельств «новой приливной волны» в советской литературе. В них поражает охватность философских проблем, смелость разработки неожиданного материала, умение схватить самую суть современности. И тут невольно смотришь на себя и думаешь: закопался у подножия жизни, а жизнь идет с немисными скоростями, как поезд мимо разъезда Боранлы — Буранный. Значит, нужно больше смелости в постижении сегодняшнего дня.



**НУРАЛИ
КАБУЛ**

**НЕСИ
ДОБРО
ЗЕМЛЕ**

Каким бы путем молодой писатель ни вступал в литературу, ее железные законы для всех одинаковы. По-моему, снижение требовательности к молодым, льготы и уступки, которыми они порой пользуются, никому не приносят пользы — ни читателю, ни (тем более) писателю. Ведь если начинающий писатель написал действительно что-нибудь стоящее, заставившее людей призадуматься, волноваться, то оно все равно пробьет себе путь, правда, этот путь может быть очень долгим. Это во многом зависит от того, в чьи руки попало произведение начинающего автора. В связи с этим я хочу вспомнить об одном эпизоде из моей жизни. В 1971 году я написал сказку «Человек, гора Айкар и бродяга ветер». Жил я тогда в сельском районе и работал пионервожатым в школе и послал сказку в наш детский республиканский журнал «Гуича» (Бутон). Целый год я ждал от редакции ответа. А потом забыл... Каково же было мое удивление, когда в 1978 году, спустя семь лет, один из сотрудников редакции журнала принес мне на вычитку корректуру той самой сказки. (Я уже переехал в Ташкент и работал главным редактором одного республиканского журнала.) И я подумал: надо же, эти пожелтевшие странички ждали того часа, когда я займу какое-нибудь положение! Да и сейчас мы часто встречаем такое же отношение к молодым литераторам, живущим на периферии. Хотя известно, что вся наша земля (а не только центры) богата талантами. Писатели, живущие в столице и превратившие писательское дело в свое ремесло, не встречают трудностей для опубликования средней, порой даже бездарной поделки на страницах газет и журналов и даже умудряются выпускать их отдельной книгой. Почему-то и требовательности к ним проявляется меньше...

Старики говорят, что плохого бригадира или чабана можно простить за неумение и научить работать, но плохого писателя нельзя прощать и тем более на-

учить писать. Мне кажется, он обманывает себя и читателя.

Когда-то Лев Озеров точно заметил: «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Дело в том, что бесталанные писатели обладают какой-то особой пробивной способностью. Несколько лет назад в журнале «Искусство Советского Узбекистана», где я работаю, мы печатали анкету «Десять ответов на десять вопросов». И вот на вопрос «Что Вас беспокоит в литературе?» наш известный поэт Абдулла Арипов ответил: тревожит то, что на литературной ниве часто процветают люди, обладающие пробивной способностью, как он их назвал, «передовики», а таланты остаются в тени.

Надо искать пути оказания помощи молодым талантам, чтобы, не снижая к ним требовательности, помочь им раскрыть себя. Это задача в первую очередь творческих союзов, печатных органов и издательств. И упаси боже, если во главе их окажутся бездарные, но пробивные деятели от литературы.

Действительно, талант — это прежде всего самостоятельность. Когда Хемингуэй говорил: «Я не читающий, а пишущий писатель», — он подразумевал в первую очередь самостоятельность. И разве не пример самостоятельности и самобытности шолоховский «Тихий Дон»? Роман был начат, когда автору было всего двадцать два года. Поучением, советом нельзя вырастить писателя. Известный писатель Чингиз Айтматов, говоря о жизненном материале в литературе, упомянул о том, что «пищу» для него как для писателя дало его детство. А детство его проходило в трудные военные годы, когда подростки наравне со взрослыми в поте лица трудились не покладая рук, но сколько светлого и чистого в его произведениях. Потому что главное для человека — это труд. Труд — самое великое искусство! Сочетание таланта с трудолюбием дает превосходные всходы. Когда я говорю о труде, не подразумеваю писателя, создающего в тиши своего кабинета ежегодно по роману-киричу. Я имею в виду писателя, активно вторгающегося в жизнь.

Существует народное изречение: «Земля для тебя отец, Земля — мать. Она тебя родила и вскормила. Так твори же добро и не причиняй ей зла!» Издавна наши деды и прадеды творили свою жизнь, соотнося ее с природой, с животным и растительным миром. А всегда ли мы соотносим? Мы часто говорим о техническом прогрессе, не предугадывая тех разрушений, которые он порою несет. Об этом пишут ученые, журналисты, но это не значит, что только они должны заниматься подобными проблемами. Это волнует всех. Беды, нависшие над родной природой, волнуют и меня как писателя. Меня поразила данная специальной комиссии Государственного комитета лесного хозяйства об одной из областей Узбекистана, причем по большей части заповедной. Только за последние пять лет эта зона понесла небывалые потери: «население» диких коз уменьшилось вдесятеро, совсем вымерли джейраны, медведей можно по пальцам пересчитать, а о редких птицах, занесенных в «Красную книгу», остается только вспоминать.

Мне кажется, в некоторых зонах СССР надо запретить охоту. Мы не должны забывать слова Энгельса о том, чтобы мы не гордились своими победами над природой, она в любой момент может нам отомстить.

Проблемы эти не только хозяйственные, научные, но и нравственные, психологические. Тут есть над чем поработать писателю.

г. Ташкент,



**АЛЕКСАНДР
ГЕЛЬМАН,**

лауреат Государственной
премии СССР

А ВДРУГ НАПИШЕТСЯ РОМАН...

Ничего нет проще, как попытаться стать писателем. Тебе нужны только перо и бумага. Ни в одном виде творчества нет такой заманчивой простоты технологии, такой общедоступности. Скажем, чтобы стать режиссером, требуется сцена или студия, артисты, осветители, декорации, реквизит и бог знает что еще. Писателю в этом отношении можно позавидовать. Некоторых эта технологическая элементарность и независимость даже злит: ну, что это такое — взял и написал, что захотел!

Трудно ли, легко ли начинать — кому суждено, тот начинает. Тут действуют стихийные силы и стихийная самоуверенность. В самом деле, это же величайшая самоуверенность и наглость — писать пьесы после Шекспира и Чехова! Но в момент, когда ты начинаешь, когда вступаешь на эту стезю, как-то все так устроивается, что ты об этом забываешь. Без такого забвения выдающихся предшественников и современников начинать невозможно. Это — бессознательное, я бы сказал, благословенное забвение. Но только для начала и только в самом начале забвение это благотворно и простиительно. Потом должно наступить отрезвление, если ты мало-мальски честный писатель. Потом ты обязан отдать себе трезвый отчет в размерах своего дарования. И получается, что самое трудное не начинать, а продолжать.

Тем не менее для каждого поколения вступающих в литературу существуют, очевидно, свои специфические требования мастерства и нравственности, которым надо соответствовать. Похоже, что сегодня эти нормы выше, чем пятьдесят лет назад. Но все-таки надо помнить: кроме этих меняющихся во времени норм, есть в литературе высшие и неизменные образцы писательского искусства и мужества. И уже зависит не от эпохи, а от человека, какая мерка выбирается.

Как-то я присутствовал на встрече трех маститых драматургов с начинающими, молодыми авторами пьес. Многоопытные мастера рассказывали, как театры уродуют их произведения, как низок уровень современной режиссуры, как порой даже не хочется пойти на премьеру. Тогда встал один молодой человек и сказал: «Выходит, мы должны быть счастливы, что наши пьесы не ставят? А мы-то, глупые, огорчаемся, обижаемся. А нам, оказывается, везет!» В зале раздался оглушительный смех.

Еще нередко можно услышать: не спешите печататься, не спешите ставиться. Я хочу сказать: спешите! Только поставленная пьеса помогает написать следующую лучше, мощнее, выразительнее... Талант драматурга крепчает и мужает, когда он видит свои пьесы на сцене, когда он слышит дыхание зритель-

ного зала, когда он готов провалиться сквозь пол, наблюдая в антракте, как зрители — и это наши терпеливые зрители — группами покидают здание театра. Или когда даже на премьерном спектакле аплодисменты такие жидкие, что с трудом удается удержать зрителей в креслах, дабы успеть вызвать автора на ритуальный поклон. Драматург должен позвать и успех и провал, и нет лучшей ему помощи и поддержки, чем суд зрителей.

Между тем в Москве очень мало театров, мы отстаем в этом отношении от многих столиц мира, а значит, отстаем и в реальной, практической поддержке и помощи молодым талантливым драматургам.

В этих условиях путь на сцену можно облегчить только одним способом: написать такую пьесу, не поставить которую было бы просто невозможно. Когда театр задет за живое, захвачен, выведен из равновесия, взбудоражен твоей пьесой, он старается сделать все, что в его силах, чтобы показать ее зрителям. По своему опыту могу сказать, что это должна быть пьеса, смело и с неожиданной стороны вторгающаяся в жизнь, в ее социальные и интимные противоречия, она должна говорить громко о том, что касается всех нас, она должна с высокой гражданской требовательностью высвечивать сложные, болезненные точки бытия, ибо яркий свет публичности содействует самосовершенствованию общества.

Я пишу одну пьесу в два года. Если доживу до семидесяти лет, напишу еще одиннадцать пьес. Одна из них, может быть, об этом и будет: как сидит в своей квартире ночью писатель и думает о том, что, если ему повезет, он напишет еще одиннадцать пьес; и составляет список названий этих одиннадцати пьес; он уже более-менее знает сюжеты, и ему грустно и смешно от этой идиотской статистики, и он рвет к чертовой матери этот список и садится писать роман...



**ПЕТРУ
ДУДИУК,**

лауреат премии
Комсомола Молдавии

ПОВЕРЬ В СЕБЯ САМ!

У писателя просто не должно хватать времени задуматься над этим: легче или трудней вступать сегодня в литературу.

С каждым поколением все больше сделано? Естественно... А как же иначе? Но ведь цель творца — не «обогнать» других, а прежде всего самого себя. Не состязаться с другими, а прежде всего с самим собой. И, как бы шаблонно ни звучало, — верить, фанатично, я бы сказал (но не слепо!), верить в собственное «я». Нет более губительного несчастья, нежели отсутствие в человеке-творце смелости. Дерзости. Из-

за отсутствия веры в собственные возможности мы в большинстве случаев даже не подозреваем, а зачастую и не пытаемся понять, какие бесценные сокровища заложены в нашей душе. Сокровища, не открытые нами. Грустно, порой до физической боли грустно, что, может статься, эти сокровища так и останутся неопознанными. Что это? Не преступление ли перед самим собой? А может быть, косвенно даже и перед обществом?..

Не верь тому, говорю я себе постоянно, кто намеренно или невольно не верит в тебя. Поверь в себя сам! Уверенность не исключает творческого сомнения, она исключает совершенно нетворческое сомнение. Если у тебя не хватает сил поверить в собственное мужество, веры в себя у другого не занять.

За цветами надо ухаживать. Но не следует их поливать больше, чем это необходимо. Ибо тогда слишком размокнет почва и корни ослабеют от избытка влаги...

Убедительна ли такая метафора? Не знаю. Все-таки настоящий талант — это не цветок, который приятно пахнет или радует глаз на ухоженной клумбе. Настоящий талант — это прежде всего оружие. Необходимое в борьбе. В преодолении старого во имя утверждения нового. Нет, настоящий талант не цветок, лепестки которого могут рассыпаться от дуновения ветра. Поэзия — борьба за утверждение нового. Так что не будем осторожничать, обходить то, чего нельзя обойти. Безусловно, талант — это самостоятельность. Он сам, если нужно, постоит за себя. И не будет прятаться в тихой заводной или глубокой норе. Талант мужает в борьбе, в ней проходит закалку, обретает крепость; настоящий талант, если захотит, закаляется даже в бессонных временных разочарованиях, в преодолении разного рода кризисов, которые я называю «душевыми кровопроизлияниями». И все-таки при этом он тоже нуждается в поощрении. Нет, не в аплодисментах. Не в каком-то «ухаживании», не в тепличных условиях. Он нуждается в крепких и сильных плечах тех, кому он нужен. А нужен он всем нам!

По своей натуре — если это интересует читателя — я крайне нетерпелив. Не только в том смысле, что хочу скорее увидеть законченной начатую работу и опубликованным написанное (иногда за торопливость приходится горько раскаиваться), а в желании как можно больше узнать, понять, прочувствовать. Нельзя объять необъятное, но ох как хочется! Поэтому я частенько «с высот поэзии» бросаюсь в трудовую повседневность, пишу очерки, портреты дорогих мне земляков. А высоких творческих целей не только не стоит бояться, их надо ставить перед собой каждодневно. Но с условием, чтобы не быть пленником — если можно так выразиться — отсутствия чувства реальности... В психологическом плане этого я и хочу добиться от самого себя.

Чего я жду от моего читателя? Возможно, заговорит в данном случае во мне эгоизм, но... — к чему притворяться? — доверия и надежности. Ведь ясно: зачастую то, чего ожидают от писателя, он начинает с окрыленным вдохновением ожидать от себя сам. При условии, конечно, чтобы оправдать ожидание своего читателя: трудиться честно, совестливо, до изнеможения! И — ни при какой погоде не потерять свою собственную надежду. Ведь искусство надежды в каком-то смысле — это и искусство достижения цели. Речь, конечно, идет об активной надежде. Не быть... холмом в ожидании чуда, а дорогой, речной стремвиной, разливом...

г. Кишинев.



ГАЛИНА
ЩЕРБАКОВА

ПОКА СЕРДЦЕ БОЛИТ...

Работа писателя — дело штучное, потайное, индивидуальное, и это облегчить нельзя. Облегчить творческую муку — значит убить само творчество. Так что в этом вопросе ничего за последнюю тысячу лет не изменилось и, даст бог, не изменится.

А вот путь с того момента, как человек взял рукопись со своего стола и вышел из дома... Тут появилось много нового. Он — человек — может попасть на семинар, где его обсудят, обласкают и дадут разные советы, может попасть сразу и в Москву, на большое совещание. Его назовут — сколько бы ему ни было лет — молодым... Все будет шумно, весело и — скажем честно — не без побед и открытий. Кого-нибудь даже посадят на белого коня, попросив его у prestaивающей без дела кавалерии.

Дальше — все без гарантий. Конь есть, а гарантий на место в литературе нет, и никто их никому дать не может. Поэтому надо быть очень осторожным. И тому, кто садится, чтоб не свалиться, а кто сажает, чтоб не стыдиться. И постоянно помнить такую простую вещь: тот, кого особенно ждет наша литература, мог не приехать на это наше хорошее мероприятие по выявлению таланта. Или, приехав, сидеть так тихо и робко, что его не успели прочитать и заметить.

Литература выше нас всех, даже вместе взятых, даже самых лучших и умных. И входить в нее надо трепетно и скромно. Снимая шляпу и оставив подальше, чтоб никого не смущать, белых кофей, машины, самолеты... Что там у нас еще под рукой?..

Если есть дар, да честный труд, да скромность, ничего не надо облегчать. Человека просто надо печатать.

Как-то так случилось, что читатели меня больше знают, как автора повести «Вам и не снилось», чем как человека, который пишет и о другом. К примеру, о стариках, о стареющих людях. Однажды на читательской конференции, когда я сказала об этом, меня спросили с непосредственностью и жесткостью молодости: «А зачем это вам?» Вопрос заключал ответ. Имелось в виду: мы, молодые, интереснее. Мы лучше. Мы — согласитесь — перспективнее.

Молодости свойственно преувеличение. Преувеличение своей силы — все могу. Своей непогрешимости — всегда прав. Своего понимания жизни — а что в ней, собственно, понимать? Все ясно! Они в этом своем преувеличении азартны и непримиримы. И не знают, как они порой в этом же беспомощны. Но все это — и их беспомощность, и их азарт — нормально. Они суть их отношение к миру, который они застали.

И мы, взрослые, обязаны это знать. Потому что сами когда-то были такими же... Нам же надлежит делать и первый шаг к пониманию.

О чем и о ком бы я ни писала, я пишу об одном.

О том, что нравственное, гражданское мужание человека — вещь непреходящая и не зависит от возраста. Что пока человек жив, он меняется и способен стать лучше, как бы поздно он ни спохватился. Что в каждом взрослом продолжает жить тот мальчишка или та девчонка, для которых все трепетно, чисто, честно, и никуда тот мальчишка или та девчонка из нас не уходят. Просто почему-то они замолкают. Их завалило грузом быта, обихода, сумки оттащили им руки, плечи согнулись от усталости, от лет, и показалось — все. Конец. Больше ничего не будет. Так вот я хочу сказать — нет! Все будет, потому что все есть. Все осталось. И нежность, и легкость, и вера юности. Все в глубине души, заваленной скарбом.

Когда-то надо остановиться и послушать самого себя. Как дышит живой, но замолчавший в тебе молодой человек.

Опыт, который на плечах, он ведь не для того нам дан, чтобы давить нас, а то и пригибать, он ведь для того, чтобы стать ступенькой к самому себе.

Что такое — понять это? Это не просто стать счастливей от сознания раскрытости всех дверей. Это значит, что со своими детьми ты начнешь разговаривать не с позиции силы — то есть возраста и опыта, — а с позиции равного, который знает больше, а от этого может и больше понять, и больше усвоить, и даже изменить привычную, удобную точку зрения, не стыдясь и не боясь в себе изменений.

Непонимание, если оно существует между отцами и детьми, не природное, не социальное. Оно просто от того, что мы забыли сами себя, себя истинного.

Чуткость — ключ друг к другу. И чем она острее, тем нам всем будет легче и радостнее.

Поэтому, когда я пишу для молодых, я хочу, чтобы они поняли отцов, когда для отцов, — чтоб они понимали детей.

Понимание друг друга, уважение друг к другу — самая важная, самая гражданская проблема на земле. Сердце должно болеть...

Тут в вопросе есть часть, касающаяся читателя... Опять же, исходя из того, что литература выше нас всех, я хочу пожелать читателю взыскательности по отношению к нам, пишущим. Требовательности. Измерять и сравнивать нас надо не друг с другом, а с количеством не сделанной нами всеми работы.



НИНА
КРАСНОВА

«ПЕТЬ ПО-СВОЙСКИ...»

Если не ошибаюсь, К. Вавиенкин в одном из интервью сказал, что спор о том, легче или трудней теперь молодым вступать в литературу, напоминает спор о том, легче или трудней было играть в футбол раньше, чем теперь?

Как бы то ни было, думаю, что молодым не легче, чем раньше. Разве теперь легче написать, например, своего «Онегина», чем во времена Пушкина? Попро-

буй напиши! И печататься теперь не легче, хотя газет, журналов и издательств гораздо больше, чем раньше: желающих напечататься все равно еще больше!

Что касается рязанских литераторов, то у них нет ни своего издательства, ни своего журнала или альманаха... Только газеты. Но они не могут уделять много места стихам и рассказам.

Каков мой опыт в этом отношении? Двумя словами не скажешь, но то, что я пришла, вернее, не пришла, а иду в литературу, как говорится, «от сохи» (и от печки на хлебозаводе и от метлы в жэке), и то, что я считаюсь молодым поэтом, как многие относительно молодые, хотя я уже примерно в возрасте Есенина, наверно, говорит само за себя — говорит о том, что мой опыт нельзя назвать легким. Скажу только, что в последние четыре года судьба была ко мне благосклонной: мне посчастливилось быть участницей VII Всесоюзного совещания молодых писателей, увидеть выпущенную издательством «Советский писатель» свою первую книгу стихов «Разбег», быть принятой в Союз писателей СССР... Все это во многом благодаря моим старшим литературным товарищам и учителям, уважаемым мною поэтам, заботу которых и поддержку я ощущаю постоянно. Грех мне жаловаться на судьбу.

Все это так. Но самый мой большой помощник — рязанский край. Прекрасная рязанская природа, слово вся пронизанная есенинским лиризмом. Рязанский край открыл душу Есенина, научил его любить родные места, потом всю Россию и ее революционную судьбу... Думаю, каждый молодой должен открыть сперва свой край, обрести такого своего вернейшего помощника, союзника и наставника...

Говорить о своих заветных желаниях вслух вообще не принято, а то еще не сбудутся... Вслух не принято, а письменно, наверно, можно?

Самые заветные мои желания — это найти себя в литературе, быть собой, «петь по-свойски, даже как лягушка», но быть не раз и навсегда сложившейся (как вырубленная статуя), а постоянно развивающейся, совершенствующейся.

Чего я добиваюсь от себя? Замечаю, что у меня «устоялся» круг тем: мое детство, моя Рязань, моя любовь... Так вот — мне хочется, не уходя от них, шире и дальше видеть вокруг, принимать сердцем большой мир, выражать общее так же естественно, как личное...

А чего жду от читателей? Внимания, доверия, душевного отклика...

г. Рязань.



**ТАТЬЯНА
БЕК**

**НАЧАТЬ
С НАЧАЛА**

Вступать в литературу или, как сказал поэт, «решаться на дебют» во все времена было, есть и будет трудно, рискованно, страшно. Про-

тив тебя — все!.. Тысячи дивных, любимых, уже существующих строк. Сознание того, что несказанных слов и неназванных чувств на свете уже нет. Разгром твоих стихов в пух и прах неким маститым поэтом, которому ты, дрожа и холодея, дашь заветную тетрадку. Резонное общее мнение, что стихи, мол, в юности пишут все, — это, как в детстве коры! — и пора бы заняться делами посерьезнее...

Против тебя — все!

Но ведь еще больше — за. Чужие лица, отчий город, проклятые вопросы, которых без этого, проклятого же, рифмования тебе не решить, горести, ложь, тучи и вдруг — солнце, добро, чей-то смелый поступок, укоров совести, крик электрички ночью, галчуг, фонари, хлопья — все они, хоть тресни, а за! Да и тот же поэт, отлучавший тебя от песен и лишь укрепивший в том, что вот вы мне говорите бросить, а я вот возьму и не брошу. И те же дивные старые любимые строки, точно дудочка, зовущие за собой... И ведь в конце концов все с тобой происходящее — ново, удивительно, никем еще не описано. Потому-то так хочется, не растеряв своей «единственности», войти в людское братство, в огромную жизнь, в ее творческие будни. И не просто войти в мир, а стать ему нужной, поскольку и он тебе все нужней.

Выходит, я и ответила со всей откровенностью на вопрос о «помощи талантливому человеку» (формулировка анкеты, а не моя, оговариваю, чтобы не сочли за скромность).

Если же отвечать с точки зрения более деловой, то очевидно: молодых сейчас печатают много шире и чаще, чем несколько лет назад. Но порой предпочтение отдается тем, кто больше похож на старших — по манере, по стилю... Потому хочется сказать: старшие, не смущайтесь, когда молодые начинают с чего-то непривычного. Главное — ободряйте их, ругая даже, покажите, что верите в них: талант часто так раним, хоть порою и внешне развязан, так мучительно самокритичен, что — не бойтесь! — не зазнается, а переведет дух и сэкономит первые силы для новых строк.

Самое страшное для юного одаренного поэта — пресыщенное равнодушие. В частности, такая — по сути снобистская — поза старших поэтов и критиков: а ну-ка, что ты там повенного нам покажешь, чем удивишь? Нередко ориентация на такой «запрос» заставляет дебютантов оригинальничать во что бы то ни стало, нарочно, ломая свою природу, идти на тематические и стилистические выкрутасы, обращать на себя внимание побочными по отношению к поэзии усилиями.

Талантливому молодому человеку можно помочь в первую очередь бескорыстным, внимательным, честным прочтением его стихотворений.

Безответственное кружение юной головы (которое часто преследует лишь собственный интерес старшего поэта или критика — интерес искусственно сколотить группу, школу) формированию, как говорится, молодой смены не способствуют.

Мои творческие цели? Ответу коротко и, разумеется, очень схематично.

В стихах я, как умею, рассказываю о себе, пишу автопортрет, что ли, надеясь при этом выразить ту часть поколения, к которому себя причисляю. Счастлива, если читатель порою узнает в этом полотно и свои собственные черты, тайны, тревоги.

А заветная, самая желаемая цель? Пожалуй, так: сломать уже освоенные к тридцати годам поэтические стереотипы, взорвать рамки, расшатать свой — я-то знаю! — мелковатый и чуть застывший почерк. Словом, начать с начала.



АЛЛА
КИРЕЕВА

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ...

Несколько лет назад с группой писателей попала я в город Н., где была небольшая писательская организация, театр, газета и доброжелательная творческая атмосфера. Познакомившись с писателями, я спросила местного молодого поэта, который нас опекал:

- А что Иванов, он пишет стихи?..
- О, это ваш Маяковский! — с гордостью ответил молодой человек.
- А Петров?..
- Петров — это скорее ваш Есенин...
- А Сидорова?.. (Мне уже понравилась игра.)
- Наша Цветаева...
- А вы, простите, кто?..
- Я?.. Молодой человек потупился и застенчиво ответил: — Я, наверное, Блок...

Этот смешной, а в сущности-то, вполне грустный эпизод, на мой взгляд, достаточно красноречив. Как же хочется некоторым литераторам занять свой прижизненный пьедестал — пусть маленький, областной, районный, лишь бы занять! Занять и успокоиться. Действительно, куда дальше расти, если ты уже и так мурманская Ахматова или Блок по-нижнетагильски!..

А ведь так называемая «областная литература» — если она всерьез литература — никогда не должна быть географически и творчески замкнутой, обращенной только «внутрь себя». Привязанность к «малой родине» всегда обязана соединяться с любовью к Родине большой, с ее неделимой по областям литературой. Это похоже на антенну дальней космической связи — подобная антенна всегда заземлена, но «подключена» ко Вселенной...

Именно поэтому на смоленской земле рождаются такие поэты, как Твардовский, Исаковский, Рыленков, и на земле рязанской рождаются поэты, которые становятся гордостью всей литературы...

Обо всем этом я подумала, побывав на занятиях литературной студии «Притомье», которой руководит кемеровский поэт Геннадий Юров. Нет-нет, никаких ассоциаций — там не было кемеровских Пушкиных и новокузнецких Тютчевых! Там были простые парни и девушки, собранные обкомом комсомола со всей кузнецкой земли, были молодые люди, которые пишут стихи.

Что же такое литературная студия? Это не школа, где обучаются «на писателя», и не детский сад, где, в свою очередь, готовят к поступлению в начальную школу. Это не первичная писательская ячейка, а скорее содружество, объединяющее начинающих поэтов и прозаиков по единственному принципу — интересу и любви к литературе, интересу и любви к творчеству.

Литкружковцы (а точнее, литстудийцы) пока еще как артисты самодеятельного театра. В нем играют все желающие, и многие мечтают о большой сцене, о славе, мечтают когда-нибудь сыграть «своего Гамлета» и «свою Джульетту». И хотя мечты сбудутся далеко не у каждого, мечтать все равно нужно. И надеяться нужно. И верить. Это прекрасно, когда человек имеет цель, к чему-то стремится, растет вместе со своей мечтой, мужает. Тогда даже ошибиться не так страшно, ибо горький опыт тоже учит, делает человека умнее, глубже.

Литстудия стала уже для молодых авторов жизненной необходимостью. Обсуждение произведений, споры, разговоры о литературе — все это помогает разбираться в чем-то главном, вырабатывает вкус к чтению, будоражит мысль. И даже если кое-кто из студийцев не станет настоящим поэтом, настоящим прозаиком, все равно занятия в студии не забудутся, даром не пройдут. Останется солидный эстетический и нравственный багаж, умение думать, спорить, отстаивать свое мнение — все это пригодится в любой профессии. А поэзия... Что ж, настоящих поэтов на земле всегда было мало...

Однако, знакомясь с новыми именами, всегда волнуешься, всегда ждешь и радуешься, если твои ожидания хоть в чем-то оправдываются. Я помню свое счастливое ощущение, когда впервые прочитала стихи молодого владимирского поэта Алексея Шлыгина. Сборничек его был маленьким, и стихи там были разные. Но меня остановили строки о небе:

...Нам небо нужно для того,
Чтоб выше голову держать...

...Там за далекой синевой
Охватит светлая тоска...
Нам небо нужно для того,
Чтоб знать, как ты, земля, близка...

Эти строки захватили простором, жесткой энергией: в них было какое-то гагаринское ощущение жизни...

Только поэт может увидеть землю «защитного цвета», только поэт может сказать: «земля горбата от могил, земля от бомб ряба...» и о самом главном — о памяти:

Молчит эсминец на волне.
Лишь слышно,
Как стучат сердца
Солдат,
Погибших на войне.

Писать о памяти, о войне очень трудно. Трудно после Твардовского и Симонова, Межирова и Гудзенко, Вапшенкина и Винокурова. Кажется, что все уже сказано другими, и все-таки настоящие поэты находят свои собственные слова...

Пишут о войне и совсем молодые, ибо живут в них, передаются из поколения в поколение гены памяти, гены победы.

Война началась ровно сорок лет назад. Она вошла в жизнь каждого советского человека. Мы не говорим сейчас о двадцати с лишним миллионах погибших — об этом мы всегда помним. Мы не говорим о политических изменениях на карте мира — это общеизвестно. Скажем о том, что война вошла в литературу прочно и навечно. Как сказал поэт Марк Максимов: «В жизни запыла четыре года, в сердце — половину заняла». И тем, кто родился после войны, как по наследству, передается эта вечная память. Вспомните строки Владимира Соколова, хотя и написанные довольно давно, но будто бы специально обращенные к сегодняшним школьникам:

Уже война почти что в старину.
В ряды летчик вошел сражений был.
По книжкам учат школьники войну,
А мы ее по сводкам проходили.

Они рядом: те, кто «проходил» войну по сводкам, и те, кого сегодня война стала далекой легендой. А еще живут многие из тех, кто, как заметил Михаил Лукошин, проходил «урок географии на поле сражения», кто «изучил Отечество не по карте».

Ведь прошло всего сорок лет с начала войны. Уже сорок лет!

Студиец из Кемерова Сергей Донбай родился в

дин войны. И, конечно, тоже пишет о ней. Не все получается. И вдруг в довольно просторном стихотворении находим строфу: «Дни и судьбы Родины моей... Растворяюсь до последней капли, и уже неразличим я как бы... А война все дальше, все видней».

Это не просто слова, не декларация. В стихотворении о демобилизации «кадры хроника» среди общих, честно говоря, знакомых мыслей и строк («солнечно, искренне, тесно! Крики, улыбки, гудки. Марш духового оркестра...») — вдруг в финальной строфе начинает звучать истинная поэзия, где тихое наблюдение поэта заставляет тревожно забиться сердце:

Но по перрону, как ранена,
Среди платков и пилоток
Мечется кинокамера,
Мечется, ищет кого-то.

Эти строки пронзительны. Но надо сказать, что они сиротливы среди других донбаевских строк, порою довольно вторичных.

Говорят, человек, знающий два языка, имеет две жизни. Казалось бы, человек, владеющий интересной профессией, может стать вдвое богаче как поэт.

Сергей Донбай — архитектор в «Кемеровогражданстрое». Узнавая основные профессии студийцев (а среди них — врач и плотник, прокурор и учитель, журналисты и инженеры, ювелир и пожарник, архитектор и каменщик), задумываешься: а почему так мало пишут они о своей жизни, той, которой живут постоянно, — о своей работе? Ведь каждая профессия дает возможность ввести что-то новое в образность, в мышление, в язык. Но нет, стихи пожарника напоминают стихи врача, стихи учителя похожи на стихи каменщика, и опыт, накопленный в реальной жизни, увы, не проникает в поэзию. Так многие молодые обкрадывают сами себя. Создается впечатление, что их больше привлекают общие темы.

Скажем, тема природы.

Всего сто лет назад
Здесь на ветру шумели сосны,
И нежно пламнел закат
На шелковистых травах росных,
И суетился заяц приткий,
И волк слонялся у дороги...
Теперь здесь выставка открыта
О Человеке и Природе.

Грустные стихи. Принадлежат они инженеру Павлу Майскому. Не всегда четко в них выражена мысль. Слишком красивыми кажутся строки «нежно пламнел закат на шелковистых травах росных», вряд ли можно сказать «выставка о человеке и природе». А ведь у П. Майского есть чувство природы и умение это чувство передать. Он может говорить ясно и совсем не вычурно:

А покорить тайгу нетрудно...
Тайга уходит навсегда,
Когда откроют новый рудник
Иль город выстроят когда.
Но в толчее бетонных клеток
Потом, десятков лет спустя,
Еще цветет клубника летом,
И снегири зимой свистят,
И по ночам, сквозь ельник редкий,
Из голубых таежных стран,
Как призрак на могилу предков,
Приходит лось на котлован.

Стихи запоминаются. Я перечитываю их и переживаю вместе с поэтом. Действительно, горько и обидно смотреть на искореженную землю, грязную, неживую

речку, страшный мертвый лес. Обо всем этом и впрямь нужно говорить, волноваться, кричать! «Охраняя природу — значит охранять родину», — писал М. Пришвин.

Но одновременно я ловлю себя на мысли, что острая и злободневная тема защиты природы (а точнее, тема жалости к природе) становится, как это ни кощунственно звучит, модной, престижной темой! В стихах и статьях, пьесах и повестях — всюду слышна нота жалости к загубленной сибирской (или средне-русской, кавказской, среднеазиатской, северной, южной, западной, восточной и т. д.) природе. Констатация фактов. Вереница цифр. И эмоции.

Ну, а что дальше? Прекратить строить заводы? Не распахивать землю? Не добывать уголь? Перестать прокладывать железные дороги? Не бурить нефтяные и газовые скважины? Отказаться от разработки полезных ископаемых? Остановить развитие прогресса? Да и вообще, как совместить дальнейшую жизнь Человечества с заботой о природе? Как сделать так, чтобы человек и природа не просто сосуществовали, а всегда были вместе, всегда гармонично дополняли друг друга?

Я задаю эти вопросы, не имея в виду, что все поэты, начинающие и маститые, должны срочно оставить стихи и заняться разработкой технических проектов грядущих очистных сооружений, вовсе нет. Но поэт, берясь за ту или иную проблему, обязан хоть в какой-то мере знать и понимать ее сложность, историю, глубину и масштаб. Только тогда поэтические строчки не будут скользить по поверхности, а станут выпошениыми, выстрадавшими, необходимыми другим людям.

Но как с конвейера, продолжают появляться бессмысленные, пустые стихи о природе, от которых, мне кажется, пора защищать саму природу. Эти стихи вторичны и сусальны. За ними нет ни человека, ни жизни, да и природы, в сущности, нет.

Много лет подряд я с веселым удивлением следила за рубрикой «Заметки фенолога», которая регулярно появлялась в вечерних газетах. В рубрике сообщалось о вещах, как правило, широкоизвестных: о том, например, что за мартом следует апрель, за апрелем — май, что зима холоднее осени, а лето теплее весны. Но потрясал стиль этих заметок, он был каким-то вычурно-восторженным и разукрашенно-цветастеньким. Судите сами: «Последняя неделя весны наследует всю прелесть песнопевного мая! Густеющий травостой ходко отрастает, затягивая юной зеленью даже тропы и стежки. Древесные кроны пустили лист, и веселые пряди ветвей неумоимо перебирает порывистый ветер...» — или: «Раз сиеготаяние началось — его ничем не сдержать. А потом напевно заиграли ручьи на пригорках, и наст из панциря превратился в мокрый сахар...»

Бесподобно, правда?

А вот уже стихи о природе, до боли напоминающие заметки фенолога.

1. МАРТ

Я ограничил до предела
Веселый лыжника азарт,
Весна синицею запела,
В лесу гуляет синий март.

2. АПРЕЛЬ

№ 1

Сегодня робко на рассвете
В окошко постучал апрель.
Я, подбежав к окну, заметил,
Как с крыщи падает капель.

№ 2

Трубит в белоствольные трубы
С утра синеокий апрель.
Бьет полдень без устали в бубны,
И праздник справляет капель.

3. МАЙ

Опять веселый из заморья
В сад прилетел зеленый май.
Вернулись птицы на гнездовья,
Вернулись снова в отчий край... и т. д.

Как видите, информации маловато. Поэзии еще меньше. Чем не «заметки фенолога»? Видимо, стихи отличаются от рубрики только тем, что записаны в рифму. Правда, «апрель-капель», «зной-покой», «край-май» казались устаревшими еще в рифмовнике Абрамова. А вот уж «заморья-гнездовья», видимо, современное изобретение...

Насколько же больше поэзии, да и информации тоже в стихах, не стремящихся быть календарем.

Как токует оглохший глухарь,
и кукушка как славно кукует!
Даже самый толковый словарь
так доступно про мир не толкует!

Верно и просто выражено притомцем Вл. Ивановым чувство любви к «малой родине»! Здесь соединилось многое — и картинка природы и богатство человеческой личности, да видна и сама личность. Так маленькая зарисовка становится стихотворением. Так молодой поэт подходит к поэзии. Вот строки Павла Майского:

В омутке на Топкой речке
Топляком застыл таймень...
На селе еще не вечер,
А в тайге уже не день...

«На селе еще не вечер, а в тайге уже не день» — такое мог заметить только поэт. Заметить и точно высказать...

И еще пример. Автор — Сергей Донбай:

Было время медленное вечером,
То, когда еще совсем светло.
Тяжело в колодезе бревенчатом
Восходило мокрое ведро.

Весомо сказано, ясно и поэтично!

А бывает, мысль вроде бы есть, а вот выразить ее поэт не умеет, не может. Скажем, студент Ал. Катков пишет «быть влюбленным в Россию нельзя без корней», не замечая, что «влюбленность» — чувство непрочное, легкое. Оно может перерасти в любовь, а может и рассосаться. Потому «влюбленность» и «Россия» — слова, для русского человека вряд ли совместимые. Здесь уместно напомнить мысль Марины Цветаевой: «Влюбляешься только в чужое, родное — любишь». А развивает Ал. Катков свою мысль так:

...коль не вспомнится сердцу
милый рыжий телок,
тот, которого в детстве
обнимал сколько мог.

Не станем говорить о том, что «милый рыжий телок» прискакал прямым ходом из стихов С. Есенина, — это очевидно. Скажем о том, что сама постановка вопроса наивно-литературна.

А что делать тем, кто не обнимал в детстве «милого рыжего телка»? Что делать тем, кто родился и вырос в городе или шахтерском поселке?

Я вспоминаю базарные фотоателье, где можно было, просунув голову в заранее приготовленное овальное

отверстие, сняться из любом фоне. Пожалуйста: роскошная природа Кавказа, гордый конь иди капитанский мостик. Все к вашим услугам! Похоже, что многие поэты, чтобы обозначить свою причастность к деревне, к природе, порой сами создают аляповатые декорации с дыркой для головы, снявшись на фоне которых можно увековечить себя в сельскохозяйственной, скажем, теме.

Короче, благодаря этим нехитрым приспособлениям можно побывать где угодно и прикинуться кем угодно.

Иногда в стихах молодых поэтов звучит прямо-таки произительная жалость к самому себе, покинувшему родную деревню, оборвавшему все связи с ней.

Снова мы едем в деревню,
кружится праздничный снег...
Потчуют снова вареньем,
ставят домашнюю снесь...
...В чащи знакомые лезем,
рушим податливый наст...
Если мы завтра уедем,
мало кто вспомнит о нас...

Более определенно пишет о том же В. Макаров (сборник «Вторые голоса», Москва, «Советский писатель», 1980). Более определенно, но, увы, менее грамотно: «Я сегодня приехал в деревню как гость. Здесь впервые познал душу трав, душу хлеба... И таскает меня колея вкривь и вкось по зеленой тоске сопричастного неба». Автор пишет, не замечая того, что колея таскает его «вкривь и вкось» мимо норм русского языка. Так стихи становятся самопародией. Ну как можно отнестись серьезно к таким строчкам: «Подвиг ратный, подвиг русский, оттого душа — как бруствер»?

Пародийных строк у В. Макарова в его новой книге хоть отбавляй!

Ведет свой несковываемый напек
дуб на опушке,
чутьочку присев...

Странная поза для дерева, не так ли?..

Все это произрастает пышным цветом на почве приблизительного знания языка, на почве отсутствия поэтического слуха.

Проехав мимо вышеупомянутого «присевшего» дуба, вернемся все-таки в город. У Алексея Шлыгина есть строки:

Вы моложе деревень, города.
Вы моложе деревень на вска.
Хоть и смотрите на них иногда
Снисходительно чуть-чуть, свысока.

Как просто и раскованно выражена эта мысль! А за строчками начпается наше размышление о жизни, о неразрывности связей человека с землей.

Виктор Бокин живет в Новокузнецке. Работает вальцовщиком горячего проката на предприятии легендарном, имеющем славную трудовую и боевую биографию.

Я говорю об этом, чтобы еще раз подчеркнуть: Виктор Бокин по месту своей прописки и своей работы человек исключительно городской. А пишет он такие стихи:

У города своя тоска
По травам, по большому небу,
По вольным в небе облакам,
По теплоте (из печки) хлебу...

Вдумайтесь: человек имеет дело с раскаленной сталью, а тоскует по облакам, травам и деревенскому хлебу. (Кстати, поэт пишет «по травам», не слы-

ша, что слова эти звучат слитно, приобретая совсем иной смысл.)

Живя в городе, Виктор Бокин вроде бы даже и не замечает городского пейзажа. Но это — кажущееся впечатление. Он рассказывает, как «поезда уходят в путь»,

И там, полями разбежавшись,
Над речкою прогрохотав,
К земле доверчиво прижавшись,
Летит ликующий состав.

Как хорошо сказано: «К земле доверчиво прижавшись». Для Кузбасса перестук вагонных колес и грохот железнодорожных составов — звук привычный и постоянный: в сутки по кузнецкой земле проходит столько составов, что если их, как в детском стихотворении, соединить в один, то получится поезд длиной в 120 километров!

Согласитесь, что такой протяженный поезд не может целиком вместиться только в «городские рамки», в индустриальный пейзаж, — для Кузбасса он давно стал составной частью и пейзажа сельского.

Однако Виктору Бокину важно другое:

Пусть скорость нас не доконает,
Давайте дружно замечать,
Как птица тяжело взлетает,
Как уши заячьи торчат.

Так неожиданно — светло и наивно — кончается стихотворение и продолжается наше размышление о потребности человека чувствовать неразрывную свою связь с природой.

Мы путники из детства, из природы,
Она нас не случайно, в свой черед,
Сквозь тяжкие сибирские сугробы
Как первенец-подснежник продохнет,—

пишет молодой поэт из Кемерово.

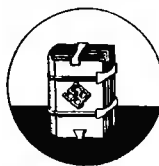
Молодые поэты трудятся в разных концах страны. Что из них получится, покажет время. Но пока точно можно сказать, что похожих стихотворений у них немало. Стихи о первой любви, стихи о снеге, о березовых рощах. В Риге и в Тамбове снег разный, а вот стихи порой получаются одинаковые. В Карелии и в Подмоскovie березы совершенно разные, а стихи о березовых рощах очень похожи друг на друга.

Дело не в одинаковых темах. У самых знаменитых поэтов темы иногда совпадали, но никогда не повторялись стихи! Ибо неповторимы люди, неповторимы настоящие таланты.

Не беда, если неудачи молодых свидетельствуют только о неопытности. Хуже, если такие творческие «болезни» молодых, как вторичность и литературность, идут от лени души. Ведь талант — это прежде всего работа души.

Большой русский советский поэт (а по областным делениям, поэт вятский) написал знаменитые строки, обращенные к себе самому и ко многим грядущим поэтам:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!



ЛЕВ
РАЗГОН



НЕЗАБЫВАЕМОЕ

«Жанр воспоминаний,— пишет Маргарита Алигер,— имеет свои прихотливые законы, и один из первых предусматривает право на субъективность этого жанра. Ибо все, что вспоминаю я, вспоминаю именно я, и воспоминания мои не могут быть вырваны из контекста моей жизни...»

А «контекстом» жизни автора этой книги — «Тропинка во ржи» (О поэзия и поэтах. М. Изд-во «Советский писатель», 1980 г.) — оказалась вся советская и большая часть зарубежной поэзии за несколько десятков лет. Поэтому, очевидно, и была написана эта книга — одна из наиболее интересных и содержательных в столь ныне распространенном мемуарном жанре.

«Тропинка во ржи» не является обычным сборником воспоминаний, а развернутой книгой о жизни поэзии и поэтов.

М. Алигер рассказывает и о тех, с которыми ее свела жизнь, и о тех, кого лично не знала, но чьи стихи отложились в ее памяти и сознании. Это поэты самые разные, совершенно не похожие друг на друга. Среди них Павел Антокольский, дружба с которым прошла через всю жизнь Алигер; и малоизвестная поэтесса начала века, человек необыкновенной судьбы, Елизавета Кузьмина-Караваева, о которой Алигер знала только понаслышке. Читатель «Тропинки во ржи» найдет в книге ряд превосходных портретов болгарской поэтессы Елисаветы Багряны и сербского поэта Стевана Раичковича; армянской поэтессы Маро Маркарян и французского поэта Луи Арагона.

Но наиболее душевно и подробно развернуты портреты советских поэтов.

Вот, например, воспоминания Алигер об Илье Эренбурге. Она близко знала этого выдающегося писателя, одного из замечательных наших публицистов и общественных деятелей. Но для автора воспоминаний Илья Эренбург интересен прежде всего и больше всего тем, что Эренбург — поэт. Именно поэзия Эренбурга, сама поэтическая сущность его натуры больше всего привлекают внимание мемуаристки. Она пишет о нем: «Широко известный романист, едва ли не самый важный людям журналист, он был поэтом,

прежде всего поэтом, и хотя стихи его знали мало, именно в них он изливал все самое сокровенное, самое дорогое для души».

Естественно, что когда мемуарист вспоминает людей только «по любви», только по интересу к ним, то в списке тех, кого она вспоминает, отсутствуют всякие ранги. И поэтому в воспоминаниях Маргариты Алигер рядом с всемирно известными именами полноправно стоят имена полузабытого Татяны или скромной, тихой Марии Павловны Чеховой. Она о них пишет не только заинтересованно, с чувством великой симпатии, но и горечи о том, что сестре Чехова жизнь дала много незаслуженных горестей, а огромный талант Татяны не сумел в полной мере реализоваться.

Маргарита Алигер вспоминает о многих замечательных людях, о которых имеется немалая мемуарная литература, но ее воспоминания никого не повторяют. Многочисленные воспоминания о Светлове уже создали некий штамп безудержного острого, этакое «рубашка-парня», разбрасывающегося словами, фразами, строчками, мгновенно расходящимися огромными тиражами. Маргарита Алигер в лирическом портрете Михаила Светлова подчеркивает то, что больше всего ее поразило: способность поэта полностью сохранить облик своей молодости, верность принципам и привычкам, усвоенным в годы комсомольской юности. И главной в них была внутренняя свобода, чувство независимости и собственного достоинства.

А в Маршаке Алигер поражает чувство любви к поэзии, беззаветная преданность ей. Она и не пытается сколько-нибудь затушевать, преуменьшить «ключесть» характера Маршака, его нетерпимость к тому, что расходилось с его взглядами на поэзию. Однако не это подчеркивает Алигер, а совсем другие качества Маршака: детскость, верность друзьям, доброта.

Своей книге воспоминаний Маргарита Алигер дала название главы об Александре Твардовском. И это совсем не случайно. Этот рассказ, пожалуй, центральный по значительности образа, созданного в нем. Об Александре Твардовском написано не только множество воспоминаний — целые книги! Написаны книги, сделаны телефильмы. Их авторами были люди, большинство из которых близко знали Твардовского и любили его. Маргарита Алигер, безусловно, относится к таким людям. Но ее воспоминания выделяются среди других своим мужеством, откровенностью, в основе которых лежит великое уважение к поэту. Она не считает нужным хоть в малейшей степени затушевать, залакировать многие сложные и противоречивые черты этой крупной, необыкновенно самобытной личности. Эти качества Твардовского больше всего выливались в том, как редактировал он «Новый мир». Алигер в полной мере оценивает все значение этой работы Твардовского для советской литературы. Сложная индивидуальность Твардовского жестко накладывалась на журнал. Это приводило иногда к трудным отношениям редактора со многими авторами, и Алигер пишет об этом откровенно.

Рассказы о Казакевиче и Ахматовой особенно выделяются в воспоминаниях Маргариты Алигер. И по

разным причинам. В одном случае речь идет о знаменитом поэте, прошедшем долгий, тяжкий и все же славный путь жизни. Анна Ахматова всегда остается для автора воспоминаний значительнейшим поэтом нескольких эпох; восторг перед нею, восхищение ею несколько не умеряются никакими своеобразными деталями быта Ахматовой, никакими обстоятельствами ее личной жизни. Ахматова предстает в долгом закате ее жизни, закате, который до самого его конца ни в чем не снижал всю значительность ее личности.

А портрет Казакевича совсем другой. Ибо тут ведется рассказ о человеке, который не успел реализовать полностью свой незаурядный талант, своим многими интересными и значительными замыслами. Есть какая-то несправедливость в том, что полный сил и замислов человек, прошедший через адское горнило войны и уцелевший, гибнет от проклятой, неизлечимой болезни. И воспоминания о Казакевиче окрашены трагизмом этой несправедливости.

Печаль сопутствует этой книге. И это естественно. Ибо в ней речь идет не просто об ушедших из жизни. Рассказывая об Илье Эренбурге, Алигер пишет: «Его ужасно не хватает в нашем мире». Это относится не только к Эренбургу. Всех, кого вспоминает Маргарита Алигер, ей ужасно не хватает в этом мире. И не только ей. Но и нам, читателям ее книг.

Свои воспоминания об Эренбурге Маргарита Алигер начинает словами Мандельштама: «Я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных...» Она пишет: «Все чаще я твержу эти удивительные строки Осипа Мандельштама. Они означают для меня бесконечно много, потому что я принадлежу к поколению, которое глубоко изучило эту печальную науку. С юности нашей — в тридцатых годах, с молодости, которая пришлось на войну, мы расставались, учились переживать разлуки, надеяться на новые встречи... Так и дожили до последних разлук, за которыми не стоят уже никакие надежды. И обрели еще одно средство, помогающее переживать потерю, — воспоминания».

Не только для автора «Тропинки во ржи», но и для ее читателей эти воспоминания являются не рекем, а встречей. Встречей со многими талантливыми, умными, замечательными людьми. Мы наслаждаемся общением с ними, как наслаждалась ими в свое время Маргарита Алигер. И они становятся живыми для нас и сегодня.

Сама Маргарита Алигер также составляет целую эпоху в нашей жизни. Ее поэзия сопутствовала нам в довоенные годы, она прозвучала известными строками «Зоя» во время войны, она связала для нас с послевоенным временем. Для читателей поэзия Маргариты Алигер ее поэзия — это годы нашей юности, зрелости, старения... И нам облик этого поэта так же важен и интересен, как и образы тех людей, которых она вспоминает.

Будем же ей благодарны за все услышанное. Узнанное и почувствованное.



Поэзия



**АЛЕКСАНДР
ЩУПЛОВ**

Школьный новый год

Сумрак шумной комнаты.
Здесь мы танцевали.
Вы мои признания
помните едва ли...

Падайте, падайте,
тихие снежинки,
узелки для памяти
на ветвях связать.

Невесомо платьице,
а ладошка жжется.
Как счастливо плачется,
как несмело ждется.

Чертюля косметика
окна размалывает.
Чудо-арифметика —
восемь поцелуев.

Сердце загорается,
а глаза невзрачны...
Если повторяется,
то совсем иначе.

☆☆☆

И Баба-Яга молодою была,
звалась Василисой Прекрасной,
и павой у глаз опавенных пылила,
шутила с любовью несчастной.

Ронялся платочек с дрожащих плечей.
Слова голубые глотались.
Как бабочки, сквозь бормотанье ночей
на грудь поцепуи сплетались.

Но печи прельщать перестали грешно.
Сережки в ушах не играют.
Лопатки, как крылышки, жалко, смешно
из тощей спины выпирают...

Я с нею сижу за тесовым столом,
катаю засохшие ирошки.
Обиженно кошки орут под оином,
и сумрак львет по сторожке.

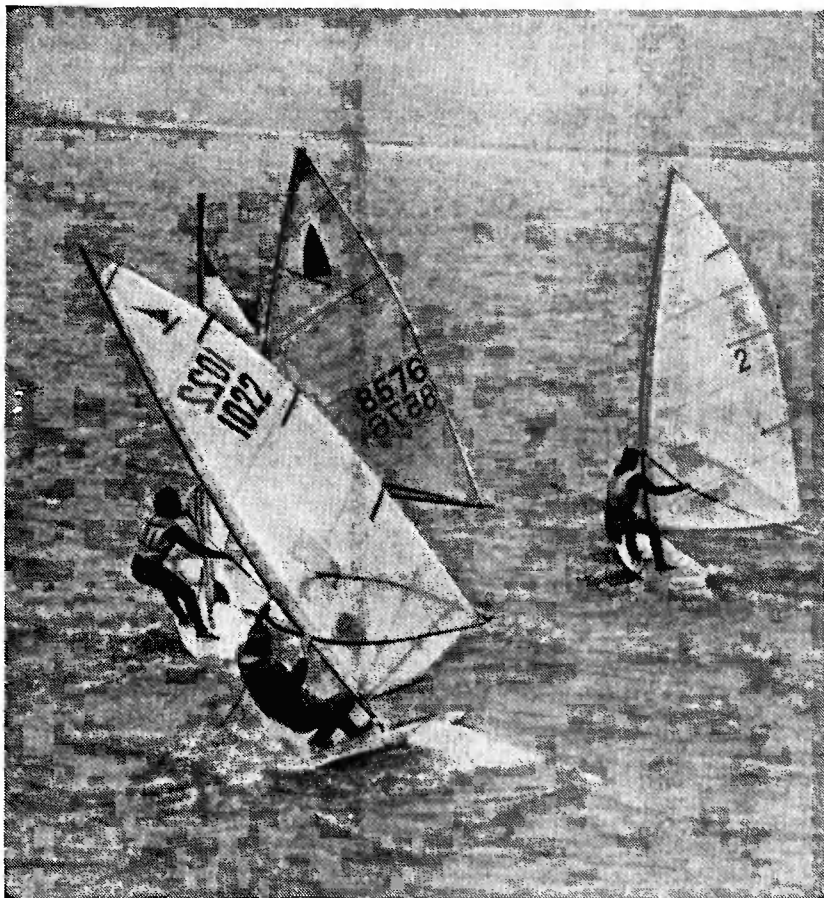
Закат по стеклу оползает, бежит,
и дышится долгим покоем.
И синее небо за черным лежит,
а дальше — неважно какое.



ДАЙНИС
ЦАУНЕ

НЕ В ЗАРЕВЕ ЧУЖИХ ЭМОЦИЙ

Фото
А. Дмитриева



Грешен я. Сбега́л с семейных обедов, уди-
рал из кинотеатров. Обрекал жену и сына
на одиночество, спешил в ветхий сарайчик,
где колдовал над матричным картоном и
стеклотканью, где царил резкий дух поли-
эстерной смолы. А когда дело не шло, при-
зывал дьявола, бил кулаком и пинал нога-
ми ни в чем не повинные предметы. И уже в мае
предавался ветру и волнам, даже когда работа, за
которую мне платят зарплату, вопила по мне. И гор-
дился своим загаром, когда остальные только еще
жили в ожидании близкого лета.

Как и добрая сотня моих знакомых, я пал жерт-
вой соблазна, но не жалею об этом. А исходил этот
великий соблазн от Хоула Швейцера и Джима Дрей-
ка из Калифорнии.

Именно этим двум страстным яхтсменам лет три-
надцать назад пришла гениальная мысль создать ях-
ту без руля и без кокпита. Свою идею, как и поло-
жено порядочным американцем, они материализова-
ли, израсходовав к тому же минимальные средства.
Взяли парусную доску, похожую на те, которыми
пользуются в обычном серфинге, только чуть длин-

нее, изящнее и более емкую. Сделали на доске
швертовый колодец, перед ним универсальным шар-
ниром укрепили мачту. На мачту подвешивали парусок
размером 6,2 квадратного метра. Для того чтобы па-
рус можно было опускать и яхтсмену было за что
держаться, к мачте обыкновенным канатом привяза-
ли гик...

Завершив свой труд, авторы сообщали, что создали
самую простую и дешевую в мире конструкцию для
парусного спорта. Некоторые, правда, злословили,
что это всего лишь очередной блеф или — в лучшем
случае — остроумная штука для развлечения курорт-
ников. Ветровая доска ширвною в несколько пядей
при малейшем бризе отказывалась подчиняться парусу,
и первые энтузиасты валялись в воду так, что
брызги летели во все четыре стороны. И все же...
за несколько лет эта конструкция завоевала мир, и мы
стали учиться правильно выговаривать это довольно
мудреное иностранное слово — «виндсерфинг».

Итак, я один из тех полоумных, как нас называли
лет пять-шесть назад. Теперь так не говорят, теперь
уже спрашивают: «Ну, как там дела с доской? Не
собираешься ли на предстоящую Олимпиаду?» Я не

собираюсь, нет. Я всего лишь один из миллиона — столько поклонников нового вида спорта насчитал в мире журнал яхтсменов. Я принимал участие примерно в пятидесяти соревнованиях, но дипломы за победы всегда доставались другим. Ну и что?

Две красные сигнальные ракеты уже прошипели в воде, на мачте синий с белым квадратом в середине флаг — знак подготовки к старту. Где-то впереди, прямо против ветра, в волнах сверкает оранжевый буй — это место первого поворота, к которому все мы, словно с цепи сорвавшись, сейчас понесемся. Кто-то обойдет этот буй первым, кто-то вторым, а кто-то останется последним. А пока мы все равны.

До старта пять минут. Мы беспокойно толпимся вокруг юта судейского катера. Некоторые, пустив парус по ветру, лениво дрейфуют, другие, быстро сменяя галсы, выписывают круг за кругом у стартовой линии, что помогает избавиться от напряжения и встретить момент старта с радостным азартом. Это стоит испытать...

Склоня мачту немного вперед, поймай ветер, словно в сачок, я, противопоставляя его силе свою, не медля отклоняюсь назад. Парусная доска под ногами слегка вздрагивает, поворачивается в желаемом направлении, вскидывает нос над очередной волной, и вот уже за спиной шумит вода. Мы сопряжены в одну движущуюся систему. Ветер с парусом, парусная доска и волны. Через меня...

Мышцы наливаются теплом, я слышу, как за мной разбиваются пузыри вспененной воды, я ощущаю скорость. Парусная доска уступает в скорости только одному из катамаранов. 44,44 километра в час — таков ее рекорд.

Пробую идти предельно высоко, то есть по возможности плотнее против ветра. Так знак поворота ближе всего. О тех, кто идет в курсе посвободнее, говорят, что они идут ниже уровня. Идеально — это идти высоко и быстро. Кажется, удастся. Одним отработанным прыжком перекидываюсь на противоположный борт и пробую пойти справа от ветра. Все в порядке. Парус, выпучив свой лавсановый живот именно в том месте, где это необходимо для оптимальной тяги, ровно гудит, волны, словно подбадривая, пару раз шлепают меня по облаченному в гидрокостюм задку.

В моем распоряжении чистый ветер, пока еще не испорченный конкурирующими парусами. Но сейчас все станет иначе. Мы будем бороться, стиснув зубы, без малейшего стеснения будем воровать друг у друга ветер, станем применять все дозволенные правилами хитрости, лишь бы только обогнать, пусть даже лучшего друга. Около часа будем думать только о себе, потому что эта прекрасная игра — спорт. Стартовый пистолет уже заправлен зеленой сигнальной ракетой.

Жажда. Подхватываю ладонью водяные брызги и смачиваю губы. Позже по щекам поползут липкие струйки пота, а тело в прорезиненном костюме, в котором пока что даже прохладно, будет жариться, как в духовке. Позже мои пальцы, теряя чувствительность, вопьются в трубчатый гик. И, возможно, я упаду... Ну и что?

До старта четыре минуты, и мы уже меньше изучаем друг друга, а больше глядя в ту сторону, откуда дует ветер. Что-то там образовывается, какая-то тайна, которую следовало бы вовремя разгадать. Ветра сегодня хватит, уже теперь балла четыре, а позже, вполне возможно, будет и того больше. Не худший вариант. Лучше обзавестись мозолями на ладонях, чем ждать, пока слабый ветерок доберется до твоего паруса. Но какое место там впереди более всего будет угодно ветру? Чутье манит в одну сто-

рону, разум тянет в другую, а ветер... может остаться посредине. И тогда хоть парус кусай.

Сегодня как раз такой ветер, какой в свое время выманил нас из цехов и кабинетов. Из будничных забот. Именно такому ветру мы хотели отдать свою неудовлетворенность. Было время, мы мчались к ближайшему озеру, чтобы... бороться с таким ветром. То была наша самая большая ошибка. Лишь значительно позже мы — в большинстве своем новички в парусной науке — поняли, что на регате надо бороться только и исключительно с соперниками, что выигрывает тот, для кого ветер не противник, а самый лучший друг.

Меня отделяют от этой борьбы еще три минуты, хотя, по сути, она уже началась. Я замечаю, что потенциальные лидеры стараются не выпускать из виду друг друга, что они уже играют в прятки, стремясь до последней секунды не раскрывая задуманные маневры. Старт решит многое. Музыку закажет тот, кто на полной скорости и одновременно с выстрелом первым выскочит на чистый ветер...

Еще недавно, мало что смыслив в тактике, мы валялись через стартовую линию как попало, безжалостно толкая друг друга. Самая делала парусные доски — искали оптимальные дуги и радиусы скользящей поверхности, самостоятельно освоив технологию склеивания стеклопластиковых корпусов. Энтузиазм — эта скромная лошадка вновь была зажжена в оглобли. Мы строили, мчались по волнам и снова строили. Пока таллинские «пагиги», построенные экспериментальной фабрикой, не превзошли ленинградские «моряны», пока в Феодосии не появились элегантные, как дельфины, «мустанги»...

Еще две минуты... Я и не знаю, как это все теперь называть. Обозначить наш вид спорта «виндсерфингом» было бы не совсем верно. По правде и справедливости так можно называть парусный спорт с досками марки «Windsurfer». С минувшей осенью, однако, в программу олимпийской регаты введен класс «Виндглайдер». На этих ветровых досках и будут у нас впредь проводиться все большие регаты. Ладно, это еще попятно.

Но неужели и на менее значительных соревнованиях смогут выступать лишь счастливые обладатели «Виндглайдеров»? Что мне делать тогда со своей парусной доской «Соло», и как быть моему знакомому из Минска со своим «Мустангом»? Сохранится ли у нас принцип открытого класса? Ведь существует даже международная организация, проводящая первенства мира, в которых могут участвовать практически все типы парусных досок. Неужели окажется, что мы зря потрудились, устремляясь со своими парусными досками на озера, реки и морские заливы?

Рядом с большим спортом очень часто не находят места малому спорту, доступному каждому. Тренеров (а тренеров олимпийских видов спорта в особенности) интересуют только суперталанты. Отбор суровый, а неотобранные пусть любят свой спорт по ТВ. Но мне не хочется жить лишь в зареве чужих эмоций...

Рука стартера с черным пистолетом уже поднята к небу. Где-то совсем рядом стрелка хронометра отсчитывает последние секунды.

Я надеюсь, что будет теплое и ветреное лето, что впереди много стартов, что наши ряды пополнятся. А сейчас, простите, больше немогда. Навстречу мне идет ветер, мой друг. До старта пять секунд... четыре... три... две... одна...

Пересела с латышского
Л. ВИНОНЕН.



СЕРГЕЙ ХАЗАНОВ ВСТРЕЧА

Рисунок В. Меджибовского.

Я ее узнал сразу, хотя не было ничего общего в этой сгорбленной старушке с энергичной, блестящей Ириной Никитичной, моей первой учительницей музыки.

— Ради бога простите, — догнал я ее на углу, — но я у вас когда-то учился...

— Вот как? — улыбнулась старушка. — Когда же и чему?

— А помните: четвертая музыкальная, шестьдесят восьмой год, класс фортепиано?..

— Ну как же... — вздохнула она мечтательно. — Костолевской из мебельного сын? Хороший ты мальчик: со слухом, правда, не очень, но ручонки ничего, цепкие.

«Забыла! — умилился я. — А раньше ведь все про всех помнила, даже лишнее. Эх, жизнь!»

— Так вы Костолевский? Угадала?

— Где уж мне, — растерялся я, — да его ведь в третьем классе еще за полное отсутствие слуха отчислили, вы разве забыли?

— Неужели? — надела она очки. — Да-да, теперь вижу. Вы Савушкин, председателя райисполкома племянник? Ах, какой у вас дома «Стейнвей» хранился, какие пластинки!

— Увы, — сконфузился я, чувствуя, что ступил в лужу, — но и к славному роду Савушкиных принадлежать не имел счастья. А может, и несчастья — племянник ведь, не в укор дяде, полным дебилом был.

— Уф! — вспотела старушка. — Снова, значит, напутала? А все недуг этот, с памятью, ну который теперь у всех... А ну-ка не горбиться! — скомандовала она, и я, будто в детстве, резво выпрямился.

— Вот теперь ясно: вы Юлии Львовны, невропатолога, сынок! Признаться, Боровька, я вас всегда обожала — знала, что далеко прыгнете. Кстати, мне с Юлией Львовной встретиться надо. Как она там поживает?

— И-не знаю, — выдавил я, чувствуя себя нелепо из-за хлопающей в туфлях воды, — думаю, что неплохо. А сынка-то я тоже помню: лентяй изряднейший, его еще в седьмом классе семья в какую-то физическую спецшколу с зарубежным прицелом перебросила — тактика! И прыгнул он далеко — в Уругвае сейчас, что ли, дела у него там внешние.

— А ты... А вы-то есть кто же? — взмолилась она, нащупывая лекарство.

— Кто-о! Да я же отличником у вас всегда был! — кинул я, отсчитывая ей капли. — Не помните? А как вы меня «гордостью школы» звали, «надеждой своей»? А как я Грига на экзамене играл и весь подсовет плакал? Да Егоркиня я, Митя!

— Гордость?... Отличник?... — силилась вспомнить учительница. — А родители-то кто?

— Папа — инженер, мама — чертежница.

— Нет, — сдалась наконец она, — ну никак не вспомню... И кем же вы стали, музыкантом?

— А-да, в общем-то...

— Го-спо-ди! — всплеснула она руками, немощная, седая. — Все упустила, все, ничего не осталось!

И заплакала.

— Да что вы! — забыл я про обиду. — Ну Ирина Никитична! Мы же вас все любим, помним, сколько раз зайти собирались...

— Вы понимаете, Митенька. — Старушка вся дрожала. — Ну ничегошеньки не осталось, ничего!

— Да понимаю, понимаю, но плакать-то зачем? Я ведь звезд тоже не нахватал — в школе преподаю, музыкальной. Ну что меня помнит?

— Нет, Митенька, нет, — шептала она, взглядываясь в меня, словно в прошлое, — не в том дело...

— Ирина Никитична, пойдемте, я вас домой отведу, а? Там, наверное, уже беспокоятся...

— Некому, — тихо отзывалась она. — Ах, Митенька...

— Прилечь бы вам надо, — заверещал я, взглянув на часы, — вот отдохнете и все забудете!

— Да-да, — вздохнула старушка, — понимаю. Вы спешите... Только, Митя, я здесь ведь живу, рядом, так что провожать не надо. Тем более сердце у меня уже прошло.

— Но... — запротестовал я.

— Все, Митя, все! Бегите! — улыбнулась она в последний раз и засеменила прочь, заодно покачивая сумочкой.

Минуты две у меня еще было. Я стоял в луже и молча глядел ей вслед — ну ничего не было общего в этой сгорбленной старушке с энергичной, блестящей Ириной Никитичной. А я вот ее узнал сразу!



АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

Литературные народии

ИЗ ГОРОДСКОЙ ЛИРИКИ

Константин ВАНШЕНКИН



Москва за окнами гудела,
Слегка устав к исходу дня.
А ты задумчиво сидела
И все глядела на меня,

Не мысля вслух, не вспоминая,
И я, представь себе, сидел.
И на тебя, моя родная,
Еще задумчивей глядел.



На проспекте босоножки,
Миллионы их в толпе.
А какие ушки, ножки,
Губки, зубки и т. п.

И дымится папироска
Полтора часа спустя...
И от лифчика полоска,
А сама — почти дятла.



Есю жизнь пишу стихи,
Поэтом стал московским.
Должно быть, веплохи,—
Отмечены Твардовским.

Кто пишет на века,
Того не сразу видно.
Точь в точь как я пока...
Но все-таки обидно.

Рисунок И. Степанова.

КАМНЕПАД

Затихает гроза понемногу,
Еле-еле доносится гром.
Камни сыпятся с гор на
дорогу —
мы их завтра опять уберем.
Семен БОТВИННИК

Небеса и туманны и мглисты,
Что-то давят меня и гнетет,
Вот опять подлецы пародисты
сыпят камешки в мой огород.

Помолясь терпеливому богу,
попаяв на бесстыжий народ,
их кудаю опять на дорогу —
завтра кто-нибудь их уберет.

Нет ни отдыха мне, ни забвенья,
сплю, дрожа как осиновый лист.
Утром — вновь в огороде каменья,
знать, опять прибегал пародист.

Жизнь поэта, увы, нелегка мне,
зря не дал я молчанья обет.
То пишу, то ворожаю камня
с перерывом — на час — на обед.

Тихо бродит жена возле дома,
непркаянно бродят, как миф.
По участку разносится: «Сё-ёма!»
Отвечает ей эхо: «Сизы-иф!»

СКВЕРНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО

Я предпочел узреть мельком
У девушки, сидящей
в сквере,
Полоску тела меж чулком
И юбкою, как свет
под дверью.
Евг. БЛАЖЕЕВСКИЙ

Предпочитаю не смотреть
На то, что не достойно зренья.
Ведь это надобно уметь
Найти предмет для обозренья.

Познавая жаждою влеком,
У девушки, сидящей в сквере,
Узрел я нечто меж чулком
И юбкою, как свет под дверью.

Нехорошо совать свой нос,
Подглядывать, конечно, скверно...
Но что за дверью — вот вопрос,
Достойный Гамлета, наверно!

Я деликатный кавалер,
Но мысль в мозгу уже витает:
Какой, должно быть, интерьер
Внутри! И кто там обитает?

Я весь, как спичка, запылал,
Предвидя дивные моменты.
И сразу пылко возжелал
Проникнуть в те апартаменты...

Однако хватает мне дурить,
А то уж слишком я отважен.
Иначе станут говорить,
Что я поэт замочных скважин.

ВДОХНОВЕНИЕ ВО СНЕ

Вернусь домой, согрею щип,
Поем, усну в мгновение...
Теперь поди-ка оттащи
Меня от вдохновения!

Геннадий КАСМЫНИН

Я отогнал сомненья прочь,
Прячем в одно мгновение.
Кристалл магический и проч. —
Не способ
Вдохновения.

Я вам открою метод мой,
Чтоб не сдержали вздоха вы,
Дабы творить, приду домой,
Согрею
Суп гороховый.

Две-три тарелки наверну,
И коль не сочиняется,
В одно мгновение усну.
Тут
Все и начинается!

В УНИСОН

Ты зачем мне снишься, ты зачем приходишь
Злым напоминаньем ежедневно в сон?
Сумрачные тени за собой приводишь,
Требуешь чего-то вьюге в унисон?

Наталья БУРОВА

Ты зачем приходишь?
Ты зачем мне снишься,
Как пилоту небо,
Как боксеру ринг?

Видно, ты недаром
В памяти хранишься
Доброй «Синей птицей»
(Автор Метерлинка).

Ты зачем мне снишься
Стройным кипарисом,

То вливая бодрость,
То вгоняя в сон?

Или это буря
В пиале с кумысом,
Или это нечто
Вьюге в унисон?

Что-то громыхает,
А потом стихает,
Словно наступает
Мерный уикенд.

Можно заподозрить,
Что благоухает
Игорь Северянин,
Привыкший в Ташкент.

ГИМН КОРОВЕ

Мне бы
в дебри судеб деревенских,
чтоб искать,
ночь воза на возах,
сокровенное
если не в женских,
то хотя бы в коровьих
глазах.

Василий ЖУРАВЛЕВ

Я не то
чтобы с бычьим здоровьем,
но я, как говорится, не слаб.
Потянулся я
к чарам коровьим,
хоть корова — а тоже из баб!

Мне с коровою очень бы надо
для начала
хотя бы дружить.
Чтобы жить интересами стада,
по-простому, по-честному жить.

Мне бы с ней,
если быть откровенным,
постоять бы хоть рядом, молчком.
Поделиться бы с ней сокровенным,
получить от нее —
молочко.

Возле куч прогуляться навозных,
научиться родную донть...
И намерений —
очень серьезных! —
от любезной своей не танть.

Чтобы те,
кто от благ не вкушали,
говорили, косясь на сарай:
ну, устроился этот Василий,
ну, корова его забота!

В НОМЕРЕ:



Проза

Владимир ЗУЕВ. Здесь твой окоп. Повесть . . .	2
Николай ЛЕОНОВ. Агония. Повесть. Окончание	41



Поэзия

Геннадий АРИСТОВ	38
Арон ВЕРГЕЛИС	39
Михаил НАЙДИЧ	39
Николай ГРАЧЕВ	40
Джабир НОВРУЗ	60
Марк ВЕЙЦМАН	61
Низомжон ПАРДА	62
Наталья ГЕНИНА	62
Олег ШЕСТИНСКИЙ	68
Юрий РЯШЕНЦЕВ	69
Петр ВЕГИН	71
Александр ЩУПЛОВ	106



Публицистика

Виктор ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, Алексей ФРОЛОВ. Север, Север!..	63
Память	72



Критика

Савва БРОДСКИЙ. Чистота истинной веры	76
Творчество — радость и долг. Анкета «Юности» . . .	95
Алла КИРЕЕВА. Душа обязана трудиться...	101
Лев РАЗГОН. Незабываемое	105

1—4-я стр.— оформление
обложки В. Е. Орлова.



Факты и поиски

З. ШЕЙНИС. Товарищ Сергей	81
-------------------------------------	----

Макет
Л. К. Зябкиной.

Главный художник
Ю. А. Цишевский.

Художественный редактор
О. С. Кокин.

Технический редактор
А. В. Сальников.



Спорт

Дайнис ЦАУНЕ. Не в зареве чужих эмоций	107
--	-----

Сдано в набор 13.04.81.
Подп. к печ. 26.05.81.
А 02869.
Формат 84×108^{1/16}.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Учетно-изд. л. 17,60.
Тираж 3 039 000 экз.
Изд. № 1308.
Заказ № 559.



«Зеленый портфель»

Сергей ХАЗАНОВ. Встреча	109
Александр ИВАНОВ. Литературные пародии	110

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина,
125865, Москва А-137, ГСП.
ул. «Правды», 24.



Н. КАЗАКЕВИЧ (Гомель).

Над родными просторами.

An abstract, stylized illustration. The top half features a dark blue background with silhouettes of buildings. A large, light green, curved shape, resembling a hill or a sail, is prominent. Below this, a series of wavy, vertical bands in orange, red, and brown extend downwards. The bottom half of the cover is a solid, deep blue.

ISSN 0132-2036.

Индекс
711120

Цена 50 коп.